



НИНА
БЕРБЕРОВА

Б Е З
ЗАКАТА

АСТ

НИНА
БЕРБЕРОВА
Б Е З
ЗАКАТА

АСТ
АСТРЕЛЬ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б48

Художник Андрей Рыбаков

Берберова, Н.Н.

Б48 **Без заката** : [роман, хроника] / Нина Берберова. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 347, [5] с.

ISBN 978-5-17-071887-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-32891-6 (ООО «Издательство Астрель»)

Литературный дебют Нины Берберовой в качестве прозаика состоялся за границей, куда она уехала в 1922 году вместе с мужем поэтом Владиславом Ходасевичем. В эту книгу вошли роман «Без заката» и очерк «Дело Кравченко».

Героиня романа «Без заката» Вера, чья прежняя петербургская жизнь меняется бесповоротно, как и сама Берберова, уезжает с мужем во Францию. Обратной дороги Vere нет, и она устраивается здесь. Впервые роман был опубликован под названием «Книга о счастье»: Вера ищет счастья, уезжая с первым мужем в Париж; ищет после похорон мужа; ищет - устраиваясь в Ницце. И никак не может понять, когда говорят, «счастье, как воздух, его не чувствуешь»...

В хронике «Дело Кравченко» Нина Берберова выступает в необычной роли. Она «ведет репортаж» из зала суда. Виктор Кравченко – первый советский «невозвращенец», а его дело – одно из самых громких конца сороковых годов XX века.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Подписано в печать 30.01.11. Формат 84х108/32.

Усл. печ. л. 18. Тираж 7 000 экз. Заказ №1424

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-17-071887-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-32891-6 (ООО «Издательство Астрель»)

Bez Zakata (le livre du Bonheur), Nina Berberova © Actes Sud

L’Affaire Kravtchenko, Nina Berberova © Actes Sud, 1990

© ООО «Издательство Астрель», 2011

Б Е З ЗАКАТА

РОМАН

Сам, закрыв глаза, лежал навзничь у самого края широкой низкой кровати. Казалось, стоит ему сделать движение, и он мешком скатится на козью шкуру, постланную поверх красного бобрика: к седому длинноволосому меху тянулась застывшая Самина рука, зажавшая револьвер, отброшенная выстрелом. Лицо Сама было спокойно и смотрело в потолок, и только черный пробитый висок (уже давно не сочившийся кровью) придавал волне рыжих волос и бледности веснушчатого лба что-то необычайно грустное.

Он был во фраке. Белая грудь все еще топорщилась и выпирала из жилета. Ноги были сдвинуты; обутые в легкие лакированные туфли, они казались ногами спящего человека, наиболее живыми из всего Саминого тела. Левая рука была положена на грудь (вероятно, доктором, хотя почему тогда оставил он висеть правую?): в левой руке искали Самин пульс – и не нашли, конечно. И желтоватая, тоже веснушчатая, с сильными пальцами настоящего (с детства) музыканта, с едва заметным медным пухом, кудряво уходившим под крахмал манжеты, лежала она, словно пошла слушать биение сердца, но не доползла и задумалась, и вот – спит. Шум был за окном, утренний столичный шум, от которого, каза-

лось, рука сейчас проснется и зашевелится, а за ней, под веками, шевельнутся глаза. Но трубный рев автомобилей не воскрешал этого одеревенелого лица. Холодный и страшный для живых и такой неудобный для администрации Гранд-Отеля покой смерти шел от Сама, от тела, которое продолжало стыть и скоро, несмотря на солнечный майский день, грозило стать ледяным.

Доктор – полицейский врач с лысиной, укрытой волосами, – чиновник полиции, газетный проходимец с блокнотом в беспокойных руках и сдержанный мускулистый господин, вызванный из американского посольства, – все побывали здесь, а между ними то и дело проносились лифтные мальчишки, коридорные, горничные, служащие похоронного бюро. В полицию, в американское посольство дали знать сразу, когда Сам, велевший разбудить себя в девять, не отворил на стук горничной, державшей в руках поднос с утренним завтраком и сперва осторожно постучавшей локтем. И тогда же, по телефону из стеклянной будки, соединился портье с некой дамой, адрес которой и телефон были оставлены Самом на ночном столике. «Вас просят приехать, – сказал ей чужой голос, который показался слишком повелительным. – С вашим другом случилось несчастье». «Где? С кем?» – недоверчиво спросила дама, решив, что кто-то шутит, и в душе испытывая брезгливую досаду. «С вашим другом в Гранд-Отеле». Молчание. «У меня нет друга в Гранд-Отеле, прошу оставить меня в покое». – «Мадам, с господином Адлером...» Портье испытал мгновение жестокой радости попадания в цель: на другом конце проволоки кто-то замер. «Господин Адлер опасно болен. Он дал ваш адрес». Она ловила какие-то слова в ускользающей памяти. «Он давно в Париже?» – спросила она. «Два дня».

Эта дама – впрочем, больше похожая на молоденькую девушку, – теперь стояла молча посреди просторного номера; дверь в ванную была открыта, и там кто-то шаркал по каменному полу. В окне была видна площадь

Оперы, начало Капуцинского бульвара, будто кто-то на экране окна пустил старую ленту кинематографа. Вот сейчас на паре белых лошадей выкатит из-за угла Макс Линдер, стрельнет белками в проходящую красавицу, закроется от городского приподнятым цилиндром. Как это было давно! Кинематограф во дворе невзрачного дома на Невском – не то «Унион», не то «Художественный», на полотне, в черном дожде потрескавшейся пленки, город площадей, арок и автомобилей, с профилем железной башни в клубящемся облаками небе Иль-де-Франса. И она с Самом – в глубине черного зала, тайком от всех, в клятвенной тайне первого бегства из дому вдвоем...

И вот он лежит здесь, на этой кровати, с еще не выдернутым револьвером в костенеющей руке, еще вчера, должно быть, державшей смычок, а за окном – Париж, этот перекресток, впервые увиденный на экране лет десять тому назад, увиденный в тот вечер, когда шел снежок, искрились фонари, цветы за стеклом цветочного магазина обещали такую счастливую, такую огромную жизнь, в тот вечер, когда на нем была котиковая ушастая шапка, а на ней – серая шубка, слегка потертая ранцем на плечах.

Она стоит над ним и силится узнать в этом слишком мертвом лице те живые черты, которые до того, как она переступила порог этой комнаты, жили в ее воспоминаниях. Это похоже на то, как если бы она старалась наложить негатив на готовую фотографию так, чтобы они совпали, чтобы не осталось трещин – белых и черных, – и это никак не удастся ей, словно она это делает во сне. В руках она держит конверт, на котором написаны ее адрес, ее имя, руки ее в перчатках, и слезы, падая на них, ей не мешают и ее не рассеивают. Она смотрит на одетый во фрак труп, с которым была у нее в жизни целая долгая история их детства, без которого в будущем была пустота – это место никогда никем не может быть замещено, она думает о том, что кинематограф за окном про-

должается, что жизнь продолжается, что надо бы позвонить домой, сказать, что она сейчас вернется, протелеграфировать Полине, Саминой сестре, куда-то в швейцарский горный рай, Полине, которая все представляется тоненькой прелестной девушкой, какой была в Петербурге перед отъездом, и невозможно уверить себя, что она расплнела, родила двух детей и дико ревнует своего толстого пучеглазого мужа.

А сильней всего хочется ей вернуться домой, к Саминам письмам, потому что она теперь явственно вспомнила: там были намеки на то, что случилось, там были не угрозы, не жалобы, но какие-то страшные иронические о себе слова, от которых для него, оказывается, шел прямой, проторенный путь к смерти, а для нее они не имели никаких последствий, она скользила по ним, она забывала их. Он начал писать ей год тому назад, после того как она оказалась за границей и они нашли друг друга. В эти годы, с тех пор как они расстались, была заключена часть жизни – их обоих разная юность. Она была в Париже, он был в Америке. Дирижер Филадельфийского симфонического оркестра покровительствовал ему. Однажды Сам прислал ей длинную газетную вырезку – отчет о первом своем концерте, потом несколько раз присылал фотографии: вот он во фраке, скрипка у плеча, смычок на отлете; вот он в купальном костюме, держит над головой огромный мяч (видно, какой он стал крепконогий); вот он над каким-то обрывом с товарищем (тоже русским, теперь музыкальным критиком) и двумя девушками. Одна из них положила ему руку на плечо. «Знаешь, я немного влюблен, – писал он, – в одну писклявую дурочку. Она носит такие бантики, что выдержать невозможно». Потом его ждали, он должен был осенью приехать в Европу, отец перед смертью хотел проститься с ним, но он не приехал, и старого Адлера похоронили без него. Да, они ни разу не виделись за эти пять лет, но он не забыл ее: вчера он написал ей свое последнее письмо, которое

она глотнула, едва войдя в комнату, и сейчас ей кажется, что это он еще не успел ей сказать, что она все это еще успела услышать, а не прочесть... Это утро. Приглушенный шум, как море, поднимается к окнам. Стеклянная люстра отвечает слабым звоном автомобильным гудкам, грохоту автобусов. Вера подходит к постели, и, так как сестра некуда – Сам лежит у края, – она садится рядом на стул, берет его руку и смотрит на него. Это лежит ее мертвое детство, ее мертвое прошлое, так внезапно и грустно возвращенное ей. От ее жизни отщепили кусок, и кусок этот будут хоронить с еврейскими песнопениями, придавят его каменным пятикнижием, и раввин, тот же, который хоронил Саминого отца, скажет коротенькую речь о Саме, которого он не знал, но которого поместит в лоне Авраамовом, вместе с Исааком и Иаковом.

II

Дом когда-то был особняком. На фасаде, выходявшем в старую тихую улицу, была прибита доска: здесь жил и умер французский вельможа начала XVIII столетия. Теперь здесь были квартиры – огромные холодные комнаты с высокими потолками, с полукруглыми окнами, обшитые темным деревом, затянутым грубым шелком. Здесь нельзя было переставить зеркал – они были вделаны в простенки, нельзя было сдвинуть шкапа, дивана – все это давно вросло в пол, и когда хотелось перевесить картину или просто снять ее, отправить в чулан (портреты неизвестных, бонапартовых времен баталии), то оказывалось, что и это сделать невозможно, настолько выгорел стеной шелк. А под толстыми коврами скрывался черный скрипучий паркет в щелях, и в солнечный день в столбе пыли у портьеры было видно, как тяжело летит с кисти на кисть сытая моль.

Вера вошла и прислушалась.

Тихо было в доме и тихо за большими окнами, где продолжалось время. Запах старой пыли, двухсотлетней сырости начинался уже на лестнице – широкой, витой, каменной, с огромной паутиной, висящей, как гамак, в пролете. Здесь в квартире много и подолгу отворяли окна (был больной), и все-таки пахло прошлым веком – от этого века Вера мутило. Впрочем, это был не прошлый век («пара и электричества»), а век позапрошлый, который дремал здесь в неуничжимом своем величии и обременительной прочности. На громоздкую вешалку Вера накинула шляпу и пальто. В квартире не было ни ребенка, ни животного, которые могли бы учуять ее приход. Она осторожно прошла к себе в комнату. С кухни донеслось пение прислуги.

Осторожно, так, чтобы в соседней комнате ничего не было слышно, она села к столу, выдвинула ящик. Отсюда она иногда прислушивалась к тому, что делается за стеной, за дверью, к шороху, к дыханию – и теперь надо было сделать все, чтобы там не догадались о ее возвращении, не шуршать бумагами. Самины письма, его фотографии, даже та газетная вырезка – все было цело. В его телеграмме, полученной несколько дней назад, – «Буду в Париже в конце недели. Восемнадцатого концерт. Сообщу день и час приезда» – теперь сквозил обман, заранее обдуманное намерение. Вера вынула из сумки его сегодняшнее письмо и еще раз перечитала его:

«Верка, прости за беллетристику, но я стреляюсь, не увидев тебя. Вероятно, просто потому, что мне не особенно этого хочется. И хорошо. Жизнь обманула, вот в чем дело. Она победила (обманным образом), и я сдаюсь с честью, пока не поздно. Прощай!

В чем оправдываться? И перед кем? Перед тобой? Но ведь ты и так скажешь: невиновен. Слишком много было обещано. Как смогли столько мне обещать? Ведь были даны не только способности, была дана “гениальная болезнь”, рассеянный взгляд... все, что нужно. А вырос

молодой человек, способный... к скрипке? к коммерции? Все случайно.

Я не стал первым, и даже не стал вторым, а быть десятым не хочу. Я когда-то хотел быть самым лучшим. Люди, Бог, я сам – все уверяло, что я – особенный. А теперь мне все равно. Скучно. Хотелось того, что не удалось, а все, что давалось, было неинтересно. Устал. Ты скажешь: рано, еще нельзя судить, надо еще стараться. Отвечаю тебе на это: наоборот! Надо спешить, иначе потом не успею.

Верка, золотая моя, ты сейчас же дай знать Полине и дяде (адреса в моей записной книжке – выписывать лень). Гаднельман (мой приятель и импресарио) и так придет. Ему сделаны необходимые распоряжения.

Если бы ты знала, какой соблазн сейчас (двенадцать часов ночи) выйти из Гранд-Отеля (опять беллетристика), взять автомобиль, примчаться к тебе, достучаться, дозвониться, расцеловать тебя, взглянуть на него, закричать: как ты постарела! И услышать от тебя слабоватенькое, но милое слово утешения... А впрочем – не так уж велик этот соблазн, иначе бы бросился, конечно. Остыл я, ко всему остыл, ко всем. И к тебе... Верка, прощай! Не хочу размякать душой, а то все продам и отращу брюшко, и крашеной жене вечерами буду наигрывать романсы. Если есть что спасать, так только отчаяние свое.

Помнишь – пусть это сентиментально, но сейчас все позволено, даже разнюниться, – помнишь, Верка, как мы с тобой в Питере, у нас, иногда в сумерках лежали на какой-то шкуре, болтали или молчали? Ведь это лучшее, что у меня в жизни было, клянусь тебе, да еще иголки в сердце перед первым публичным выступлением. А с бабами никогда ничего путного не выходило. У меня на всем теле веснушки, и это, наверное, смешно. Кто знает, может быть, и любовь – обман, такой же, как и жизнь вообще?

Помнишь ледяную гору в Таврическом? Помнишь вообще Россию, которая где-то есть и, может быть, тебе

вернется, а мне – никогда? Помнишь ли себя, Верка, какая ты чудная была, некрасивая, толстая? Жизнь не стоит тебя. Ты, может быть, тоже когда-нибудь умрешь, как я. Только кому ты тогда напишешь свое последнее письмо, бедная моя? Неужели какому-нибудь кобелю, прохвосту, который тебя не стоит? Верка, Верка!

Как мне себя жаль, как мне тебя жаль. Как я люблю тебя, себя и всех. Но жизнь – это враг, это ватерклозет какой-то, это – надувательство. Черт с ней! Хорошо хоть, что есть кому в этой жизни “прощай” сказать, и “спасибо”, и “прости” за всякие там беспокойства. Не плачь, милая, милая моя! Не плачь...»

Она плакала, неслышно; глядя на нее со спины, никто бы ничего не заметил – ни рыданий, ни всхлипываний, она дышала, как все люди, вовсе не умеющие плакать и никогда не плачущие, а слезы текли так сильно, что она не успевала утирать их, она роняла их вокруг: на стол, на себя, на ковер; она встала и пошла к дверям. Ей нужно было к кому-то пойти, кому-нибудь рассказать – и она пожалела, что в доме нет ребенка или животного. Все было тихо. За дверью, в спальне, тоже. На кухне Людмила возилась с завтраком. Внизу жила старая драматическая актриса с молодым любовником. На углу была мелочная лавка. Земляника. Яблоки. Дальше был город, в котором жили чужие и знакомые. Рассказывать о Саме было совершенно некому. Если бы здесь была собака, какой-нибудь пес – Дианка или Джек или как их еще зовут обыкновенно? Она бы села с ней куда-нибудь в угол – в темный угол, их много в квартире, – рассказала бы о Саме, о себе, о том, как он появился в ее жизни и что это было. Никого. Она прокралась в гостиную, все продолжая капать слезами вокруг себя. В гостиной было всегда темно и всегда – даже летом – холодно. Из кухни доносилось какое-то танго, которое играли в ресторанах лет пятнадцать тому назад. Тихо. Как это говорится: «И не ударит Божий гром?» Нет, не так. Вот сюда она села бы, стала бы смотреть в пустой громадный камин. Она даже

представила себе, как бы начала свой рассказ. Она бы сказала:

«Он появился однажды, перед вечером...» – и так далее.

И это было бы приблизительно так.

III

Он появился в суховатый морозный день, перед вечером. Воздух чисто и остро пахнул петербургской зимой.

Под деревьями, между черными стволами, где первый снег так и оставался лежать до первых дней весны, куда дети Таврического сада бегали прятаться или за маленьким делом, ничком лежал мальчик лет десяти и не плакал.

– Тебя запрут, – из жалостливого озорства крикнула Вера, не зная, кто это. – Пора домой!

Но мальчик не двинулся. В быстро падающем вечере была видна его отброшенная рука.

– Верочка, да ведь мальчик-то замерз! – воскликнула Настя и побежала, полетела по снегу под деревья. – Мальчик, мальчик, Царица Небесная! – красной, жесткой ладонью она вдруг забила его по щекам, потом схватила снегу и безжалостно растерла ему лицо. А кругом по-прежнему не было ни няньки, никого.

Мальчик откатнулся в Настиных руках, открыл глаза, распустил рот и приготовился заплакать.

– Чей ты? – спросила Настя, комкая ему руки, нахлобучивая шапку. – Где живешь?

– Я – Сам, – сказал мальчик.

– Чего это ты «сам»? Где живешь? Ну!

Мальчик заплакал, пряча веснушчатое толстогубое лицо.

– Это его так зовут, что ли? – сказала Вера и сделала два шага к нему.

– А ты его знаешь?

– Нет, он чужой.

– Так надо поискать кого-нибудь, кто с ним, не один же он пришел, он богатенький, погляди на шубку, башлычок, ручки чистые. – Настя поволокла Сама к дорожке. – Да кто с тобой? Мадмазель? Какая? Да что ж ты такой слабоумный!

Вера медленно пошла за ними.

Однажды к ней в комнату залетел воробей. Была весна, и растворили майковскую первую раму. Воробей, пометавшись по комнате, попался наконец в руки, и Вере дали погладить его теплую твердую головку; потом он выпорхнул обратно в небо, и стало ясно, что он не вернется больше никогда, что его невозможно даже отличить от других таких же воробьев, тревожными стайками прилетающих на городской двор, что нельзя в жизни все знать, все иметь, всех любить и всему радоваться. И глядя вслед Насте, уводившей Сама по бугристой натоптанной дорожке, Вера спрашивала себя, можно ли будет узнать и полюбить этого мальчика и радоваться ему, можно ли будет сохранить его для себя одной?

Он был чужой, она до сих пор его в саду не видела; «свои» – это были дети с площадки, которые испокон веков были на «ты» друг с другом, менялись салазками и по двое бегали секретничать на мостик. Сам был мал для них, но то, что он оказался сегодня один в темнеющем снежном саду, придало ему вдруг таинственную, героическую прелесть – несмотря на его слезы, всхлипы и перепуганный вид. Его новенькие боты оставляли маленькие следы в лиловом снегу; раза два он по требованию Насти громко позвал кого-то, обращаясь к деревьям, к снежной тишине. В голосе его дребезжали слезы. А кругом не было никого, воздух искрился и молчал. И Вера шла и думала, какие у найденного мальчика рыжие волосы, до сих пор она думала, что рыжими бывают одни девочки...

Бережно обошли они весь этот угол сада, дошли до ледяных гор, до катка, где поздние катальщики, румяные

растрепанные девочки и горлопаны-гимназисты сводили счеты на звонком льду катка.

– Я думаю, с ним дурнота была, – сказала Настя, оглянувшись на Веру. – Потому он ничего и сказать не может. Сторож его в участок отведет. – Мальчик шел все медленнее и начинал заметно дрожать.

Теперь все трое шли к выходу, к сторожевой будке, где на лавочке, глухой и сонный, сидел сторож. Сторож Настю знал.

– Французинка, гувернантка, – ворчал сторож, – за детьми приглядеть не умеют. Коченеет сыночек, ему бы тепленького испить. Адресок оставьте свой, Настасья Егоровна, берите его. Экой случай! Небось хватятся...

Но Настя побоялась уводить мальчика и тоже присела на лавочку: неужели так никто и не придет за Самом? Становилось темно и холодно, пора было запирать решетку. Мальчик дрожал все сильнее, и было видно по его лицу, что не все еще слезы выплаканы.

Вера стояла поодаль, стараясь услышать, о чем говорят, стараясь рассмотреть мальчика до последней пуговицы.

– Да как же ты улицы своей не знаешь? А еще мальчик! – укоряла Настя. – Эх ты, кавалер на обратный манер!

Безжизненное лицо Сама на мгновение засветилось мыслью, потом он снова впал в прежнее свое безразличие. Только краска появилась в лице и придала ему надутый, напряженный вид.

– Позвольте вас пригласить к нам, – сказала Вера, подходя вприпрыжку. – А потом все устроится.

– Дура, – не разжимая зубов, выжал Сам, набравшись храбрости.

Но больше оставаться в саду было нельзя. Дорожки ушли в черный вечерний мрак, последними прошли подростки с катка, гремя коньками. Сад приготовился к ночи и одиночеству, а улица за воротами вся была в огнях, и пропало небо, откуда – из ничего – слетали ино-

гда отдельные снежинки. Настя взяла Веру и Сама за руки и решительным шагом перевела их через мостовую. Сам был взят в плен, и Вера, косясь глазом, все время незаметно следила за ним. Так они шагали, и было беспокойно, было тоскливо, и сердце истекало неизвестностью и грустью.

На звонок открыла кухарка, и в переднюю, шурша канусовой юбкой, вбежала мать: что так поздно? Чужой мальчик шагнул в переднюю, и она удивилась, увидя мальчика.

«Он пойман!» – думала Вера. Надо осмотреть двери и окна, чтобы не выпустить его, оставить для себя, на память об этом синем, обыкновенном зимнем дне. Он станет жить здесь, и больше не будет пустой эта детская жизнь – только бы он не вспомнил, откуда он, с какой улицы, из какого дома. Это она нашла его, и теперь оставит себе, и все отдаст за него: игры, и книги, и много обещанных радостей; этот рыжий мальчик станет ее собственностью.

А Настя говорила без умолку, и ачала кухарка, пока Сама раздевали и вели в столовую, прямо к горячему молоку, приготовленному для Веры. И Сам шел, как заведенный, опустив голову.

– Улицу, улицу помнишь? – спрашивала мать, подхватывая прядь светлых волос под гребень. – Да что же ты все молчишь, не бойся, не плачь, вспомни... Ах, Боже мой, что у него сейчас дома делается, воображаю. Мама есть у тебя?

– Есть, – сказал Сам и потянул носом.

– Фамилия твоя как? Как папу зовут? Вспомни, голубчик, милый, ну подумай, ведь ты совсем большой.

Опять какая-то мысль озарила Самоно лицо. Он сделал усилие, задержал дыхание и, опрокинув чашку, заливая вокруг себя скатерть молоком, почти крикнул: «Адлер!» – и вдруг покотился смехом, звонко, чисто, будто звенел колокольчиком, и на мгновение замолк, и снова рассмеялся, и уже не мог остановить колокольчика: тре-

звон перешел в рыдание, в хохот, в долгую громкую истерику, во время которой он судорожно начал биться между стулом и столом, слезы текли у него по лицу, грудь в матроске разрывалась от плача. Его схватили, понесли куда-то, и там заметались, ища валерьянку, и, найдя, осторожно покапали ею на кусок сахара.

Разгадка приблизилась, и Вера, стоя у кровати, на которую уложили мальчика, сдерживая слезы, смотрела на то, что происходит. У матери находились одно за другим нежные странные слова, которые Вера, пораженная, слушала с тайным упоением. С ней говорили совсем иначе: во-первых, она была девочкой, и никто никогда не называл ее дружком, голубчиком и дурачком. Во-вторых, она никогда так страшно не плакала, никогда ничем не болела, и над ней, среди бела дня, никто не хлопотал, озабоченный и ласковый.

– Настя, телефонную книгу! – крикнула мать.

Разгадка приближалась. Вот еще немного, и вещая книга выдаст все, Сам вернется в потерянный дом, и Вера останется одна, как прежде. И потому надо спешить. Пока мать листает страницы, Вера подходит к Саму и тихонько наклоняется над ним. Она проводит пальцами по его мокрому лицу, трогает губами его волосы и чувствует, что он пахнет знакомым, птичьим теплом.

– Адлер, Александр Семенович, Большая Дворянская, дом 21, – читает мать, нет, это должно быть гораздо ближе... Адлер, Альберт Григорьевич, корсетная мастерская – не похоже... Верочка, что же мы делать будем? Постой! Адлер, Борис Исаевич, присяжный поверенный и присяжный стряпчий... и на нашей улице, гляди! Дом номер 7 – напротив. А ну-ка, вставай, лежебока, может быть, ты дом узнаешь, а нет – в участок позвоним.

Отодвигают холодную тяжелую штору, на подоконнике искрится снег, и дышит холодом черное стекло. Там горит фонарь, люди идут по снежному тротуару. Сам неподвижно стоит с опухшими щеками и смотрит

туда, где напротив – окно в окно – горит люстра в красном доме.

И тогда вдруг поднимаются заплаканные веки, круглятся зеленые глаза. Сам раскрывает рот, и видно, что вместо молочного, выпавшего, уже растет у него сбоку тупой и сильный настоящий зуб. Он все вспомнил, он вздрагивает и обводит глазами комнату, он даже пытается объяснить, что с ним иногда бывают такие обмороки, после которых он забывает все. Он сразу делается почти взрослым. Скорей, скорей, звонить домой, маме, – он брызжет слюной в Веру, шаркает ногой то в одну сторону, то в другую, благодарю вас, спасибо, пожалуйста – других слов он не произносит, он просит простить его за беспокойство и, наконец, бежит к телефону.

Вера остается одна, пока из столовой доносится Самин голос, повзрослевший, уверенный и чистый: да, мамочка, нет, мамочка, хорошо, мамочка. Дом напротив, как корабль, причалил к Вериной пристани, кажется, что еще утром на месте его был пустырь – его выстроили в один час, населили людьми, о которых вдруг стало так много известно, и мальчик, из неведомой дали приплывший, оказался попросту соседом – и его ни приручить, ни удержать нельзя. Сейчас за ним придут и возьмут его.

В передней позвонили, и Вера выглянула туда. Там стоял невысокий плотный господин в бобровой шубе, в золотом пенсне, распустив концы белого кашне по обеим сторонам груди. От него пахло свежими крепкими духами. Он уже прижимал к себе и тискал Сама, на которого и мать, и Настя старались натянуть шубу.

– Извините за беспокойство, и спасибо, спасибо от себя и от жены. Ах Господи, ну что за мальчик! С ним это бывает, но Вяжлинский сказал, что пройдет... Мадемуазель новая, по улицам искала его, топиться хотела в проруби. А мы – ну просто в отчаянии были, золотко мое! Вяжлинскому верю, как Богу. Крючком застегни, у воротника... Спасибо еще и еще, от всего сердца спасибо.

Сам, довольный и уверенный в себе, вертелся перед Настей. Когда он подошел к Вере, он вдруг стал важен и отвел глаза в сторону – она была чуть выше него, и, чтобы взглянуть ей в лицо, ему надо было взглянуть вверх.

– Благодарю вас, – сказал он и поковырял варешку.

– Да. Вот как! – вздохнула Вера без улыбки.

– Приходите к нам в гости, – сказал Сам, внезапно решившись вскинуть глаза и багровея.

– Когда? Сейчас? – растерялась она от радости. Он взглянул на отца.

– Проси завтра днем, к чаю с пирожными. Какая хорошая девочка. Ай, какая у ней косица!

В это время Сам потянулся к Веринуму лицу и, чиркнув мягким носом по ее щеке, поцеловал воздух около ее уха.

Она оставалась стоять, когда дверь захлопнулась и мать, почему-то строго взглянув на нее, потушила в передней свет. Не было в мире такого замка, которым можно было бы удержать в доме чужого мальчика, не было такой силы, которая дала бы Вере возможность увести его к себе, посадить, сесть самой рядом, и смотреть на него без конца, на его веснушки, на его матроску, и слушать его, и говорить ему все, что взбредет на ум, и гладить его. Он не понял, что такое Вера, и выдал себя, он не захотел жить на свете ради нее одной, и от всего этого страшного и необычайного приближения осталось одно: она могла теперь смотреть часами в окно через широкую зимнюю улицу, которая с этого вечера – как этот город, как мир – стала тоже немножко ее собственностью.

IV

Приготовления начались с утра: была надета чистая рубашка, вышитая городками, и штаны, которые хрустели, как картон; самые тонкие (и все-таки толстые) рубчатые чулки, платье, отглаженное Настей, башмаки на пу-

говицах, которые скрипели и блестели так, что не заметить их было нельзя. Звонко выполоскав зубы, Вера несколько раз перевязала ленту в косе – на самом конце: коса выглядела длиннее, у затылка – Вера казалась взрослее. Перед самым выходом она решила почистить ногти и сделала это чистым стальным пером. К зеркалу она подошла всего раз: посмотреть, чист ли нос? Она без зеркала прекрасно себя знала и высокого мнения о себе не была.

– Люди, которые нам не компания, – сказал отец, посмотрев на противоположную сторону улицы, где плыл, и сиял, и звучал Самин дом. Но это было сказано, конечно, о господине Адлере и его супруге – Сама отец не знал, как знала его она. И вот в столовой бьет три часа, Настя накидывает на голову платок, закрывающий ее до колен. Мать завязывает Вере капор, холодными нежными пальцами задевая ей лицо.

– Обратно придешь, когда почувствуешь, что надоела. Не позже половины шестого. Я буду стоять у окна и смотреть.

Вера летит вниз, потом по снегу через улицу, в подъезд. Швейцар запирает Веру и Настю в лифт; протяжно вздыхая, лифт поднимается на площадке – зеленые лопасти искусственных растений. Тишина. Снег начинает валить за окнами – гуще, гуще...

Дверь открыла горничная, но не на горничную смотрела Вера, а на длинноногую особу в розовом платье, в черных локонах, с тонким треугольным лицом. «И это тебе не компания», – подумала Вера: особе на вид было по крайней мере лет пятнадцать. Она тоже смотрела на Веру, но не здоровалась и насмешливо поводила бровями. Перед тем как позвонили, она надевала боты, и теперь, обув одну ногу, захромала в комнаты и бесцеремонно крикнула:

– Самуил! К тебе толстая девочка пришла.

Потом вернулась, равнодушно оделась, перетянулась пояском и, помахивая горностаевой муфтой, ушла одна, как взрослая – нарядная, стройная, холодная.

И тогда раздался топот по коридору. Он кинулся на Веру с какой-то смешной медвежьей прытью, нервно, но все-таки не совсем по-вчерашнему хохоча, потом бросился к Насте, красный, довольный, что и она тут, и потом отступил на шаг, любуясь, как старенькая мадемуазель в очках на крошечном носу жмет Насте руку и благодарит за вчерашнее. И когда Настя, смутясь до какого-то не во время оброненного смешка, убегает, он еще раз виснет на Вере. Она стоит как столб, сияя от счастья, не зная, можно ли его обнять? И только когда в детской мадемуазель оставляет их (она заранее решила, что так будет лучше, что в этом «система») и они, наконец, одни, Вера стискивает Самины плечи и они хохоча валяются на диван – огромный, старый, похожий на обошедший три раза вокруг света плашкоут.

Они лежат поперек, свесив четыре довольно схожих ноги, смотрят в потолок и разговаривают.

Она все еще боялась, просыпаясь ночью и нынче утром, что не будет времени все рассказать о себе и услышать о нем: десять лет жизни врозь! Хорошо, что не двадцать, не тридцать. Она боялась, что не успеет околдовать его, как вчера не успела, что время, так медленно приближавшее ее к трем часам, хлынет потом водопадом, и придется уйти домой, не досказав, не дослушав. Но как только они оказались одни в большой Саминой классной и она почувствовала, что он лежит рядом, что вот его рука – с маленькими потными пальцами, вот – лицо, еще не до конца рассмотренное, но такое любимое, с пятном слившихся веснушек на скуле, с черненькой ноздрей, с глазом, смотрящим на нее весело и нежно, – как только она почувствовала, что они вместе, она удивилась наплыву радостной уверенности, что все будет именно так, как ей мечталось. Больше всего ее удивляло и делало счастливой то, что огромные круглые часы над их головами мерно и звучно тикали, никуда не срываясь, что Сам никуда от нее не бежал, что никто не входил и не указывал, что им делать.

И все это в душе она называла счастьем, потому что оно длилось.

Сам начал издаleка – от первых своих дней, когда он родился таким маленьким, что его можно было рассмотреть только в лупу. Потом он вырос в вершок, потом в два вершка, потом в пять. Он рос от земли, как деревцо, только с ногами – он хорошо это помнит и уверяет, что все люди – и Вера, конечно, тоже – растут от земли. «Не может быть!» – удивляется она.

– Неважно, откуда они выходят, – на всякий случай говорит Сам, намекая на мамин живот, – важно, что выходят они совсем малюсенькими, так что их почти не видно, и потом быстро-быстро-быстро, в один месяц, вырастают в аршин, но начинаются все от земли.

– Не может быть! – повторяет Вера, вытаращив глаза, сколько возможно.

Да. И он хорошо помнит, как он был двухвершковым: его купали в полоскательнице, и однажды, гуляя между чашками по столу, он упал в варенье. Папа носил его в кармане фрака в суд, а спал он в ночной туфельке сестры Полины.

Вера глотает в горле хохот и говорит:

– Это, конечно, очень возможно, но наверное сказать этого нельзя.

И тогда Сам вскакивает с дивана и кричит:

– Да ведь это я все выдумал! Да ведь этого быть не может! – и счастливый кидается обратно.

Правда о его памяти состоит в том, что он вообще ничего не помнит, кроме музыки, да еще он может в уме множить цифры, но это доктор ему запретил. В детстве, когда ему было три года, он болел менингитом. Однажды, когда он выздоравливал (это было гулкой весной, и вот это самое окошко было открыто), по улице шел полк солдат, тихо шаркая по мостовой, и вдруг сорок трубачей грянули военный марш. Говорят, он закричал так страшно, что у него пошла носом кровь. Потом с ним был обморок. Теперь обмороки бывают все реже.

Когда он рассказывал ей о своей болезни, он не оправдывался во вчерашнем, но и не хвастал загадочностью своей, а просто признавался в чем-то немножко неудобном и для него роковом. Вот и шкафик с лекарствами – собственными, его, – стоит тут же в классной. А это – книги, тоже собственные. А это – скрипка.

– Я – скрипач. А ты кто?

И Вера машинально отвечает ему:

– Я – никто.

Он продолжает свой рассказ. Она слушает жадно, ей кажется, что нельзя пропустить слова, что ему надо выговориться. Она поднимается на локте и долго смотрит на него, рассматривает его губастое лицо, которым он гримасничает в ее сторону. Она внимательно слушает, и ей кажется, что вчерашнее ее колдовство над ним не пропало даром. Он будет принадлежать ей. Он будет принадлежать ей.

После чая в угол гостиной, образованный портьерой окна и портьерой двери, они натаскали подушечек со всей квартиры – кожаные, кабинетные, шелковые, будуарные, – взяли у живущей на покое нянюшки клетчатый платок, розовый коврик от Полининой постели и устроили себе пещеру, сколов булавками и кнопками какие-то простыни, пледы и шторы. И когда кончили эту постройку, уселись в темноте усталые, довольные и молчали. И потом опять потекли слова, кто-то изредка проходил по комнате – мадемуазель, помощник Бориса Исаевича, – поглядывал в их сторону, но не приближался и ни о чем не спрашивал. Над роялем горел канделябр – к ним едва проникал его свет. Становилось жарко. Рассказывала Вера. Самым удивительным было то, что она была нестерпимо, невероятно счастлива сидеть так и рассказывать. А он, маленький, сидевший почти на полу, подпершись обеими руками, слушал – и иногда было невтерпеж обоим от радостного клокотания в груди, и они заливались смехом, так, по неизвестному поводу.

Рассказ шел об отце, о матери, о бабушке, который с ними жил. Рассказ шел о последнем лете в деревне, о лошадях, коровах, собаках (Сам боялся животных и никогда не трогал). Потом о книгах, о мечтах, о многом. И после опять было молчание. Пока вдруг где-то близко, тонко и чисто, не пробило шесть часов.

Вера почувствовала, как у нее отнимаются ноги от ужаса. Она с трудом вскочила. «Куда? Уже? Ты только что пришла!»

– Мне попадет, – сказала она откровенно.

Но оказалось, что давно уже все улажено по телефону. Вера не вернется обедать и вечером тоже... Она, не он, была в плену.

Она теперь ходила по огромному кабинету Бориса Исаевича, садилась то в одно кресло, то в другое; шла в гостиную, где висели пестрые картины и над мраморной голой женщиной зажегся маленький рефлектор, бросавший белый свет на закинутые руки и желтый полусвет на ковер, на голую женщину с противоположной стены смотрел Лев Толстой из черноты траурной рамы. Малиновый бархат тек по окнам, по креслам, мешаясь с пурпуровым атласом, по роялю, Вера плыла, она уплывала все дальше по огромным нарядным комнатам, и было странно подходить к окнам, поднимать вышитый тюль и видеть – словно смотреть из окна в явь – все ту же улицу, на которой – с той стороны, вон в том окне – так долго жилось и мечталось о таком вот именно дне. Сам ходил за ней следом, стоял с ней рядом. Опять они забегали в угол, куда кто-то принес им тарелку с финиками. Они садились на подушки. Все продолжались рассказы. Дедушка был совсем старый и лицом похож на татарина; дедушка уже давно болел и мог скоро умереть.

– И я послежу, когда он умирать станет. Непременно. Я хочу узнать, как это бывает. Такой случай! Ты подумай! Я подсмотрю, я все узнаю.

– Что же ты узнаешь?

– Про то, как умирают.

– А когда это будет?

Они шептались.

Их за коврами не было ни видно, ни слышно. Когда Борис Исаевич вернулся домой, их позвали обедать.

– Где дети?! – спросил он, мелким и быстрым своим шагом пробегая по гостиной и радуясь беспорядку.

Они вышли из своей полутьмы. «А!» – закричал он и замахал руками. В руках были пакеты. «Здравствуйте, барышня. Ну как? Нравится вам у нас?» Из-за спины его вдруг выходят полное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя и пара сверкающих холодных коньков. «Это – вам-с».

Праздник продолжался. Опять они были в столовой. К обеду были гости: известный певец, господин с длинной черной и узкой бородой, никому не дававший сказать ни слова, какие-то дамы. Все сливалось для Веры в туман: мадемуазель, и длиннолицый помощник, и Полина – все сливалось, и только его лицо с заговорщицкими, лукавыми, зелеными глазами было перед ней, красный вихор над лбом, дыра вместо зуба в улыбке, шепот: «Ты битые сливки любишь? Однажды я шваброй набил ванну сливок, просидел в ней всю ночь, а потом их съели...» И хохот в салфетку, и церемонный глоток из стакана – воды, разбавленной вином, – волшебный напиток!

Где она? Почему она здесь? Что с ее сердцем? Не оно – вся она клокочет и бьется незримо для других – сама в себе – от дикого, чудесного ощущения жизни. Заговор дружбы.

– По губам понимаешь? – тихо спрашивает она через стол.

Он кивает, глядя ей в рот. Горничная из-под его руки уносит недоеденного им рябчика.

– Заговор дружбы, – читает он у нее на губах.

– Наш пароль, – отвечает он так же. – Сделай что-нибудь, чтобы его закрепить.

Она кладет себе в рот корочку черного хлеба. Он делает то же. Вместе, одновременно, они проглатывают и понимают друг друга.

– Мама, я не хочу, чтобы она уходила, – говорит он после обеда.

– Она и не уйдет. Папа поведет вас в театр. Мы уже сговорились по телефону.

Как, еще? Мечется снег под фонарями, лошадь смиренно подрагивает под синей сеткой, отстегнута полость. Борис Исаевич первый влезает, в бобрах и духах, втягивает за собой в сани Веру и Сама. Быстро подоткнута полость, вьется облако пара, мутнеют часы на поясе кучера. Вера ставит обе ноги (думая, что это скамеечка) на неподвижную ногу Бориса Исаевича. Она сидит в середине, спрятав руки. Сам валится на нее на поворотах – она чувствует его плотную тяжесть; он дышит на нее теплом, она жмурится. Лошадь рвет снег копытами; большая меховая рука Бориса Исаевича зажимает ее и Сама сзади. Кто у кого в плену, она у Сама или Сам у нее? Неизвестно. Только пусть это длится, потому что – счастье.

И это длится. Все дальше и дальше. Этому нет конца. Ветер режет лицо, в глазах сквозь слезы мечутся какие-то огни, рука зажимает обоих все крепче, все теплее. Борис Исаевич изредка покрякивает, у него индевеют усы и вместо пенсне на глазах – два снежных кома.

– Не холодно, золотки? – спрашивает он, но Вера не отвечает, а Сам не слышит. Ей кажется, что она летит по воздуху и громко поет, ей кажется, что сейчас она расколется и из нее, из груди ее, из полотняного на полотняных пуговицах лифчика, вылетит к Богу ее душа.

И в ту минуту, когда сердце готово разлететься вдребезги, внезапно отпускает рука за спиной, прекращается ветер. Они у подъезда театра.

V

«Неужели это та же вода, – думала Вера, закручивая кран в ванной, – та же, которая в пруду, реке и море? Эта вода какая-то сделанная».

Ванна была готова, и Вера с опаской села в нее. Мать сейчас же со смехом выжала ей в лицо губку, и Вера, фыркая, легла в воду, воображая, что уплывающая от нее мочалка и есть тот чудесный необитаемый остров, на котором поселится большой палец ее правой ноги.

Ванная колонка продолжала гудеть от ветреного жара, и в красной ее меди плавился электрический свет, росистый пот стекал по стенам, и в горячем пару Вера, закрывая глаза, облепляла себя мыльной пеной и терла, терла мочалкой до красноты свой живот. Потерев, смиренно подставив под синий кувшин все свои позвонки и выждав, пока стечет вода, она вылезала, задыхаясь в накинутаой на нее толстой простыне, и с трудом, словно внезапно увеличившись в размере, натягивала чулки, теплое белье, коричневое свое платье.

Тогда вынималась из волос одна-единственная огромная кривая шпилька, державшая все это время ее гладкую холодную косу, вытиралось розовое курносое лицо, и Вера, чуть поскрипывая высокими башмаками, с сонной слабостью в коленях, переходила к себе в комнату и утыкалась в книгу, а в ванной в это время метла, тряпка и щетка мыли и терли следы Вериных брызг и, булькая, уходила в далекое и душное странствование все та же вода.

Потом с грохотом приносилась из кухни новая вязанка березовых поленьев, и снова начинался треск и гуденье; мать повязывала волосы платком, вынимала из-под капота сиреневый корсет с двумя чашечками для груди и запиралась. Вера откладывала книгу.

– Мама, пусти.

Раздавался смех и плесканье.

– Я уже... я уже сижу.

- Почему ты опять заперлась?
- Чтобы ты не вошла.
- Почему?
- Потому что мне тебя стыдно.
- А летом в море?
- Смех, опять плесканье.

– Ну, в море это другое, там все голые, а тут я одна.

Вера пытается заглянуть в замочную скважину: там виден белый локоть, летающая вверх и вниз пенная мочалка.

Внезапно что-то летит по воздуху и повисает на ручке двери. Ничего не видно. Это значит, что мать уже ступила на коврик маленькой своей ногой. И вот она начинает тихонько петь, и слышно, как что-то близко от Веры скрипит и дышит.

Она пахла, как пахли когда-то молодые женщины, никогда не употреблявшие ни духов, ни притираний и носившие подкрахмленное белье. На теле у нее не было ни единого волоска, не заметно было ни одной косточки; и без сиреневого корсета тело ее сохраняло форму амфоры. Самым неприличным считала она показывать ноги (когда на ветру загибалось платье), а на балы выезжала с оголенной грудью – такова была мода.

Вера становилась ей тяжела, но она все продолжала сажать ее к себе на колени, удивлялась, как мало похожа ее громоздкая дочь на нее. Они обнимались тогда сладко и длительно, прижимались друг к другу с нежностью, целовались долго и звонко, признавались друг другу в огромной, вечной любви.

– Да ты понимаешь ли, что это такое? – спрашивала мать, держа Веру близко подле себя. – Да ты понимаешь ли, что пока я жива, ты у меня как на ниточке: я всю тебя чувствую, я сны твои знаю, я всякую твою мысленку угадываю. Понимаешь ты это?

Вера кивала, верила этому и не верила. Ей казалось, что у матери душа сделана из топленого жемчуга и даже цветом похожа на него.

– Дедушка говорит, что у тебя женихи по всему свету раскиданы, – говорила она.

Мать принималась хохотать, розовела, ловила падающие из-под гребня волосы.

– А ты дедушке не верь.

Но на самом деле это так и было: четверым отказала она, прежде чем выйти замуж, и эти четверо, один за другим, исчезли из ее жизни, неизвестно куда.

– А вдруг они найдутся?

– Ну так что ж!

Ах, как она произносила эти слова. Они приходили ей на уста нечасто, но зато, когда приходили, выдавали всю ее душу: такой, должно быть, была она когда-то, когда отказывала тем четверым. Такой, наверное, останется на всю жизнь.

Она пахла миндалем, а волосы ее – чем-то терпким, особенно только что вымытые, и тогда тем же терпким пахло и в ванной, и даже в комнатах, где она сушила свои длинные, волнистые пепельные пряди. Настя выплескивала в ведро мыльную пену из огромных узорных тазов, она наклонялась, и гремели в ее руках кувшины, переставляемые на залитом водой блестящем полу.

И такой гладкостью и свежестью светился тогда – без единой морщинки, без единой заботы – материнский покатый лоб, что Вера вырывала из маленькой книжки матовый листик пудреной бумаги и вытирала ей лицо, чтобы не так смешно блестело.

Обнимались они обыкновенно в креслах, в спальне. Двоилось сердце между любовью ко всему миру и любовью к матери. Обыкновенно это бывало между вечером и ночью – и, право, неважно было, как люди называли этот час. Там, в окне напротив, горела люстра – как каждый вечер у Сама в классной на окне висел матерчатый петух – знак, что Сам дома. Отец читал в столовой. Дедушка иногда тащился к ним и молча сидел, смотрел на них и вздыхал, совсем старый, подорванный болезнью.

– Дедушка, – кричали ему в ухо (все звали его так, даже Настя), – что сегодня болит?

И он, улыбаясь, показывал то на неживые свои ноги, то на ревматические руки. Вера всегда ждала от него чего-то неожиданного – Бог ведь почему! Однажды дедушка улыбнулся своей обычной улыбкой, да так и остался месяца на два – неподвижный, немой, с перекошенным ртом. Потом опять поднялся на свои скрипучие отекавшие ноги и пошел бродить. И все это – и смерть, которая вот-вот должна была дедушку осилить, – ничуть не казалось Вере ни мрачным, ни страшным: она считала это таким же естественным, как то, что сама она здорова, живет и будет жить долго.

Долго. То есть почти вечно. Снег, который она слизывала с обшлага, был пресен, как просфора, но солнце, в день неожиданно очень, очень длинный и светлый, жгуче растопило его. Оно топит все, топит город; веет ветром с моря; чавкает улица; слетает в воздух капель, и вот уже набухает Таврический сад водой, листвой, щебетом, и на мостках пахнет Фонтанкою, плесенью, Сам уверяет: Венецией. Это – весна.

Сам был в Венеции, он был в Ницце, в Биаррице, в Швейцарии: папа любит Италию, мама – Тироль, Полине нравится Франция. Но он забывал звучные, нарядные названия, где было столько и, помнил то запахи, то погоду, то музыку: знаменитого скрипача в коротеньких штанишках (Париж), симфонические концерты (Вена); или еще свою болезнь – тяжкое следствие детской кори, которая ползими продержала его с матерью в Берлине.

Бывали дни, когда он почти не мог говорить от непонятного мозгового утомления. Математика была ему запрещена. По утрам к нему приходил учитель, который в следующую затем зиму поселился у Адлеров, сменив мадемуазель. Предметы, которым учился Сам, были вне всякой классной программы, никаких экзаменов он нигде не держал. Учитель просто рассказывал ему всякие любопытные вещи, которые он или очень скоро забы-

вал, или неузнаваемо в воображении переделывал: о людях, разных стран и разных времен, о жизни земли, о слонах, о звездах, о человеке, о русской политике. Два раза в неделю Сама возили на урок к Ауэру.

Труднее всего было для Веры привыкнуть к скрипке. Сначала она только удивлялась его игре, ничего в ней не слыша. Сам при ней играл, впрочем, довольно редко: в те часы, когда он занимался, она не приходила; вечером, когда у Адлеров бывали гости и Сам, по просьбе матери, играл, Веру не приглашали. По воскресеньям, когда она на целый день уходила к Адлерам, он иногда брался играть. В первое время она только поражалась беготне его пальцев по грифу и силе и точности правой руки; однажды она услышала какую-то мелодию в том сложном и быстром, что он играл. Она ей очень понравилась, до сих пор музыка казалась ей делом слишком важным, чтобы быть делом душевным, ко всему, что было слишком душевным, Вера относилась с некоторым смущением: к цыганским романсам; к весьма печальным речам господина с узкой черной бородкой, бывавшего у Адлеров, – речам о России, о Будущем, о Человечестве; к клятве в верности, данной ей одной знакомой девочкой – ненужной и смешной; к открытке, прикрепленной Настей в людской: господин и дама, сросшись лбами, опустили глаза, рассматривая цветок.

Но скрипкой душа ее была задета по-иному: это было похоже на то, как налетали иногда стихи, как налетала молитва или просто – безмянный восторг при виде звезд в небе, цветов в поле. Говорить же об этом было нельзя.

Да и некому. Когда они сияли ночью над головой, когда из сада тянуло левкоем, долгим летом, Вера бывала одна – Сам нечасто писал ей с берегов теплого моря, а она не очень-то умела выражать свои мысли на бумаге. Она ждала зимы, матерчатого петуха в окне, хитростью выкроенных из детских, туго набитых учением и чтением будней, переглядываний, знаков, телефон-

ных разговоров (до полного онемения ушей), встреч. А пока, отложив книгу или задачник, она шла пускать змея в сад, куда приходили две девочки-двойняшки, считавшиеся почему-то ее подругами и жившие на соседней даче.

Летом она успевала разглядеть жизнь вокруг себя – зимой на это не было достаточно времени, – жизнь сада, двора, поля. Летом она вырастала, менялась. И от всего было ей весело – и от приезда, и от отъезда, и от собственного роста, и от постоянного аппетита, и от ровного загара. Дня за два до отъезда в город она пошла с Настей в лес, вспомнив, как она сюда выбежала три месяца назад, в первый день приезда в деревню, как не могла вдосталь наглотаться этого воздуха, и как теперь при мысли об отъезде она опять не знает, чему она рада? И все было хорошо: и дача, и Петербург, и лето, и осень, и последние астры на клумбе, которые срезали в последнюю минуту и которые подхватила мать, и извозчичья пара, куда усадили деда, и весь в мухах и плевках досчатый вокзал, окруженный хлебной и лесной сонью, куда налетел курьерский и скучные, невыспавшиеся пассажиры (вчера вечером – из Москвы), потеснившиеся, чтобы дать место дачникам.

Сквозь этот курьерский проходила Вера в зиму. С влажным буйством кружились в Таврическом листья, сухие сучья наводили тонкий узор на бесцветное, бледное небо. Теплый поток гольфштремного воздуха стынет, сыплется с шуб жирный нафталин, раскатывается потертый ковер. Пылает, стреляет искрами печка. И однажды, когда Вера возвращается из школы, она видит: в доме напротив моют окна, смывая с них мел и нарисованные Самом еще весной рожи; там снимают с окуллившейся люстры чехол. И через два дня Сам звонит у двери: как он худ, как дурно загорел, как невероятно резко и болезненно вырос!

Мимо громадных, как будки, старых шкапов отправляются они в тесную Верину комнату, где, как и во всей

квартире, пахнет слегка кухней и табаком – и с этим ничего не поделаешь.

– Дедушка еще жив? – спрашивает Сам и садится к столу, заклеенному клякспапиrom, а она – на табуретку у окна, быстро окинув взглядом комнату: все ли в порядке? – постель под пикейным одеялом, умывальник с педалью, два портрета на стене: Пушкина и бабушки.

– Как хорошо, что ты вернулся! – говорит она. – Как хорошо, что осень. Пушкин тоже любил осень.

Он кладет локти на стол, глаза его делаются узкими и темнеют.

– Я буду держать экзамен в консерваторию, – говорит он. – Экстерном. А Полина чуть замуж не вышла.

Вера всплескивает руками. В Саминном напряженном и непохожем на правду рассказе Вера видит далекий берег, белые камни, пальмы в три обхвата, длинную красную лодку и шумное гнездо кричащих чаек в скале; Вера слышит ночную музыку в тесных переулках, вьющихся между мраморных отелей и дальше, тишину, где кончаются бедные, грязные, плоские, как тюремные стены, дома и начинается холмистая итальянская земля, все выше, все круче, все прохладнее: вот за тем поворотом необходимо запахнуться, а за следующим – повязать на шею шарф. Навстречу спускается осел, острыми копытцами нащупывая крутой щебень. Сереблятся оливковые рощи по обеим сторонам дороги, и вот льется золотое-золотое – девяносто шестой пробы, честное слово солдата! – золотое вино в толстые стаканы. И кипарисы недвижны на высокой горе, где, помнишь, Тектор Сервадак откололся с куском земли и полетел в пространство, у Жюля Верна.

Сам переставил ее вещи на стол, сломал тонко очищенный карандаш, поковырял будильник. Потом положил рыжую голову на стол, на Верины тетрадки, и вдруг заснул. Это бывало с ним. Господи, чего только с ним не бывало!

VI

Под Новый год, вечером, Вера осталась одна: отец и мать уехали в гости, оставив спальню в невообразимом беспорядке: поперек кровати было брошено раскинувшее рукава старенькое материнское платье, поверх него в каком-то безобразном полете – отцовская куртка. Высокие, до последнего дня своей жизни не стоптанные материнские сапожки валялись посреди комнаты, на них наступали – опять в том же азарте – отцовские сапоги; все ящики туалета были выдвинуты (она искала веер). Еще в передней продолжала она натягивать длинные лайковые перчатки, потом набросила на высокую прическу оренбургский тонкий, как кружево, платок, на плечи – поношенную, но все еще нарядную лисью ротонду и выбежала, все продолжая натягивать перчатки; отец заспешил за ней в новенькой фуражке, наставив барашковый воротник.

На той стороне улицы были гости.

Вера угадывала за тюлем адлеровских окон Полину, черноватого гостя с бородкой и многих других, кого успела узнать у Адлеров. Среди гостей она иногда видела маленькую быструю тень Сама. У подъезда стояла вереница саней и несколько карет. Кучеры, наверное, ничего не слышали из того, что делалось наверху: ни рояля, ни голосов. Но Вера слышала, звуки неслись сверху: там, в квартире доктора Бормана («не надейся, даже не родственник Жоржу»), шаркали, бегали, грохотали, тренькали, восклицали, пели – словом, встречали теплой компанией Новый год. И незачем было смотреть на часы или слушать – не пробьет ли в столовой двенадцать? – и без того было ясно: сперва опустели окна напротив – адлеровские гости перешли в столовую (сорок приборов, шесть лакеев, взятых напрокат); потом у Борманов что-то куда-то передвинулось; внезапно наступила минута тишины. Мигали фонари на улице, блестели звезды. И потом сразу грянуло наверху – поехали стулья. «А-а-а», – заревела разом дюжина голосов.

А дедушка лежал рядом и готовился умирать.

Умирал он уже месяца полтора – и жизнь вокруг текла своим порядком, нельзя было ее остановить, да и зачем? Но сейчас он умирал всерьез. Прежде чем лечь, Вера послушала у его двери.

– Егоза, голубушка, – услышала она его шепот и сейчас же вошла, потому что это он так ее звал.

– Егоза, голубушка, – больше ничего разобрать было нельзя.

Ей показалось, что он просит пить. Она поднесла ему стакан. Потом ей показалось, что он просит поднять повыше ноги.

А наверху все шумели, заиграли польку, пошли в пляс. Хорошо, что дедушка был глух.

Он, медленно охая, пополз рукой в ее сторону.

– Заливает, – разобрала она. За ее спиной горела лампа, укрытая газетным листом. В комнате был старый и острый запах лекарств, какой-то травы (которая почему-то хранилась в ночном шкапике), меховой дедушкиной шапки, которую он иногда надевал, лежа в постели. Веру начинало клонить ко сну. Она отсчитала двадцать капель из бутылки с шлейфообразным рецептом и осторожно влила дедушке в рот. Он удивленно взглянул на нее, словно давно не видел.

– Егоза, матушка, сколько тебе? – спросил он, продолжая смотреть на нее.

– Мне двенадцать, дедушка.

– А.

Он закрыл глаза, вздохнул. Вздохнула и она и вдруг увидела, что дед заслоняется от кого-то рукой и в лице у него молчаливый недоуменный ужас.

Это был мгновенный сон, и она открыла глаза.

– Ты что, дедушка? – но он тихонько дышал и не отвечал ей.

«Только бы не заснуть, – молилась она. – Сейчас это случится. Никого нет...» Ей не было страшно. «Можно позвонить по телефону, можно подняться к доктору

Борману... Можно разбудить Настю... Не надо. Ничего не надо».

Глаза ее смыкались. Стараясь не скрипнуть дверью, она выходила, по холодной лестнице поднималась этажом выше. Распахивалась дверь. Гомон и музыка налетали на нее. «Доктора, пожалуйста», – говорила она, стараясь увидеть из прихожей (где пахло сдобью), что делается в комнатах. К ней выбегали какие-то люди (среди которых был и Сам), подхватывали ее, мчались по коридору. Да ведь это адлеровская гостиная, адлеровские гости! И вдруг ее что-то ударяет в сердце: он здесь, он здесь, певец с бархатным лицом, с глазами, как два озера, с голосом, от которого... В первый раз она услышала его в Германе, потом в Фаусте. Он, конечно, не замечает ее. Ничего. Когда-нибудь он ее заметит, он скажет: «Полюбите меня, красавица, я все потерял, и жизнь, и голос». И она ответит ему: «Я давно люблю вас, я буду любить вас вечно».

Она опять открыла глаза. Дедушка теперь лежал, приоткрыв рот, из которого сбоку, при каждом выдохе, все ниже спускалась выпавшая слюна. Вера вытерла ее углом простыни. Нет, к доктору Борману она не поднимется, но она позвонит туда, куда ушла мать. Только вот встать она не может. Дедушка цепко держит ее за руку. И ей кажется, что так цепко, как только возможно.

– Почитай-ка мне, егоза, матушка, – слышит она.

И она, преодолевая сонливость, тихонько, голосом, который то уходит в лепет, то вдруг восходит в звук, читает ему «Отче наш», и чувствует, что спит, давно спит, крепко спит..

Ей не сказали потом, когда именно он перестал слушать и дышать: пока она сидела над ним или после того, как ее увели спать и мать осталась с дедом, не сняв даже своего серебристого кружевного платья. Утром к Вере вошла Настя, поцеловала ее в голову и сказала, что дедушка преставился. Она вскочила. Она думала, что будет, как в немецкой сказке: кто-то вломится в дом, оста-

новит все часы, остудит все печки, запретит дышать... Ничего этого она не увидела. Солнце шло в окно косым приступом, с подоконника в комнату бежала вода. Было утро, январское утро, и в доме почему-то была такая тишина, как в церкви, когда рано и батюшка еще только облачается у себя в алтаре.

VII

Уже на следующий год, первый год войны, Вера совершенно равнодушно научилась смотреть на певца с бархатным лицом, бывавшего у Адлеров. Он много ел, еще больше пил, у него был бумажник весь в монограммах и узорах, у него было множество брелоков, на одном из которых была какая-то надпись – но она отлюбовалась и им, и всеми его украшениями, и теперь куда больше ее занимала Полина.

И тут можно было уже не стесняться, а входить в комнату и застывать у двери, изредка переводя дыхание, смотреть на то, как вокруг тоненькой девушки, носящей всегда только одно розовое, что-то блещет, искрится и дрожит, как сама красота.

– Уйди, ты мне мешаешь.

Вера краснеет, наливается свинцом, застывает малиновая в неестественной позе: носки башмаков – внутрь, шея ушла в плечи, руки, как два полена, отставлены от тела.

– Уйди, ты мне мешаешь.

Полина стрижет ногти и даже не поднимает головы. Но Вера отлипает от стены и делает несколько шагов. (Видно, как Полина подняла одну бровь.)

– Одну минуточку, – говорит Вера, берет хрупкий длинный обрезок перламутрового Полининого ногтя со столика и примеряет к своим, как примеряют кольцо.

– Уйди, ты мне мешаешь, – говорит Полина в третий раз, и Вера так же осторожно, как вошла, выходит.

Потом проходит и это. Сердечные дела приходится отложить. Сам и Вера приходят к заключению, что для сердечных дел у них просто нет времени.

Четырнадцатый год, пятнадцатый год. Уходит то время, когда они, лежа у камина в кабинете Бориса Исаевича, положив головы на голову медвежьей шкуры и смотря в огонь, как заправские мечтатели говорили о том, что мир несомненно зеркален, что вселенная отражается в другой вселенной и где-то, на расстоянии миллиардов световых лет, существует такой же мальчик, как он, и такая же девочка, как она, и так же дружат они, и так же вот в эту самую минуту в таких же сумерках... Не может быть, чтобы человек был создан один, без своего отражения... Уходит это время. Теперь, с разгоряченным лицом, со сверкающими глазами, вытянувшаяся, похудевшая, необъяснимо подурневшая, она садится в угол дивана в классной (на месте парты – письменный стол, впрочем, совершенно ненужный – Сам никогда ничего не пишет), а он – верхом на стуле.

– Чужие страны. Вот ты видел чужие страны. Ну и что же? Люди всюду одни и те же – всюду гадость, ложь, разбой?

– Ну конечно. И пошлость.

Пятнадцатый год, шестнадцатый год. Они читали газеты. Все – от объявлений «вдова с пышной фигурой» до «отступили на заранее подготовленные позиции». Они про все узнали. И с постоянным неистовым любопытством шныряли теперь по книгам – дозволенным и недозволенным. Восточное полушарие по-прежнему висело над диваном, и Россия, разлатая Россия, была выкрашена на нем в зеленый цвет, но это был обман, потому что никакой зеленой России вовсе не было.

И то, что на каторге побывал великий русский писатель, и то, что в Петропавловске гниют и мрут самые смелые, самые сильные (так повелось лет девяносто тому назад), и то, что у «помазанника Божьего», который говорит «мы», такое неумное, вялое и примелькавшееся

лицо, – все будоражило их, и во всем: в шушуканье прислуги, в разглагольствовании адлеровских гостей, в горячих подслушанных вне дома спорах – они искали ответа на свои подозрения касательно дикой и таинственной страны, которая закипала, колебалась у них под ногами, стараясь выплеснуться из зеленой сони деревьев, черным кружком обведенных городов, которая вопила, ревела все сильнее о нищете, темноте, бессмысленном своем скотстве, о детской смертности и коптящей лучине.

Сам смотрел вокруг себя сощуренными глазами, по-прежнему выдумывал всякие истории, ничего не помнил, иногда метко и как-то по-стариковски острил – худой, рыжий, пятнадцатилетний, он был теперь законченным музыкантом, ему пророчили упоительную славу. Обмороки его постепенно прошли, слезы тоже. Сонливость он все еще преодолевал. У красивых Полининых подруг он с полуулыбкой, с бессмысленным блеском в глазах выкрадывал из сумок и карманов платки, перчатки, стремительно уносил их к себе и прятал под матрас, а утром, когда выходил на улицу, бросал – всегда с одного и того же моста – в Мойку одним и тем же быстрым и брезгливым движением. Он выходил теперь один, хотя дома за него продолжали бояться; у него завелись кое-какие товарищи, музыкальная молодежь, среди которой он слыл талантливый, но уж очень самоуверенным и самолюбивым.

В ту весну, когда случилась революция и Вере исполнилось шестнадцать лет, они полюбили шагать вечерами от Литейного моста к Громовской лесной бирже, пока было светло, то есть до полуночи. За Воскресенским перевозом набережная делалась пустынной и глухой, попадались патрули, неизвестно что охранявшие: Таврический дворец или Смольный. На обратном пути, уже ночью, подле развалин суда все еще тянуло клейкою гарью. Небо никак не могло погаснуть, и они никак не могли расстаться, наговориться, проститься. «Ты и я»,

«я и ты» – слышалось проходим. Она по-прежнему была чуть выше его, юбки ее теперь значительно удлинились, но коса все еще была не убрана в прическу. Сам знал, что у нее половина жизни проходит где-то боком, вне его: гимназия, которую она скоро кончит, учителя, подруги – некая развязная грудастая Шурка Венцова, пускавшая папиросный дым через ноздри, и черноглазая нервная Шлейфер, с которыми он однажды встретился у Веры и очень с ними соскучился, и даже Верино будущее. Ничего этого он не знал и знать не стремился. У него самого было многое, чего Вера не касалась, и в частности – семейная паутина, о которой ему не хотелось с ней говорить. И если бы их обоих спросили: что же связывает их, почему они не могут прожить дня, чтобы не увидеться или не позвонить друг другу, то оба ответили бы, конечно, что это любовь, только не та любовь, необыкновенная, с привкусом Испании или Шотландии, не та, а эта, обыкновенная людская любовь, для него по силе «большая, чем к Полине», для нее – «как к папе».

– Как? Ты любишь меня не больше его? – воскликнул отец, когда она ему в этом призналась, и слишком сильно сжал ей руку у плеча своими сухими крепкими пальцами. – Поди, поди сюда. Так это правда?

Глаза у него блестели, зубы блестели тоже, бороду и усы он брил: росли они у него, как и у деда – по-татарски, чернотой обрамляя рот и подбородок.

– Да ведь он вырастет, женится на какой-нибудь еврейке или за славу тебя отдаст, ты за какого-нибудь зайца, принца крови, выскочишь – ведь от этой любви пыль останется, пыль. Ты об этом подумала?

И, кажется, он не шутил, он, кажется, говорил все это всерьез.

– А мы с тобой... Да нет, ты это лет через двадцать почувствуешь, когда стареть начнешь, когда твои дети надомной в смертный час, как ты над дедушкой, вивисекцию устроят. Связь времен... Гамлета читала?

Она молча кивнула. Она чувствовала страх, смятение. Матью она вышла в мать, чертами лица не напоминала ни одного из родителей, но что еще за всем этим в ней было? Впервые она почувствовала, что в ней течет и его кровь, а не только веселая чистая кровь матери, и испугалась.

Она прижалась лицом к технологической тужурке и долго не хотела отрываться. Прямо в глаз ей смотрела пуговица.

VIII

Матери у Шурки Венцовой не было, отец ее был священником; товарищи брата с четырнадцати лет тискали ее по темным углам и учили дымить носом. В каждом классе бывают такие девицы – года на два, на три старше остальных, с третьего класса носящие прическу и груди, великие бесстыдницы и полировщицы ногтей. Шурка отличалась от этих второгодниц тем, что училась на золотую медаль, всегда все знала и особенно отличалась по тригонометрии. И до того отчетливо и чисто хранилось у нее в голове все слышанное и прочитанное, что когда она кому-нибудь на перемене объясняла (физику, латынь), то ее понимали куда лучше учителя. Кроме учебников Шурка еще читала романы о любви и сама мечтала когда-нибудь писать такие романы.

– Бывает у тебя иногда такое беспредметное томление? – спрашивала она Веру, размякнув от рюмки портвейна и глядя красивыми круглыми глазами на свои ровные взрослые руки. – Так, ни о чем. Чего-то хочется... Рыдать...

– Нет, не бывает, – отвечала Вера, не понимая, о чем она спрашивает.

Шурка сидела сейчас же за Верой. Рядом с Верой сидела Шлейфер. Все три они поступили в один год и се-

ли вместе. И как в первый день держались одна за другую, так это и осталось.

Первый их разговор был о Боге. Шлейфер знала совершенно твердо, что никакого Бога нет. У нее был дядя, который бежал из ссылки и теперь жил в Лондоне, полуслепой. Он всю жизнь писал и говорил, что Бога не существует. Он был марксист. Шлейфер тоже была марксистка. Она так волновалась, когда все это говорила, что начала сильно под конец заикаться, ее тонкие пальцы в чернилах теребили все, что ни попадалось, а близорукые, совершенно черные, как черные вишни, глаза, навывкате, словно покрытые какой-то радужной слюдой, вздрагивали и еще больше темнели.

– Если бы был бог, один класс не угнетал бы другой, – сказала она с дрожью в голосе и умолкла.

Шурке очень понравилось, как она это сказала:

– Бог, конечно, есть, – проговорила она веско. – Как же без Бога? Тогда все грабить, убивать начнут, ничего не сдержит, ничего не помешает... Помолись о чем-нибудь и увидишь: Бог, конечно, есть.

– Я молилась, – сказала Вера, – и он у меня исполняет решительно все: и хорошее, и дурное.

Шурка посмотрела на Веру с ужасом.

– И дурное? Ты хуже нее!

– А о том, что грабить и убивать начнут, так ведь уже давно начали.

– Экие бесстыжие девки! – сказала Шурка, глядя в карманное зеркальце.

Дружба эта, возникшая в гимназии, там и оставалась, дома у каждой было все по-своему: Шурка ходила в кинематограф, танцевала по субботам под граммофон, в воскресенье ходила в церковь, а после завтрака ездила в Обухово к крестной. Шлейфер жила у женатого брата, зубного врача, у которого были свои дети, и принять подруг ей было негде. Для Веры воскресенье было днем Сама. Попытка свести его с подругами не удалась, хуже всего чувствовала себя при этом сама Вера: она боялась

за всех троих, боялась, что Шурка ляпнет про граммофон, что Шлейфер прочтет Саму нотацию, что Сам расскажет им одну из своих фантастических историй. Но было просто очень тоскливо.

– Он больной? Рахитик, наверное? – спросила Шурка. – Ты с ним целуешься?

– Ты сошла с ума! Он моложе меня на одиннадцать месяцев.

– Какая ты все-таки жуткая дура! – удивилась Шурка и с нежностью ущипнула Веру за щеку.

Через несколько дней Шлейфер сообщила Вере, что Борис Исаевич – болтун и что среди его же друзей-кадетов над ним смеются; что он не живет со своей женой, а живет с женой другого адвоката, и многое в том же роде. Но Вера все простила Шлейфер и больше никогда о Саме не упоминала. В этой жизни, веселой, трудовой, чудесной, он был, конечно, для нее самым чудесным, и в то же время – она поняла это, кажется, в первый день своего с ним знакомства – он был непереволим ни на чей язык. И когда кто-нибудь хотел ей намекнуть, что она его сделала таким для себя, она отвечала (потому что теперь была уже совсем большой и обо всем нашла время подумать):

– Ну что же! Каким сделала, такой он и есть. Значит, повернулся ко мне, как подсолнечник, нужной стороной.

И это было особенно трогательно, принимая во внимание рыжую, веснушчатую Самину физиономию.

– Как ты представляешь себе: что можно вообразить самого великолепного на свете? – спрашивал он ее, сидя на террасе их дачи в Окуловке (было лето восемнадцатого года, Полина с матерью поселилась под Петербургом, в каком-то дорогом и скверном пансионе, Борис Исаевич был почему-то в Москве). – Ты можешь сказать, что есть самого прекрасного в мире, какое блаженство? – спрашивал он, качаясь на стуле и нюхая какой-то цветок, потом стебелек его, потом свои пальцы, растершие растение.

– Вероятно, рай, – вздыхала она.

– Пусть так. Тогда подумай – только прошу без изворотов воображения...

– Ты сам – изворот чьего-то воображения.

– ...представь: ты блаженствуешь. Времени не существует – как у рыб в аквариуме. Есть бесконечность восторга. Ты встретился со всеми, с кем хотелось, ты узрел Бога. И все-таки есть одно, чего у тебя нет и быть не может: нет предметов. Их там нет, не может оказаться, а как же без предметов? Ты только представь себе: ни скрипки, ни милого твоего платья, ни даже сводной картинки из детства нельзя будет захватить с собой. Но если я люблю именно предметы? Как мне там грустно будет! Боже мой, как грустно.

В то лето (последнее лето) он приехал на две недели, и в первый же вечер, когда под ноги ему молча и сильно кидалась собака, а Вера стояла на крыльце с медным подсвечником в руках и смотрела на задутую ветром свечу, он сказал, что дома чуть с ума не сошел от одиночества и беспорядка, а ехать к матери не мог, потому что... ну, словом, обещал отцу не ехать, и точка.

Он жадно ужинал. Луна светила в окна. В углу стоял раз навсегда непоправимо расстроенный длинный рояль; в зеркало, в пол и – третьим своим воплощением – в отставленный подсвечник била луна. Они вышли в сад. Мерцал пруд, надрывалась ночная птица. Но Сам попросил отвести его в комнаты, и Вера тотчас спрятала от него польскую ночь и показала, где умыться, куда разложить вещи, на чем лечь.

На обратную дорогу ему дали денег – все рушилось, и вместе с Россией рушился лак и блеск адлеровской жизни.

«Мы скоро уедем на юг, за границу, – писал он Вере из Петербурга. – У меня был недавно обморок (не было, как ты знаешь, два года). Приезжай, пожалуйста, поскорее. На мостовой за лето выросла трава, и, представь, ваш швейцар завел козу, которая пасется...»

IX

Весь лак, весь блеск адлеровской жизни, упакованный в длинные ящики, выезжал из Петербурга. Борис Исаевич вернулся из Москвы и заторопил с отъездом. Это был серый день петербургского октября: новый стиль путался со старым, и некоторые бы сказали, вероятно, – сентября.

Полина в разоренной розовой комнате, где на обоях жалко и грустно выглядели следы снятых фотографий, где ничего не осталось от нарядной кружевной Полининой постели, выдвигала ящички туалетного стола и то вытирала слезы, то, пудрясь, дарила Вере полупустые флаконы и баночки неизвестного назначения.

– И духи, – говорила она нараспев и печально. – Дай руку. Правда, хорошо?

Вера нюхала руку, от которой шел неразборчивый запах какой-то смеси.

– И крем, – и она подставляла под Верин нос фарфоровую коробочку.

Но у Веры ничего не болело, и она решительно не знала, что будет делать с кремом.

– И пудра, – и Полина вдруг обмахнула Верин нос большой лебяжей пуховкой.

Вера схватила Полину за руку и прижала ее тонкие пыльные пальцы к горячей своей щеке.

Они уезжали. Полины, с которой она когда-то не сводила глаз от восхищения, здесь больше не будет, и не будет никакого «здесь», потому что взорвана жизнь.

– Пора тебе пудриться. Пора тебе начать носить корсет, – говорила Полина, – и прическу. Ах, когда мы опять увидимся, ты будешь совсем большая.

– Не надо, Полина.

– У меня в твои годы была уже талия, а у тебя ножищи, как у унтера.

Вера отпустила Полинину руку и села в пыльное атласное кресло.

– Мне все равно, – сказала она рассеянно. – Я хочу, чтобы здесь опять повесили шторы, расставили твои безделушки. Пошутили, и будет.

Она оперлась локтями о колени и опустила лицо в руки.

– Здесь скоро нечего будет есть, – сказала Полина голосом своей матери.

В коридоре, в соседних комнатах ходили люди, увязывали последнее, осматривали шкафы и буфеты, перекалились о ключах, билетах, извозчиках. Становилось сумеречно. В окне собирался дождь.

Раньше здесь, от всех сорванных теперь занавесей, портретов, подушек, не было дела до погоды, до света: с полудня зимой зажигалась низкая лампа под лиловым бисерным абажуром, летом бывал полумрак. Как часто сидели здесь гости – Полинины гости – молодые люди и подружки, не замечавшие Веру и дразнившие Сама будущим Крейслером. И когда Вера случайно попадала сюда, между столиками, уставленными вином и цветами, она сама себе казалась слоненком.

Она засматривала сюда из соседней маленькой гостиной, где сейчас вся бледно-зеленая мебель была сдвинута в угол, чтобы дать место извлеченным из недр адлеровской квартиры, позабытым, когда-то огромным проволочным блюдам – старым шляпам. Здесь, в высохшем Самином террариуме, где когда-то жили черепахи, были сложены подлежащие уничтожению давние Самины игрушки, легкая косая картонка с елочными украшениями и даже – откуда и как уцелевшая? – заводная кукла Полины в платье девяностых годов, поднявшая растопыренные ручки к щекастому лицу.

В столовой, на отодвинутом столе, стояли остатки еды, окно во двор было открыто, кусок масла в бумажке качался, подвязанный к форточке; сундуки и корзины, нагроможденные посреди комнаты, мешали всем, кто проходил, и каждый, чтобы не споткнуться о какой-то

ящик, цеплялся теменем о чугунную люстру, которую выше поднять было невозможно.

В кабинете Борис Исаевич стоял у окна в пальто и смотрел во двор. Он только что самолично отвинтил с парадной двери медную доску со своей фамилией; Вера в ладонь собрала винты. Оба при этом молчали.

Кухарка – все, что осталось от адлеровской челяди, – и плечистый дезертир, кухаркин кум и возлюбленный, уминали в буфетной громадный тюк с подушками. Вера вошла в классную: классной тоже не существовало больше, письменный стол, книги, все было куда-то вынесено, старый зеленый диван остался один – тот самый.

Вера взяла с подоконника карандаш, встала на стул у двери и под потолком на шероховатых синих обоях написала: «В этой комнате Сам и Вера дружили! 1912–1918. Петербургское детство. Прощайте все...»

– Ну прощай, Верка, надо на вокзал, – сказал Сам, входя.

Он, однако, сел рядом с ней, и минуту они молчали оба.

– Хорошо все-таки было здесь, – сказал Сам, взглядывая на нее. – Помнишь, как было иногда хорошо?

– Да, Сам.

– Может быть, никогда уже так хорошо не будет?

– Ну что ты! Этого не может быть.

– А вдруг. Ты только подумай: вдруг никогда, никогда не будет в жизни так чудесно.

– Не будет так, будет иначе. – Он взял ее за руку.

– Не забудешь? – сказал он вдруг тихо.

– Нет, Сам.

– А через десять лет?

– И через десять.

– А через сто?

Она обняла его за шею и долго смотрела ему в лицо. Как он бледен, как худ и как близок к дороге!

– И через сто.

Он погладил ее пальцы.

– А вдруг никогда не увидимся, тогда что?

– Молчи, Сам, этого не может быть.

– Все может быть, Верка.

Он поднял ее руку и провел по своему лицу.

– Прощай, Верка, прощай, прощай... Нет, ничего не может быть безоблачнее, лучше того, что было.

– Не говори так.

– Ты пойми, что ведь у нас с тобой было совершенно замечательное.

Она почувствовала, что сейчас расплечется. Он прижался щекой к ее щеке.

– Ты пойми: все кончено. Ты пойми: никогда не повторится то, что было. Ты пойми, Верка: начинается жизнь.

– Да, да.

Он обнял ее голову и стал целовать ее слезы.

– И что будет с нами – неизвестно. Надо ехать... Не плачь, пожалуйста. Я хотел бы всю жизнь быть вместе с тобой.

– И я тоже, всю жизнь, Сам.

– И никого не надо больше, правда?

– Конечно, никого.

– Никого во всем мире. Ах, Верка, моя золотая рыбка! Прощай, Верка.

Она плакала, прижимаясь к нему, сжимая его руку обеими руками.

– Хорошо, что все это было, – говорил он. – Есть что увезти с собой, кроме канделябров и посуды. И ты теперь знаешь, и я знаю, что такое дружба.

– Да, Сам.

– И мы никому об этом не скажем. Пусть люди думают, что это невозможно, да?

– Да.

– А мы будем смеяться над ними и через десять лет, и через сто. И будем радоваться.

– Что было такое!

– Что было такое... Верка, – он вдруг изо всей силы обнял ее. Искры посыпались у нее из глаз от боли, и она почувствовала, что он плачет тоже.

– Сам! – крикнула Полина. – Пора.

– Ты плачешь, Сам?

– Нет, я не плачу.

– Нет, ты плачешь. Вот мы вместе плакали.

Она отодвинулась от него.

– Может быть, ты мне дашь кусок косы? – спросил он.

– Это сентиментально.

– Знаешь что, перекрести меня.

Она покраснела.

– Я ведь, ты знаешь, не очень-то верю... иногда, – сказала она неловко, но перекрестила его у переносицы. – Храни тебя Бог, помоги тебе Бог. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы мы увиделись.

И она опять кинулась к нему.

– Сам, где же ты? – позвали издалека.

Вера встала.

– Так помни, что ты сказала: и через десять, и через сто...

– Да, да.

– И если я приду к тебе черт знает какой, безногий, паршивый...

– Ты будешь знаменитым музыкантом.

– ...нищий, безносый...

– Какой ты дурак!

– Клянешься?

– Клянусь. А если я?

– Ты... подожди, не убегай. Ты, Верка, будь осторожна, будь... как бы это сказать... Боже мой, лучше было бы тебя взять с собою.

Она положила ему руки на плечи, он взял ее за локти.

– Прощай, – сказал Сам и поцеловал ее. – Почему я тебя раньше не целовал? Любишь меня?

– Да.

– А как мне было хорошо с тобой!

Она вытащила его в переднюю. Дверь на лестницу была широко открыта: выносили вещи. Внизу стояли три извозчика с поднятыми верхами: дождь хлестал по лошадиным крупам, по клеенке колясок. Куда кто сел, Вера не видела, ее трясло, как в лихорадке, мигом намокло платье. И вот завертелись первые колеса.

«Жизнь моя, прощай. Помни меня!» – прочла она на лице Сама.

– Прощай, и если навеки, то навеки, – ответила она еле слышно.

И вот вторая, а за ней третья коляска тронулись под проливным дождем на Николаевский вокзал. О, как вертелись колеса, как подпрыгивали кузова, как качались черные верхи, блестевшие траурным блеском!

Х

Вера опомнилась. Перед ней был пустой камин, куда она смотрела, как в жестоком романе, сидя на стуле посреди этой гостиной, где когда-то проживал французский вельможа XVIII века. На черном экране камина была опущена лента этого детства, о котором так-таки некому было рассказать. Слезы высохли у нее на лице, и оно слегка одеревенело.

– Наконец-то! – воскликнула Людмила, когда Вера вошла на кухню. – Куда это вы ходили? Тут без вас уж и слезы были, и крики, и капризы.

Ее быстрые острые глаза обежали Верино лицо. И Вера в ответ будто в первый раз внимательно посмотрела на нее.

Усталое хмурое лицо, черные глаза. Расплакавшийся раз навсегда рот. Этой худой смуглой женщине давно – всегда – сорок лет. «Что же делать! – подумала Вера. – Может быть, где-нибудь раньше она бы сошла за красавицу, не ее вина, что в Париже в двадцатых годах вышли из моды такие лица; усики, сросшиеся брови, жгучий

взгляд, нос с горбинкой. Теперь в моде курносые, большеотые, круглолицые. Что делать...»

– Удивительно, как совершенно ни во что теперь ценится женский плач – не дороже китового уса или страусового пера. Этот товар просто никому не нужен, – сказала сама Людмила однажды.

– Откуда вы это взяли? – спросил тогда задумчиво Александр Альбертович. – Какие глупости!

Но Людмила твердо стояла на своем. Года три тому назад ее бросил муж, прожив с ней восемнадцать лет. Мужа ее, когда о нем заходил разговор, всегда почему-то жалели.

– Куда это вы ходили? – спросила она опять. – Мне иногда кажется, что вы так уходите неизвестно куда, что вы и не вернетесь больше.

Вера улыбнулась широкой улыбкой.

– Если я не вернусь, то вы непременно и очень скоро выйдете замуж за Александра Альбертовича. Только я вернусь.

Людмила засверкала глазами.

– Как вам не стыдно! Как вам не стыдно так меня пугать. Я вас с полицией верну.

– Да я же говорю, что уходить никуда не собираюсь, – опять улыбнулась Вера. – Мне и здесь хорошо.

– Это неправда.

Вера присела у двери.

– У меня умер друг детства, – сказала она, опустив глаза. – Он покончил с собой.

Людмила молчала.

– Я его с Петербурга не видела, мы были очень дружны. Он вспомнил обо мне.

Молчание. «Надо поскорее, а то она не успеет».

– Он скрипач, он приехал в Париж из Америки.

– Вера! – крикнул Александр Альбертович из спальни.

– Он повесился? – спросила Людмила жадно.

– Нет, он застрелился.

– Вера, – снова крикнул Александр Альбертович, и она вскочила. – Что же ты не идешь? Да где же ты? Где была? С кем? Гуляла? А мне ничего не сказала. Бросила... А я проснулся, тебя нет, двенадцатый час. Людмила говорит: не знаю. Я кашлял сильно. Вот, – и он протянул Вере фаянсовый тазик с мокротой.

Она посмотрела на тазик, на него.

– Пожалуйста, не волнуйтесь, дорогой, милый, – и она, взяв его за плечи, заставила лечь обратно в постель. – Ничего не случилось. – Нет, она все еще не может молчать. – Случилось одно горе, не пугайтесь, не у вас, у меня. Помните, я вам когда-то говорила про Адлера.

– Ну хорошо, вот про Адлера. Расскажешь мне сейчас. А я совсем болен. Я кашлял. И я разбил градусник, я уронил его.

Она послала Людмилу за градусником в аптеку, помогла ему умыться, оправила постель. И принесла из кухни бульон и овсянку. Фаянсовый тазик она вынесла сама – Людмиле он не позволял приближаться.

Ему было тридцать лет. Глаза его были огромны и совершенно лишены жизни – будто глаза слепого от рождения; невозможно было поверить, что он смотрит ими. Было похоже, что он ими слушает. На тонком длинном лице они были как два светлых пятна, и в их громадности и прозрачности было что-то вместе – и женственное, и мертвое. Он был худ, как призрак, и красив, как те больные и, вероятно, безумные дети короля Эдуарда, которые изображены в кружевах и бархате на известной картине Деляроша. После бульона и овсянки он закашлялся и выплюнул кровь. Вера тепло укрыла его и открыла окно.

– Мои ножки, – пробормотал он, задремывая. Она принесла ему грелку.

И тогда потекли часы – часы ее жизни. Их было много, этих часов. Наведя глянец на кухонный кран, уходила Людмила. На дворе был май, был декабрь, но Вера

ведь все любила, так раз навсегда ей вздумалось отнестись к жизни. И не все ли равно, какая на дворе погода, и кто здесь, рядом с ней, и что ждет ее за срывом вон того глубоко сидящего календарного листика, когда она любила все, любила всех.

«Ты все понимаешь, ты всем нравишься, ты всегда всем довольна», – говорили ей. Но продолжим, продолжим (просыпаясь ночью, твердила она в страхе), продолжим еще эту преступную, эту железную любовь к жизни, другого ведь ничего у нас нет, одна она не уйдет, не изменит, умрет с нами вместе... И мертвою зыбью качалось за окнами этого дома время.

«А за окном цветочного магазина цветы обещали такую огромную, такую счастливую жизнь...»

Откуда это?

Это она сама сочинила в тот день, когда стояла над Саминым телом. Это было год тому назад, нет, больше. Помнится, Полина приехала (одна – без мужа, без детей), помнится, они вместе ходили подготавливать мадам Адлер в больницу для нервнобольных; на похоронах было так мало народу. Это было, кажется, весной. Не той, предыдущей. А сейчас – декабрь.

Это было полтора года тому назад.

Людмила полощет белье, Александр Альбертович смотрит огромными, полными слез глазами; Вера стоит посреди комнаты с фаянсовым тазиком в руках.

XI

Вера старалась вспомнить, когда именно к ней пришло впервые желание его смерти? Она припоминала свою жизнь с Александром Альбертовичем – три года. Она пыталась свою память. Прошлый год: все было то же, и это желание в ней уже было; позапрошлый – когда он еще иногда вставал, иногда ходил; и год до этого – год Давоса, которого он не выдержал, не захотел, из которо-

го бежал. Это, вероятно, было между первым и вторым его плевритом – через месяц после приезда из России; она тогда почувствовала, что хочет, чтобы он умер. Нет, это, может быть, было еще раньше, еще до отъезда, когда он был здоров. Она рыщет по последним петербургским месяцам. Он никогда не был здоров. И тут ей вспоминается венчание с ним в церкви, и она перестает вспоминать, думать, ворошить свою жизнь.

Он теперь дремлет весь день, и ему уже мало что надо. Доктор приходит все реже. Людмила требует, чтобы Вера взяла себе в помощь сиделку. Но посторонние люди Вере мешают.

– Единственно, кого я сейчас терплю, это вас, – отвечает она Людмиле, – и то только потому, что вы вовремя уходите.

– Неужели вам не страшно? – спрашивает та, еще потемневшая, еще заострившаяся за эти годы. – Я все жду, когда вам станет страшно, тогда я перевезу свои вещи и перееду.

– Пока не надо, – отвечает Вера и смотрит в окно: оно раскрыто настежь – днем и ночью. На дворе... полагается быть зиме. Но зимы нет.

– Ложная весна, – говорит доктор, – как бывает ложная грудная жаба. В декабре месяце очень удивительно. Для туберкулезных – зарез.

Теплый дождь журчит днем и ночью по водосточным трубам, веет мягкий, тяжелый, сонный ветер; светает в десять часов утра, а в два уже горит в домах свет. Говорят, где-то на бульваре распускаются каштаны. Иногда ночью гремит и грохочет по крышам настоящая весенняя буря, ударяясь в прохожего сорванной вывеской, звенит разбитыми стеклами, рвет каменную трубу. К утру стихает. Облака лежат над городом; Сена, вздувшись, медленно уносит с набережной кирпич, песок, сторожевую будку.

С недавних пор Вера каждый день начала выходить к Сене и гулять по набережным: так велел доктор.

– Я понимаю, я все понимаю: героизм, любовь, жертва. Но час в день моциона – очень нужен. Вполне необходим для молодой женщины. Вы – молодая женщина.

«Я – молодая женщина, – повторила она про себя. – Черт знает, как это глупо звучит! Что за дурак!»

Но однажды она послушалась и вышла, просто так, ни за чем, вышла перед завтраком, в дождевике и толстых башмаках. Она ходила полтора часа, перешла на другой берег, зашла в Тюильри, и так было непривычно двигаться, дышать сладким нежным воздухом, что вернулась она домой, словно выпив чего-то крепкого, и глаза у нее блестели, и горело лицо. Полтора часа! Александр Альбертович до вечера не говорил с ней, и только вечером сказал, что простил и забыл. И пусть она завтра опять выйдет.

Теперь у нее было две жизни. Первая была все та же, все тут же, с Людмилой, доктором и им, которого поздно было куда бы то ни было везти, которого незачем было уже лечить, который становился призрачно страшен в сумерках (а теперь всегда были сумерки) – два глаза смотрели из глубины комнаты на нее, на шприц с камфарой. Лечили не самую болезнь, а какие-то связанные с ней боли: пролежни, спазмы, кровотечения. И не стыдно было бы признаться первому встречному, что она хочет и ждет его смерти. Но когда началось это, когда? Неужели она не уследила? Это вкралось в ее жизнь, как вкрался сам Александр Альбертович: она не заметила его, это он заметил ее... «О тебе спрашивал один человек, – объявила однажды Шурка Венцова (это было так давно), – о тебе спрашивал – видела, тот, высокий, худенький. Он один, кажется, не был тогда пьян».

И Вера, помертвев, теряясь, чувствуя от волнения тошнотную слабость, спросила:

– И ты сказала ему, как меня зовут?..

Вторая жизнь начиналась за воротами дома. Мелочная лавка. Апельсины, яблоки. Тихий дождь, мокрый тротуар, и вдруг – лужа, в которой так отчетливо и спо-

койно отразилось что-нибудь яркое; воздух, движущийся на нее, упорный механизм собственного тела, ощущение жизни – необходимое, без которого она не может существовать, теряет себя, гибнет, ощущение «я и ветер», «я и небо», «я и город», – дающее не счастье, не о счастье теперь речь, а отдых, передышку. Она шла, ни о чем не думая, на обратном пути она начинала спешить и к концу уставала. Не раздеваясь, входила она в спальню и останавливалась в дверях. Ничего не случилось, он был по-прежнему здесь и думал, закрыв глаза, и это было лучше. Только ей он позволял поднимать себя, убирать за собой.

– Я надоел ей, – шепнул он однажды, показывая на Людмилу, проходившую по комнате шумнее, чем следовало. – Она хочет, чтобы скорее умер.

Он теперь говорил шепотом, голоса у него не было. И однажды, когда они были вдвоем, и текли, текли эти вечерние часы, и она шила, отрываясь ежеминутно, чтобы взглянуть на него или сказать ему что-нибудь, он медленно и тихо произнес:

– Давай вместе.

Она посмотрела на него, положив работу, и он добавил:

– И скорей.

Она подумала, что из всего того, что он ей говорил, это все-таки еще не самое страшное, и что ее испугать не так-то легко.

– Ты останешься здесь... У тебя будет такая длинная, длинная жизнь...

Он опять подождал. Она молчала.

– Ты не хочешь со мной?

Она положила руку ему на худую грудь, наперсток блеснул у нее на пальце. Она молчала, не сводя глаз с его лица.

– Не хочешь! – прошептал он и опустил веки.

Она закрыла обеими руками лицо. Она просидела так некоторое время. Когда она взглянула на него, он спал.

Сон его был теперь так тонок, что при нем нельзя было даже глубоко вздохнуть. И то, что нельзя было глотнуть воздуха в эту минуту, показалось ей особенно мучительным.

«Если бы в эту ночь!» – подумала она. Но в ту ночь он требовал показать ему коробку камфарных ампул. Зрение его так ослабело, что прочесть, что было написано на них, он не мог, но он долго разглядывал их, сжимая в руках коробку, пока его лицо не исказилось от плача.

– Милый, дорогой, – сказала она, – не надо плакать. Слава богу, сегодня ничего не болело и жар был совсем маленький, и завтра я не уйду никуда.

И она воткнула шприц в его сухую, всю исколотую ногу.

Теперь она уже не уходила к себе на ночь. На низком узком двухсотлетнем, как все здесь, диване она ложилась, научившись во сне слышать все, что делается в комнате. Из окна шла влажная свежесть; в пролете двух домов иногда мелькала звезда. Когда в первый раз пришло к ней желание освобождения? Давно, давно. Оно пришло с тоской, с яростью. Может быть, это было еще до свадьбы...

– Да, я вижу, была у вас ноченька! – сказала утром Людмила. – Замучил совсем?

– Нет, не совсем.

– Послушайте, хотите облегчить и ему, и себе? Ведь все равно.

– Нет, не хочу.

– Вы сами знаете, что нужно сделать.

– Знаю, но не сделаю.

– Хорошенькую вы жизнь видели. Веселенькая молодость! Если бы не вы, он бы еще в прошлом году успокоился. Зачем это вам?

Вера не ответила. Она вдруг вспомнила: это началось в ту минуту, когда она впервые увидела Александра Альбертовича. Шурка распахнула перед ней дверь маленького венцовского «зальца».

– Вот. Знакомьтесь, граждане.

И Вера увидела на стуле, подле клетки с канарейкой, на фоне остатков когда-то могучего фикуса, не того, кого ожидала увидеть.

XII

Удивительны были это одиночество, эта тишина, которые настали после разлуки с Самом. Затих Петербург: не ходили трамваи, прорастала трава в щелях гранита, не звонили в церквах, молчали заводские гудки; затих мир, из которого сюда не доносилось ни одного звука: ни о землетрясении на Филиппинах, ни об изобретении американского ученого, ни о заключении мира союзников с немцами. Затихла Вера, потому что не с кем было спорить, смеяться, шептаться, некого было ждать, не к кому было бежать и некого было любить. Гимназия была позади, Сама не было, Шлейфер оказалась в чека – не сидела, а служила; отец Шурки Венцовой, священник, был выслан в Ладогу, и Шурка ездила к нему и пропадала неделями. От этих первых двух лет юности не осталось в памяти ничего, кроме волчьей, пещерной жизни: волчьей несытости, печки, очередей, каши, которую ставили на ночь в теплый духовой шкаф, а утром съедали, писка чужих детей, вселенных в дедушкину комнату – с отцом, путиловским рабочим, и матерью, белобрысой бабой, так и не научившейся пользоваться уборной.

Настю отпустили, и она, уезжая и собирая пожитки, плакала и говорила, что столько слез ни по ком никогда еще не проливала. Она оставила Вере своей платок, тот, который укрывал ее с головы до колен и в котором она бегала через улицу в лавочку и к Адлерам. И Вера всю зиму носила его, надевая поверх старую тесную шубу. А шляпы в доме не осталось ни одной, их все обменяли своевременно на крупу.

Обменяли ковер, обменяли лисью ротонду, обменяли блюда и швейную машинку, и в неомраченном, в молодом и веселом лице матери появилось выражение усталости и грусти. Отец не подавал виду: он левел, старался найти всему объяснение, оправдание. Мать верила ему на слово, но Вера видела: она делает усилие, она не просто старается. Над нежным виском появился у нее седой волос, он вился и сверкал, и Вера безжалостно вырвала его. Потом их сделалось много, и они даже стали идти таким печальным материнским глазам.

Были книги, были театры – и Вера несколько раз, по какой-то необъяснимой случайности, сидела в царской ложе в Александринке, где бархат с барьера был сорван и почему-то среди красных кресел стоял простой железный стул. Были семечки, семечки и шинели; тьма зимой и белые ночи летом – особенно почему-то в том году долгие и светлые. Сперва – коток в столовой, сталакти-тами замерзшая вода в ванной, хлынувшая из лопнувшей трубы; потом – совсем особенный, рушащийся, умирающий город, все красоты и медленную смерть которого Вера готова была отдать за банку сгущенного молока, пробитую гвоздем, из которой можно было высосать жирную жидкость, за кусок жесткого сала, за пыль какао, щекочущую горло, которую она глотает ложками, когда отец приносит из института паек на спине. Но главное – одиночество, вот что тогда было: не к кому пойти, некого ждать, некого любить. Затихает мир вокруг, затихает город. Но Вера не хочет затихать, она хочет буйствовать. Ей двадцать лет; сбывается ее мечта – она становится похожа на мать, она становится все лучше. Начинается какое-то таинственное цветение: она может петь; недавно она нарисовала тот пейзаж, что виден, если высунуться из окна (решетка сада, знаменитый особняк, взятый под хлебный распределитель, дерево); она умеет танцевать, и однажды она сочинила стихотворение. Но важнее всего то, что она ничего не боится.

Любить некого, но тайное буйство обуревают ее все сильнее, ей кажется, что еще немного, и – как в рассказе Гаршина – растение пробьет стеклянную крышу и посыплется стекла. Пусть вокруг нее посыплется стекла! Очень это будет хорошо. Великолепно. Замечательно. Но только, пожалуйста, не надо замуж. Не надо приличного господина, представленного ей в знакомом доме, не надо родительского согласия. Не надо признания и *первого* поцелуя... Ей хочется чего-то совсем на все это не похожего; она еще сама не выдумала, чего именно.

И вот из ничего, из пустоты и тишины замерзшей вокруг жизни появляется однажды Шурка Венцова с чуть-чуть свеклой тронутыми губами, с челкой, в высоких ярко-рыжих шнурованных ботинках на босу ногу. Соскучилась. Пришла. Пришла узнать, во что превратилась любимая моя дурица, не засидели ли ее мухи?

Высоко заложив ногу за ногу, отставив руку с папирской, дыша французскими духами, она рассказывала о себе. У нее изменилась улыбка, на улыбку ее весело смотреть. У нее стала красивая шея, она открывает ее, открывает кусок рубашки, начало груди. Голос у нее задорный, рот влажный. От нее не хочется отводить глаз.

– Политикой я не занимаюсь, – говорила она, – жизнь у меня – кинематограф! Написала роман: пожилая женщина, актриса, влюбляется в одного молодого доктора. Она чувствует, что не имеет права, но... минута страсти, и она берет его, как вещь. Потом выясняется, что доктор – ее сын. Они кончают с собой... Я встретила Шлейфер и рассказала ей (она, между прочим, слепнет). Шлейфер сказала, что рабочим крестьянам это не нужно. Как будто все – рабочие крестьяне! Есть еще мы на свете.

Вера, приоткрыв рот, кивает головой.

– Оказывается, еще в гимназии у нее началась катаракта, – сыплет Шурка, – теперь – каюк: зачем в чеку пошла? Есть бог! Спросила меня: а что твой отец, он ведь был служителем культа...

– Зачем же выясняется, что доктор – ее сын? – спрашивает Вера с опозданием. – Пусть лучше он бросит ее, как вещь, а она покончит одна.

Шурка думает, сощурясь.

– Может быть, я соображу. У меня теперь времени нет: у меня – сильное чувство.

И она, перебравшись на кровать, рядом с Верой, начинает длинный рассказ, подробный, как если бы она рассказывала кинематографический сценарий: «Слева он стоял, я немножко позади, а между нами лампа. Он обернулся и сказал... нет, не так: он сперва улыбнулся, и я подумала, что он думает, что я думаю, что он думает... Оказывается, ничего подобного!»

И так дале: о каких-то чувствах, словах, поцелуях, об опыте настоящего Шуркиного романа, об одном жутком вечере, когда ее спасла очень узкая – дудочкой – юбка, и о другом, уже менее жутком, когда ничего не спасло.

Шурка сморкается, размякает и, обняв Веру, стихает.

– У тебя страшно сильно бьется сердце, – вдруг говорит она, – даже смешно. Всегда так?

– Наверное, всегда... Ты его любишь?

– Ну конечно.

– А он тебя?

– Ясно.

– Какое счастье!

– Кинематограф! – и Шурка пожимает плечами. – Нет, просто удивительно, до чего у тебя сердце шумное. Как железная дорога.

XIII

В попову квартиру ходили – вот уже несколько месяцев – по черной лестнице. Дверь в кухню была приоткрыта, из нее рвался липкий, сладкий пар – запах кипящего глинтвейна. Попова родственница стояла посреди

кухни, красная, с каплей под носом; она готова была ринуться, если понадобится, в любую сторону, а пока обводила глазами стол с нарезанными для бутербродов ржаными ломтями, плиту, на которой пыхтел медный чан с вином. На окне стояла четверть самогона, Шуркин брат, Геня Венцов, когда-то ученик восьмиклассного коммерческого, а теперь молодой человек неопределенных занятий, прилаживал к четверти пробочник; его приятель и друг, Матренинский, все время облизывая пальцы и виляя задом, потому что боялся испачкаться, стриг кусками селедку и воблу для бутербродов. Тут же лежала длинная жесткая лилового цвета колбаса.

Задолго до этого дня Геня Венцов решил устроить пир по случаю встречи Нового года. Он и Матренинский достали все, начиная с дров для плиты, с дрожжей для хлеба. Еще накануне поставили они сообща тесто, а нынче с утра протопили в комнатах: Шурка и Геня жили в столовой и зальце, остальные комнаты по коридору были отданы жильцам, впущенным своевременно. Вызвали родственницу из Обухова. «Только, тетенька, просим вас ничему не удивляться и впечатления оставить при себе», – заявил ей Геня и поцеловал ей толстенькие ручки. «Вы, тетенька, наверное, слегка устарели, но по хозяйству очень вас просим». Она сделала обиженное лицо, да так с ним и осталась. Были приглашены: Вера, две новые Шуркины подруги, Матренинский, все три жильца и какой-то господин с женой, жившие по соседству. В столовой был накрыт стол – скатертью, приборами, остатками серебра; в зальце – наставлен граммофон и мебель сдвинута в угол. Шурка, в пышном платье, извлеченном из сундука, в каком-то маскарадном монисто и почему-то лиловых чулках, встречала гостей и сажала их в угол зальца. По стенам висели портреты архиереев.

Когда Вера вошла на кухню, тетенька как раз уносила в столовую глубокую миску с винегретом, и в кухне находился один Матренинский. Он представился, ополоснул пальцы, снял с Веры шубу и унес в коридор.

– Глнтвейн, – сказал он, возвращаясь, и приподнял крышку кастрюли. – Согревательное! – и он многозначительно посмотрел на Веру.

К этому вечеру, к первому своему балу – как говорил отец, – она сделала себе платье из куса синего шевиота, лежавшего уже много лет у нее в комод, пришив к вороту падавшее до плеч старое тонкое и дырявое кружево. Ей казалось, что платье и впрямь вышло бальным. Обувь у нее не было, она пришла в валенках, но Геня был предупрежден и, увидев Веру, сейчас же вынес ей Шуркины старые остроносые туфли, которые оказались Вере в самую пору. Здесь же в кухне Геня заставил ее чокнуться и с ним, и с Матренинским. Оба переглянулись и извлекли из-за окна какую-то заповедную косушку. Ей дали кусок колбасы на корочке. Она глотнула и устояла, не дрогнув. «А на “ты” со мной?» – спросил Геня, который, видимо, успел со всеми гостями хватить по рюмке. «Отпустите меня», – сказала Вера, заметив, что Матренинский выбежал, а тетенька все не возвращается. Но Геня уже продел свою руку под ее локоть, и тогда она сделала второй глоток и поставила пустой стакан куда-то вверх доньшком. Дверь в комнаты приняла ее, словно открытый люк.

В зальце ревел граммофон. В его оловянной трубе отражались платье Шурки, лицо Матренинского, головы и ноги гостей, которых Вера показалось очень много. Ее сейчас же пригласили танцевать. Кавалер попался чуть ниже ростом и очень молчаливый. Потом она пошла с другим, потом с кем-то третьим, который казался уже знакомым.

– Мы ведь уже танцевали сегодня с вами? – спросила она, облетая в вальсе зальце.

Но он молчал. И вместе с тем он держал ее не совсем так, как раньше ее держали другие: она чувствовала на себе его руку, и в этой руке был покой. Было что-то, что мешало ей запомнить черты его лица, отличить его от других, и даже по голосу она не знала его, потому что не

слышала его голоса. Впрочем, ей почему-то сразу показалось, что он не очень молод. Когда он отошел, ей бросилась в глаза его начинающаяся лысина и – несмотря на это или именно поэтому – какой-то аккуратный и приятный ей затылок. «Вот он, мой!» – шепнула ей Шурка, показывая глазами на Матренинского, и Вера почти не удивилась. Она чуть не спросила: а кто это? Но удержалась.

Ужин был готов. Гости повалили в столовую; кавалеры ухаживали за барышнями, обмахивая стулья носовыми платками, говорили громко, что уже вспотели, наваливали себе и дамам на тарелки винегрет. Гостей оказалось гораздо больше, чем Шурка предполагала: Геня позвал каких-то полувоенных господ, один из них привел очень миленькую, но довольно пьяненькую девочку лет четырнадцати. Господин, пришедший с женой, оказывается, принес с собой гитару. Самогон был разлит по рюмкам, все схватились за бутерброды. Матренинский ударил в медный таз из-под варенья. «А-а-а», – заревело несколько голосов. Новый год был встречен.

«Это уже было когда-то», – метнулось у Веры в мыслях. Вероятно, во сне. Да и не было времени сейчас вспоминать. Хорошо, что была одна среди этих чужих и уже пьяных людей, была взрослой, была храброй... Хорошо. За самогоном ей налили глинтвейна. Справа от нее сидел коммунист, приведший девочку, слева – она разглядела его наконец! Ему на вид было за сорок, лицо у него было обветрено, нижняя челюсть выдавалась вперед.

Странно было, что он почти не взглядывал на нее, но она знала, что он все время ее видит. За столом было тесно, и она касалась иногда плечом его плеча, но ведь она твердо решила раз навсегда ничего не бояться. За столом было шумно, и, чтобы заговорить, надо было еще приблизиться, но он не заговаривал и не приближался. Один раз он взял ее пальцы и заставил обхватить стакан и выпить, и тогда посмотрел на нее, и даже не в глаза ей, а прямо в рот, и улыбнулся, и обвел – все молча – глазами сидящих за столом, но никто не обратил на него вни-

мания, и Вера тогда заметила, что, собственно, вокруг совершенно никто о них не помнит: Шурки и Матренинского уже нет, все пьяны, тренькает гитара, на конце стола сидит кто-то один, подозрительно трезвый, и смотрит в струны; пьяную девочку уговаривают не показывать грудь. Дымится прожженная скатерть.

«А любить-то все-таки некого, – подумал Вера и встала, и он тоже встал, – разве что его?» – она прошла в зальце, и в голове у нее началось какое-то прояснение.

Там в углу сидели две Шуркины подруги с двумя кавалерами и целовались. Время от времени Геня бегал куда-то за дверь и тушил свет, тогда начинались прерывистые визги.

Молчаливый человек вдруг спросил:

– Вы не знаете, где тут можно посидеть, поговорить?

Вера не оглянулась на него.

– Вы умеете говорить?

Он засмеялся.

Вера знала, куда идти: были комнаты по коридору, одна из которых была когда-то Шуркина. В коридоре им навстречу шарахнулась тетенька.

– Вот сюда, – сказала Вера, открывая какую-то дверь и повертывая выключатель.

Но свет не зажегся. Они постояли в дверях, пока глаза не привыкли к тьме и не различили длинную низкую оттоманку, слева у стены.

– Побудем здесь, – сказала Вера, – здесь не так жарко.

Она подошла к оттоманке и вдруг легла, вытянувшись во весь рост и закинув руки за голову. Он подошел к окну и поднял до половины штору, стало светлее от луны.

– Скажите что-нибудь, – попросила она. Но он все молчал. – Где вы? Вы здесь?

– Да, я здесь.

– Почему вы всё молчите?

Он подошел к изголовью оттоманки, заслонив Вере окно.

– Вам ничего не хочется? – спросил он.

– Хочется жить, тратиться. Это дурно?

– Нет.

– Это смешно?

– Немножко. Впрочем, это естественно.

Она закинула голову и посмотрела ему в лицо.

– Вы что, умный?

Он улыбнулся.

– Подвиньтесь немножко, – сказал он.

Он сел рядом с Верой как-то боком; его усталое жесткое лицо менялось в сумраке, глаза смотрели вверх, притягиваемые светом в окне.

Она стала ждать его взгляда. Он провел рукой по ее руке; рука у него была сухая и тяжелая. Молча он дотронулся до ее шеи, потом поднялся к ее лицу, и рука вдруг стала невесомой, мимо уха, к виску, по бровям, Вера чувствовала его ласку.

Он встал, отошел и опять пропал; он стоял у окна, и она не могла его видеть.

– Предположим, что вы лунатик, – сказала она.

Он не отозвался.

– Вы ушли в форточку?

Он ответил серьезно:

– Нет, я здесь.

Она засмеялась и вдруг сама услышала, как смех выдал ее. Она смолкла, но было уже поздно. Он возник у края оттоманки и вдруг вытянулся рядом с Верой.

Его рука легла ей на лицо, она чувствовала губами его ладонь, она дышала запахом этой ладони. Это была маска, наложенная перед операцией; стучит кровать, сейчас все провалится... сейчас она... еще секунда...

Вера закрыла глаза, и от его лица, надвинувшегося на нее, ей стало еще душнее, чем от его руки. Он поцеловал ее несколько раз в губы, и второй поцелуй (она знала это, знала!) был слаще первого, а третий – слаще второго. Она почувствовала, как холод бежит по ее обнаженным ногам. «Не надо», – сказала она вдруг и захотела вырваться. «Нет, надо, надо», – прошептал голос над са-

мым ее ухом. Она не знала, что будет такая боль, и крикнула; он зажал ей рот рукой, она заметалась, не узнавая лицом эту руку.

В комнате наступила необычайно острая тишина.

– Простите меня. Боже мой, отчего вы не сказали! – проговорил он, с трудом ставя слова, и взял ее за руку. Она не отняла руки, но и не взглянула на него.

– Какой пьяный и какой вежливый, – проговорила она.

– Простите меня. Боже мой, если бы я знал!

– ...оказался неприятный сюрприз?

– Не говорите так. Зачем это?

– Не говорите вы сами так много. То молчали, а теперь вдруг разговорились.

Он бережно поправил ей платье и опять взял руку.

– По крайней мере, как вас зовут?

Она перевела на него глаза. Она все еще лежала на спине, он сидел рядом. В комнате становилось все светлее: луна косо и бледно входила в полузанавешенное окно. Можно было различить большую кафельную печь в углу. И вдруг Вера почувствовала, что больше так невозможно, что волнение (как ей казалось, унижительное волнение) охватывает ее. Рыдания заходили у нее в груди.

– Маруся, – сказала она совсем тихо.

Он смотрел на нее, сжимая ей руку. Он сам не знал, что ему сказать. Луна внезапно отпечатала широкий квадрат на крашеном полу. И только сейчас сюда донеслось шарканье танцующих, граммофон.

– Чья это комната? – спросила она, совладав с голосом.

– Не знаю, я первый раз здесь в гостях.

– Разве вы не живете у Венцовых?

– Нет.

Они опять замолчали.

Он поднял ее руку и тихо поцеловал ее, и она своей поправила волосы, разложила по плечам кружевной дырявый воротник.

– Прощайте.

– Прощайте, Маруся. Не сердитесь?

Она протянула ему руку, и он пожал ее и даже потрянул слегка. Она вышла в коридор, оттуда в столовую. У залитого вином стола, низко склонив голову в грязную тарелку, сидела заплаканная сонная Шурка и рядом с ней тоже сонный взъерошенный Матренинский; в зальце было темно, оттуда несло заунывное, вразнобой, хоровое пение; казалось, поет человек восемь из разных углов комнаты, не поспевая друг за другом. Отыскав свою шубу и платок в прихожей, сменив туфли на валенки, Вера пошла через кухню. Там, на теплой плите, положив под голову подушку, накрывшись платком, спала тетенька. Вера тихо подняла крюк входной двери.

XIV

Был шестой час утра, и еще совсем темно. Облака закрыли луну. Морозило. По снегу, неслышно, Вера пошла по направлению к дому, ходьбы было минут десять, и в эти десять минут она не встретила ни одной живой души. Ей даже пришло в голову, что законом запрещено ходить по Петербургу в этот час. Она вспомнила, что еще недавно у этого заколоченного досками кооператива сняли с прохожего шубу – об этом рассказывал отец. Но страха она не чувствовала. Ей даже нравилось, что она одна, совсем одна, в широких пустых улицах. Вот если бы, например, кто-нибудь взглянул на нее сверху – не бог, конечно, не о боге она сейчас думает, – но человек, сидящий, скажем, в воздушном шаре. Он увидел бы величавый лабиринт и маленькую в нем мышь или ящерицу, может быть, он бы даже принял ее за человека – взрослого, храброго, гордого, предпринявшего кругосветное... И если что случается в этом путешествии, то это так и надо. Потому что все, что случается, – хорошо.

Но на любовь это не похоже. Кто знает, может быть, если бы он дал ей расплакаться, если бы он сказал ей что-нибудь, что в написанном виде, например, могло бы оказаться смешным, что-нибудь такое обыкновенное и единственное – это стало бы любовью. Он не сделал этого. Спасибо ему. Как хорошо, что он не сделал этого!

Но как грустно, что этого не было. Вот и ночь прошла, прошел ее «первый бал» (Наташа Ростова, Андрей Болконский – ау, где вы?), и она одна бежит домой и, кажется, плачет. И никто не сказал ей, что хочет знать про нее, где она живет, что делает, что думает, когда опять придет? «Маруся». И больше ничего. А ведь он мог сделать с ее сердцем что угодно, и тогда это был бы плен. Слава богу, он не сделал этого!

У нее был ключ от квартиры, и она неслышно вошла, разделась и осторожно, боясь скрипнуть дверью, докралась до своей комнаты. На постели под одеялом кто-то лежал.

– Мама!

Она открыла глаза.

– Знала, что не разбудишь, дрянь, потому и улеглась здесь, чтобы непременно все знать. Рассказывай.

– Расскажи лучше ты, как это у вас бывало. Гремела музыка, бряцали шпоры, пары скользили по паркету...

– Мы обыкновенно приглашали тапера.

– ...он говорил: я люблю вас. Она отвечала: спросите маменьку.

– Это так с нашими бабушками разговаривали.

– ...и они выходили на балкон, съедали мороженое, простужались и умирали. Или нет, они женились, и у них были дети.

– А у вас не так?

– Совсем не так. И тебе бы не понравилось.

– Неужели под гармошку?

Она разделась, умылась за ширмой, расплескав воду, перелив полное ведро, и легла рядом, стиснув мать в объятии.

– От тебя пахнет табаком и водкой. А что за публика была? В кулак сморкались?

Вера слегка отпустила мать.

– Публика была самая разнообразная: кое-кто сморкался в кулак, а другие были хоть и пьяные, но очень вежливые.

– Воображаю.

– Извинялись за каждый пустяк. Был один даже вполне трезвый; архиереи по стенкам висели.

Они еще долго шептались, но уже не о том, что было, а том, как они друг друга любят. И мать иногда смеялась тихонько и радостно, как будто не было седины, как будто не продали лисью ротонду, и, незаметно подушкой утирая глаза и нос, смеялась иногда сама Вера, так, словно и впрямь ничего не случилось.

Когда мать ушла, еще и еще раз обняв и расцеловав ее, в Вере медленно стала выпрямляться невидимая, спиралью сжатая пружина. Опять, как тогда, она закинула обе руки за голову, и ей представилось, что кто-то у изголовья заслоняет ей окно. Изо всех своих сил она старалась ничего не дать себе вспомнить: ведь если не помнить, то, значит, ничего и не было – так когда-то (еще во времена Сама) они установили. Если бы можно было на месте всего бывшего удержать сейчас в воображении рыжую голову пропавшего из ее жизни мальчика... Ребячество! Было. Было что-то, что никогда уже не хватит сил повторить. Невозможно пережить во второй раз такое мгновенное сиротство, такую жестокую свою ненужность.

Она лежала и смотрела перед собой, и петлями шли ее мысли, возвращаясь все к тому же мучительному часу в чужой комнате, в Венцовской квартире. Все, когда-либо читанное или слышанное о телесной любви, вспоминалось, плыло на нее, душило ее, она не могла найти во всем этом себе и своей встрече места. Кто-то из Гренландии шел в Берингов пролив по льдинам. Льдины стучались одна о другую. Кричал ребенок. Это был ребенок

путиловца, жившего в дедушкиной комнате (а жена его была беременна четвертым). В окне начинался нестрашный, пустой зимний рассвет. В мозгу мучительно возник полубытый евангельский стих. Лыдины гремели; в звонкой морозной пустыне она была одна, она скользила... на кубовых своих саночках, туда, где в сугробах, может быть, еще ждет ее мальчик в ушастой шапке. Но где-то далеко от станции со смешным названием отходил поезд. Цвела сирень, и кто-то веткой махал ей из окна вагона...

XV

– О тебе спрашивали, – сказала спустя неделю Шурка Венцова, входя к Вере, – хотят наново познакомиться, говорят: было темно, не рассмотрели.

У Веры заходило в сердце, как перед несчастьем.

– И ты сказала ему, как меня зовут?

Нет, Шурка ему этого не сказала, да он и не спрашивал. Он просто попросил непременно опять когда-нибудь пригласить эту высокую красивую барышню в большом воротнике.

– Это про меня – красивую?

– Про тебя.

– Очевидно, и впрямь было темно.

И вот Шурка пришла за Верой, чтобы увести ее к себе.

– Нет, я не пойду, мне некогда. А он что, ждет?

– Он живет у нас.

– Тем более можно в другой день. Он, между прочим, сказал мне тогда, что вовсе не живет у вас. Значит, соврал.

Это возвращение меняло все. Она так растерялась, что не чувствовала никакой радости; она, которая, по словам матери, решительно от всего испытывала радость, именно сейчас, когда было отчего кинуться на Шурку, запеть, зашуметь, молчала и стояла неподвижно,

окаменев внутри, каменными глазами смотря в Шуркины лучистые глаза. Зачем он вызывал ее, зачем возвращался, чего хотел? Поздно. Не надо.

Но Шурка заставила Веру одеться, и они вышли на улицу. «Тогда пойдем крюком, погода больно хороша», – предложила Вера. И они пошли крюком.

Это было смутное желание оттянуть время. Кто он? Печорин, неделю ее мучивший, прежде чем появиться снова (она, впрочем, нисколько не мучилась и сейчас же даст ему это понять); или просто занятый делами человек (уезжал, скажем, в командировку и только вчера вернулся), который не прочь возобновить приключение; или за эту неделю ему удалось забыть все, что между ними было, и осталась о Вере какая-то иная, немножко волшебная память, и он хочет теперь начать с начала, с другого начала, наверное, с очень трудного начала.

– Зайдем сюда, – говорит Вера и тянет Шурку в недавно открывшийся, кажется, пока единственный в городе часовой магазин. – Мне давно хотелось.

– У нас не магазин, у нас часовых дел мастерская, – судорожно говорит перепуганный звучным словом маленький человек.

– Все равно. Я хочу кольцо продать.

– Золотое?

Вера снимает с безымянного пальца золотое с рубином и алмазами колечко. Маленький человек смотрит в лупу: рубин плавленный, алмазные осколки вообще ничего не стоят. Он быстро, как пломбу из зуба, выковыривает рубин, бросает на весы.

– Зачем ты это? – спрашивает Шурка.

Спрятав деньги в сумку, Вера уже на улице объясняет: ей нужно сделать покупки, смешные, но необходимые, а денег нет. Пудра, духи. Пара чулок. Шпильки. Бусы. Ничего этого у нее не имеется.

– Валяй, – отвечает Шурка.

Одно было несомненно: он захотел, чтобы она пришла. Впервые дошло до нее что-то из его сердца. У него

было сердце. Мысль эта показалась ей такой сладкой и мутной, что невозможно было ухватиться за нее, всей своей тяжестью повиснуть на ней. Осторожно, чтобы только не оборвать чего-то очень нежного! Он восполнял своим желанием увидеть ее пустоту, которую сам вокруг них обоих создал.

Шурка опять рассказывала Вере свой сценарий, какие-то муки и восторги, которые всецело зависели от Матренинского. Был ясный зимний день, на Невском тротуары были занесены сугробами, и прохожие шли по мостовой. В подвале дома, напротив Гостиного Двора, всего несколько дней, как открылась первая кондитерская со столиками. Вера втянула Шурку в низок. Только бы подольше!

Удивительно было это сидение друг против друга, в темноватой, жарко натопленной комнате; подавальщица принесла два стакана кофе и два пирожных с сальными украшениями. В вазочке лежали печенья и пахло кокосовым орехом.

– Не арестуют? – Вдруг спросила Вера и Шурка сердито ответила:

– Пей уж скорей, с тобой всегда так.

Но как сама она решит отвечать на все это? Вот она идет к нему по первому его зову. Да, идет – и уже есть в ней что-то собачье. Почему? Любви... Ничего больше. Ей хочется любви. Она думала, что там, у Венцовых, ночью, когда он положил ей руку на лицо, может быть, любовь. Потом, когда он спросил ее, как ее зовут, ей опять, несмотря ни на что, показалось, что это невозможно. И сейчас опять.

Она доходила досыта, и, когда они пришли к Шурке в дом, у Веры было на душе спокойно, немножко блаженно. Шурка распахнула перед ней дверь венцовского зальца:

– Вот, знакомьтесь, граждане. Простите, Александр Альбертович, что мы поздно.

И Вера увидела не того, кого ожидала увидеть.

Воспоминания размотались мгновенно: трезвый, молчаливый, очень серьезный, он не танцевал тогда и не пил, а смотрел то в гитарные струны, то – с любопытством и без всякого отвращения – на людей вокруг себя, с которыми у него ничего не было общего. Непонятно было, как очутился он среди них. «Совершенно случайно, – объяснил он потом Вере, – знакомые моих знакомых указали мне Александры Гурьевны комнату. Еще в двадцатом году я переехал, после того, как мой отец...»

Это была длинная история.

XVI

Два огромных светлых глаза, тонкое бледное лицо, тонкие легкие волосы, узкая рука. Он тогда казался моложе, чем был на самом деле. Одет он был, как одевались люди еще года четыре тому назад – воротничок, галстук и прибор, – и ни пятнышка, ни пылинки на всем этом. Но в его старомодности – при его молодости – не было ничего ни смешного, ни противного. Лицо его искупало заранее все.

– Сегодня холодно? – спросил он, когда Вера села.

– Право, не заметила, кажется, холодно.

– Я думал, вы уж и не придете. Пять часов. Боялся, что вы больны.

– Я никогда не болею.

Он сложил руки на коленях и вдруг что-то вспомнил и засмеялся.

– А я ведь что-то нашел!

Вера посмотрела на него пристально.

– Я нашел в моей комнате, под софой, – и он опять засмеялся. И вдруг вынул из бокового кармана гребешок, Верин гребешок, которого она на следующее утро не могла доискаться.

– По этому я узнал, что вы были у меня в гостях.

Он посмотрел на нее, и было в его глазах что-то нечеловеческое, восторженное и больное. Они сидели у незанавешенного окна, в потолке горела лампа; перед ними стоял столик, и Вера положила одну руку перед собой плашмя на лаковую его доску, другая висела вдоль стула. Он смотрел на Веру, потом на Верину руку, потом опять на Верино лицо. От ходьбы на морозе щеки ее стали темно-розовыми, но глаза показались ему невеселыми, и она теперь все старалась смотреть мимо него.

– Я думал всю эту неделю, – сказал он тихо и почему-то грустно, – что если кого-нибудь можно любить в этом ужасном, отвратительном мире злости и грязи, то, вероятно, только вас.

Она нахмурилась и еще дальше отвела глаза.

– Не сердитесь, пожалуйста. Я ведь не наверное говорю, что мне только так кажется. Я ведь не делаю вам любовного признания. Боже упаси!

Он еще раз внимательно засмотрелся на ее лицо, она убрала руку со столика, но он не сделал никакой попытки удержать ее.

– Вот я вам расскажу про себя. Отец мой – француз, то есть он был французом, а потом стал русским. И, представьте, его расстреляли, приняв за шпиона. Но самое удивительное, что, вероятно, это так и было, потому что он мучился после революции и говорил, что все средства хороши, только бы бороться.

Вера слушала. Ей нравилось, что он от нее не требует разговора.

– Мать моя – представьте, это очень странно! – немка. И я по-немецки говорю очень хорошо, как по-русски. Она была переводчицей модных романов: Шницдера-там и Гофманстала. Я даже знаю всякие глупые немецкие песни, какие поют детям, потому что она мне их пела. Но я больше люблю Францию. За границей я, впрочем, никогда не был. Мать была старше отца и умерла во время войны, война очень сильно на нее подействовала. Вы слушаете?

– Пожалуйста, рассказывайте дальше.

– Потом у меня был брат, старше меня на шестнадцать лет. Да, представьте, на шестнадцать лет! Он жил в Париже, он был очень богат. Он был убит на войне. У него осталась вдова, и она зовет меня в Париж. Зовут ее Лизи. Она недавно прислала мне посылку.

– Вот хорошо! – не удержалась Вера. – Что же там было?

– Там было, во-первых, коверкотовое пальто, потом там был одеколон, три катушки ниток, шоколад, две пары кальсон (простите, что я так говорю) и теплые перчатки. Шоколад и катушки я отдал Александре Гурьевне, а перчатки подарил Генечке. И вам, если только вы позволите, мне хотелось на память отлить в бутылочку немножко одеколону. Он чудно пахнет.

Что-то шевельнулось у Веры в горле и подкатило к глазам.

– Спасибо, – и она опустила лицо, – вы лучше сохраните его для себя.

Он перевел дыхание.

– Теперь я вам расскажу о себе. Я жил с отцом и, когда окончил Анненшуле, поступил на филологический.

– Почему на филологический? Что же вы собирались делать?

– Ничего. Поступил потому, что хотел высшее образование получить, а какого рода – безразлично. Деньги у отца были, а способностей у меня определенных ни к чему не проявилось. Поступил, поучился год. Потом – вот. Революция, остался один, болел.

– Как же вы сейчас живете?

– Уроки даю. И потом мне, право, так мало надо. За меня хлопчут в Москве дальние родственники. Тогда я уеду.

– Боже мой, как все это грустно! – воскликнула Вера.

– Россия очень грустная страна, – ответил он. И в комнате стало совсем тихо.

Она сидела рядом с ним, и ей казалось, что он не дышит, не пульсирует, – такая была тишина. Мир, разбро-

санный, раздробленный, взвихренный мир вдруг сошелся в одной точке, в ее недоумении перед этим человеком, и она почувствовала такую дикую, такую слепую потребность доброты, что все остальные томившие ее чувства и попытки чувств вдруг рухнули. Она поняла, что все то, что жгло ее эти последние месяцы и, может быть, даже годы, было желанием быть к кому-нибудь доброй. И она угадала, что только доброта может сделать ее опять, как в детстве, счастливой, что только доброта, одна доброта есть для нее сейчас любовь. А все остальное – измена и одиночество.

– А чем же вы болели? – спросила она после молчания.

– Легкими, – и он ясно и с готовностью поймал на этот раз ее взгляд. – Они у меня слабые. У отца они тоже были слабые. Я сейчас принесу вам карточки. – Делая огромные шаги, он вышел из комнаты и очень быстро вернулся. – Вот мой отец, – сказал он и протянул кабинетную фотографию: красивый господин с пышными усами в высоком крахмальном воротничке.

– Отец болел, потом вылезился. Я тоже, наверное, вылечусь. Он был очень веселый и, представьте, – немножко стыдно это сказать – но главным в жизни для него были женщины. И всегда очень красивые дамы. Помню, раз понадобилась ему в декабре месяце белая сирень... Впрочем, это в другой раз вам расскажу. А вот моя мать. Видите, какая важная.

С карточки смотрело строгое лицо в пенсне. Бюст дамы начинался у самых плеч, подпертый корсетом.

Он спрятал фотографии в старый конверт и задумался. Они опять некоторое время просидели молча.

– Как вы думаете, где Шурочка? – спросила Вера, хотя догадалась, что Шурочки давно нет дома.

– Я думаю, Александра Гурьевна ушла с господином Матренинским. Он сидел в столовой, когда вы пришли.

– Почему же он не сидел здесь с вами?

– Он был сердит, по-моему, на что-то сердит.

– На вас сердит! – воскликнула Вера. – Но как же можно на вас сердиться? – почувствовав, что этот вопрос может прозвучать нежнее, чем нужно, она на всякий случай усмехнулась: – Ну, расскажите что-нибудь.

Он опять перевел дыхание.

– Все, что хотите. Про сирень? Или про то, как я один раз оживил утопленника?

– Вы оживили утопленника?

– Да. Впрочем, это я вам завтра расскажу.

– Почему вы думаете, что завтра я опять приду?

– Нет, я не смею. Но я хотел попросить вас разрешения придти завтра к вам.

Она вдруг обернулась к нему, положила руку на его обшлаг.

– Один, – сказала она, – без мамы, без папы, и даже собственно неизвестно, какой национальности, и без всякой профессии. И болеете легкими. И... что еще?

Глаза у нее были очень грустные и блестящие, как никогда. Сердце в груди, казалось, истекает чем-то горячим и соленым.

Он положил руку на ее руку. Он только странно улыбался бледно-розовыми тонкими губами. Потом, в коридоре, он помог ей одеться, и каждое движение его показалось Вере полным никому сейчас не нужного, какого-то напрасного благородства.

XVII

Он стал приходить каждый день, в толстой фуфайке и коверкотовом заграничном своем пальто. Он сильно страдал в нем от морозов, но не мог объяснить, что случилось с его прежней шубой (много позже выяснилось, что ее выпросил у него Матренинский). Он совершенно не стремился остаться с Верой вдвоем, лишь бы она была подле него, а был ли еще кто-нибудь в комнате, его мало беспокоило. Обыкновенно он садился в столовой

на стул, зажав кисти рук между колен, и не спускал с нее глаз. Это была самая теплая комната во всей квартире, тут стояла железная, выложенная кирпичом печка, на ней – чайник, в духовке – горшок с кашей. Александр Альбертович приходил после обеда и всегда от угощения отказывался.

Отец сидел тут же, на конце стола; инженерное его ремесло теперь все больше делалось почетным. Ероша густые седые волосы, изредка крикая, он рыскал с толстым карандашом по каким-то очень летучим бумагам, совал острый нос в какую-то книгу или, все это сдвинув, закрывался «Правдой». И когда на чей-нибудь вопрос, к нему обращенный, он мгновенно выныривал из-за газетного листа, он все еще молодо сверкал глазами и зубами на желтом татарском лице и отвечал когда-то бывшим резковатым, а теперь хриплым голосом; и невозможно было сосчитать, сколько стаканов чаю (давно без сахара) выпивал он за вечер, во всяком случае; не менее десятка.

Напротив отца, в кресле с подушечкой, сидела мать и раскладывала пасьянсы – старыми русскими картами с розовым и голубым крапом. Это занятие не шло ей, оно ее старило, но об этом она не заботилась: она уставала за день и вот, когда посуда бывала перемыта, и на завтра кое-что сготовлено, и перестираны были тряпки, и в уборной подтерто (за путиловцами), и руки ее – нежные прохладные руки – отмыты и насухо вытерты, она садилась в кресло с подушечкой и бралась за колоду. И Вера садилась рядом с иглой и старым штопальным грибом, и то это была отцовская ластиковая заплатка, то собственная ползущая под иголкой когда-то гимнастическая юбка.

Александр Альбертович рассказывал очень тихо, чтобы не мешать чтению «Правды», и в рассказах его было всегда столько неожиданного, удивительного и трогательного, что Вера иногда не выдерживала и вскидывала на него глаза, а мать, окончив пасьянс, сидела, склонив-

шись над картами, и молча продолжала слушать или принималась, все на столе смешав, тихонько смеяться. Смеялась она теперь совсем тихо, но все так же длительно и чисто. И было рассказано в те вечера и про сирень, и про утопленника, и про многое, многое другое.

Иногда в своих рассказах он доходил до последних лет, и, когда говорил, как тащили отца по снегу, как пропадали передачи где-то между Гороховой и Шпалерной (а в тюрьме давали овес), когда рассказывал, как уезжали летом знакомые французские оптанты – через Польшу, через Европу, туда, в далекую страну мира, победы, свободы, – было у него в глазах что-то, чего нельзя было вынести. Он тогда еще больше понижал голос, чтобы его не слышал Верин отец, который однажды вдруг заспорил с ним о политике, и это было тяжело слушать. И тогда Вере казалось (уже тогда!), что сам он всех несчастнее – и оптантов этих (болевших цингой), и всех, всех старых, измученных людей, которых где-либо, когда-либо тащили на расстрел.

Наступил март, и в квартире стало теплее. Можно было сидеть теперь в Вериной комнате. Кутаясь в старый Настин платок, она устраивалась в низком на трех ногах кресле, а он где-нибудь, непременно на самом неудобном стуле. Они были вдвоем. Вера читала. Это был период постоянного жадного, безразборчивого чтения. Александр Альбертович тоже держал на коленях книгу. И нельзя было сказать, что он вовсе не глядит на нее, но почему-то любая страница наводила на него облако текучих и – он сам это знал – бесполезных мыслей.

– И никогда, никогда, – спрашивала Вера, подпершись о колено рукой, – не замирало у вас внутри от чего-нибудь совершенно дурацкого, от росы, от рассвета, от мысли, что никакая смерть не отнимет у вас чего-то самого главного? А? Подумайте.

– Нет.

– Вы не помните, чтобы что-нибудь вас когда-нибудь обрадовало до обморока, до потери рассудка?

– Нет.

– И вы не крикнули бы «еще минуточку», если бы оказались под виселицей?

– Нет... Знаете, я никогда не покончу с собой, но если бы меня кто-нибудь убил...

– Вас нельзя убить.

Иногда, ночью, она выходила провожать его до угла, стояла и смотрела, как он переходит улицу, еще раз снимает шляпу и скрывается. Несколько раз она пробовала молиться за него. Однажды она подумала, смотря ему вслед, что он, наверное, очень легок и что если лечь и дать ему пройти по ней, то не будет больно. В день, когда начался ледоход, она предложила ему пойти на Неву.

– Мне никак нельзя, – ответил он. – Эти дни у меня самые страшные.

У нее сжалось сердце. «И не надо, – сказала она. – И я не пойду». Он посмотрел беспокойно. «Нет, вы идите, вам надо».

Но она не пошла. «Все – в меру, – сказала она себе. – Если бы можно было вместе пойти и стоять там, в солнце и ветре, и при этом вот так любить, душа бы не выдержала. Нельзя. Все в меру».

Вечером он пришел, как обычно. «Посидим у вас, – сказал он, – мне нужно вам кое-что сказать».

Вера с трудом открыла давно не открывавшуюся печную заслонку, засучив рукав, нащупала и вынула вьюшки и принесла из чулана ворох старых газет. Она медленно начала скручивать жгуты, зажигать и бросать их в печку. Ветер загудел в трубе. Был бешеный, рвущийся ввысь огонь, был даже некоторый мгновенный жар и, вероятно, в небе, над трубой, розовый отсвет.

– Я сегодня получил одну бумагу, – начал он, испытывая тревожное блаженство от тепла, от мысли, что загорится сажа и будет пожар, от того, что Вера сидит близко и спиной к нему. – Я получил из Москвы разрешение на выезд. Я долго ждал его. Но если вы не хотите ехать со мной, я останусь.

Он помолчал, она продолжала скручивать и рвать газеты.

– Знаете, как вам надо будет ехать? Моей женой. Вас впишут мне в паспорт. Я хочу еще вам сказать, что в Париже вы ни в чем не будете нуждаться. Брат оставил мне. Там Лизи.

Она обернулась.

– Видите ли, какая история, – сказала она деловито, – я могу и здесь. Я могу и без Парижа.

Он серьезно и без всякой робости взглянул ей в лицо.

– Я знаю, что вы можете по-всякому, потому что вам двадцать лет. И в тридцать, и в сорок вы тоже сможете по-всякому, потому что вам сейчас двадцать лет. Я знаю, что вы из тех, которых ничем не испугаешь и ничем не соблазнишь... Я знаю... Пожалуйста, не прерывайте меня. Я люблю вас. Никого до вас я не любил.

«Верю», – сказала она про себя.

– Никого не хотел любить, думал, что и не могу любить. Я ничего не умею делать и не хочу уметь. А вы для меня – все равно что жизнь.

– Которой, кажется, вы не дорожите?

Он подумал, глядя в сторону.

– Значит – больше.

Печка с ревом пылала перед ними, и казалось, что вся комната в пламени.

– Я думал до вас, – продолжал Александр Альбертович, – что так это и будет. Мне представлялись раньше различные отвлеченные «жесты» любви: ничком у ног, объятие, не знаю, что еще. Вы знаете мой «жест»? Я вцепился в вас. Вы только представьте себе человека, который умирает от жизни. На лбу у него лед, на груди – мешок с кислородом, руки его в чьей-то родной руке. Так вот все это – вы: и лед, и кислород, и рука...

Она бросила последний жгут в печку и, сидя на полу, обняла свои колени, не отводя глаз от потухающего огня.

– Я прошу вас стать моей женой. Подождите, не отвечайте, я еще не сказал вам главного.

В эту минуту неожиданное волнение изменило его лицо. Он встал, прошелся раза два по узкой тесной комнате и опять сел.

– Я не предлагаю вам того страшного, мерзкого и животного соединения, о котором Леонардо да Винчи сказал, что оно уродливо, смешно и всегда унижительно для человека. Если вы сами захотите его, оно произойдет. Но оно, конечно, не имеет ничего общего с любовью, и разве можно строить жизнь на случайном телесном ощущении, которое сегодня вам приятно, а завтра для вас – утомительно?

Он говорил еще, слова его теперь шли мимо Веры: она стучала зубами, куталась в платок, сжимала руками колени. Леонардо да Винчи. Значит, кто-то до нее уже думал об этом... Леонардо да Винчи... Джоконда... кажется, ее кто-то когда-то украл. Она поедет в Париж, она пойдет ее смотреть. Борис Исаевич Адлер находил, что Джоконда совершенно неинтересная женщина... Александр Альбертович говорит «повенчаемся» вместо «поженимся». Это смешно. Боже мой, как он худ, какие на нем протертые брюки!

Она с трудом сдерживала в себе все усиливающуюся дрожь. Он не просил у нее ответа, да она бы и не могла сейчас его дать. Он наклонился к ней и поцеловал ее в голову и начал тереться лицом о ее густые, заложенные жгутом на затылке волосы. С тихим звуком выпала одна шпилька, он вынул другую, волосы упали. Он смял их обеими руками, накрутил их на пальцы, запустил в них руки.

– Какие густые, – сказал он шепотом, – какие холодные.

Потом он положил ей на шею тоже холодные тонкие свои пальцы. И вдруг она перестала дрожать и обернулась к нему, все продолжая сидеть на полу. Он стал целовать ее лоб, глаза, губы, щеки; поцелуи – но какие-то особенные, да, особенные, непохожие ни на какие раньше испытанные, легкие, скорые; близко от них, тут, сей-

час же, чувствовалось море слез, и море слов, и целая человеческая судьба.

И за этим вечером наступила первая в жизни Веры бессонная ночь – словно за первую близость с Александром Альбертовичем сейчас же пришел счет, и надо было платить бессонницей. В эти часы она думала, что год жизни готова отдать только за то, чтобы прекратилась тишина в доме, чтобы где-нибудь – внизу или вверху – грохнуло что-нибудь или зазвучало. Но все было тихо. Особенно тяжело было то, что она никак не могла расплакаться – над чем? над кем? Над жизнью, которую она так любила и которая ей платила сейчас таким невымытым счастьем.

И все стучала в голове мысль, что ничего не решено и все поправимо, все еще можно переделать, оттого что не было дано никаких обещаний. Она знала, что это – искушение и ложь, потому что все было решено и ничего уже не поправишь, и крепче, чем под венцом, было дано слово. И так безрассудная, страстная жалость эта была похожа на радость, что явись кто-нибудь сейчас здоровый, сильный, целующий в губы и грудь, бегущий с нею на ледоход, она бы просто не поняла, зачем он здесь? Она была отравлена, прострелена, утоплена – жалостью и в жалости; она ничего больше не могла: ни хотеть, ни бороться, и ей казалось, что вся печаль мира – не ее мира, лучистого, звучащего фанфарой, льющегося радугой, но его мира – льется в нее, как в сосуд, и она все выдержит, все стерпит.

XVIII

У Александра Альбертовича комната была с балконом; это была прежняя Шуркина комната, та самая, в которой стояла оттоманка и блестела при луне кафельная печь. Недаром здесь был Александром Альбертовичем подобран Верин гробешок. Маленький железный бал-

кон висел над переулком, и на нем помещались два стула. Вера приходила сюда, садилась и смотрела вниз, на улицу; Александр Альбертович садился рядом. Шурочка приходила, поджав одну ногу, стояла в дверях:

– И когда же вы поженитесь?

Было совсем тепло, был конец апреля. Над нищетой и грустью голодного города сверкало лазурное небо, обещая длинное ясное лето. Было несколько лавок, была парикмахерская, куда Шурка водила Веру завиваться, был даже ресторан, где все было очень дорого и невкусно. Александр Альбертович каждое утро что-то приклеивал в своих ботинках, потом долго чистил их щеткой и закрашивал чернилами. Иногда, вечером, когда все ложились спать, он шел на кухню, кипятил на примусе воду и стирал свою рубашку. Днем у него бывал жар, он ложился; он говорил, что у него от волнения, от ожидания, Бог знает от чего.

– Пойми, – сказал Вере отец, беря ее по всегдашней своей привычке за плечо цепкими пальцами и делая немножко больно, – я не могу быть ни за, ни против такого брака. Ты – свободный человек. Но если все это – одно сострадание?

– Как тебе объяснить, – отвечала она хмуро. – Сострадание – это что-то безличное. Сейчас это невозможно. Сейчас все очень личное.

Он пытал ее глазами, отпускал, ерошил волосы.

– Лучше было бы, конечно, без всякого сомнения, лучше было бы, если бы ты осталась с нами здесь. А то как же так? А?

– Я вернусь, – отвечала она, стараясь не думать, когда и как это случится.

В день свадьбы Вера опять надела свое шевиотовое платье – оно было лучшим, оно было единственным. Накануне они с Александром Альбертовичем были в коммиссариате, и там их записали мужем и женой.

– Ты что же, нынче уйдешь вечером к нему? – спросила мать, видя, что Вера сама не заговаривает о переезде.

– Нет, зачем же. Мы уже эту неделю до отъезда побудем так. Ведь целый день вместе.

Мать все присаживалась – то на стул, то на кровать, то на сундук, она не держалась на ногах и вдруг оказалась маленького роста.

– Знаешь, – сказала она Вере из какого-то угла, – я когда-то очень любила жить на свете.

Вера гладила у окна.

– А теперь мне это все равно.

«Нельзя, не надо спрашивать почему», – подумала Вера.

Мать сидела и смотрела на нее, уронив руки, испорченные работой, в грубом платье, с какой-то преждевременной немощью в теле.

– Разве я старуха? Мне ведь совсем немного лет. Но я чувствую себя сегодня такой старой, а в день, когда ты уедешь с ним, мне, наверное, стукнет сто лет.

– Почему? Что за глупости ты выдумываешь!

– Ой, не будь такой строгой, а то я заплакать могу. Меня сегодня обидеть легко, – она отвернулась и смахнула со щеки большую слезу. – И подумать только, откуда берутся еще такие люди, как твой Александр Альбертович? – Вера подняла голову. – Ты люби его, люби! Уж если начала – не бросай.

В церковь пришли все вместе: Геня и Матренинский держали венцы, Шурка стояла с букетиком нарциссов, отец и мать – поодаль и там же – две старенькие дамы в одинаковых блузках с галстучками, часами на цепочках и обе в пенсне: подруги покойной матери Александра Альбертовича, тоже переводчицы модных романов: одна скандинавских, другая испанских. Они называл его Аликом и целовали и обнимали его, как ребенка.

Присмирившие, усталые, голодные, они вернулись домой, и мать вдруг захопотала, засуетилась: выяснилось, что готов целый обед – борщ, зразы, печеные яблоки на сладкое; выяснилось, что сохранилась в буфете бутылка

шампанского – привозного, французского, – и каждому досталось по глотку его пены.

– Я чувствую себя очень неловко, что доставил вам столько хлопот, – сказал Александр Альбертович, и над ним посмеялись, и он посмеялся сам, и все равно, пусть будет что будет, пусть смеются, пусть рухнет вселенная – он смотрит на Веру, держит ее за руку и не отпустит от себя.

А товаро-пассажирский пароход, на котором они должны были ехать до Штеттина, уже чистился, уже грузился у Гутуевского острова.

...Провожающих не пустили на мол, и прощаться пришлось в здании таможни, в узком проходе, только что свежевыкрашенном масляной краской; надо было все время помнить об этом, чтобы не задеть стены; мимо шли люди, приходилось давать им дорогу; хотелось еще и еще прижать к себе всю в слезах, почему-то дрожавшую и все-таки улыбающуюся мать, отца, целовавшего так больно и сильно, сказать что-то Шурке, сказать непременно, не забыть. Но всех их гнали куда-то, и все тот же кривоногий в крагах возвращался и требовал здесь не толпиться, не застревать, а проходить как можно скорее. И прощай, прощай! И у тебя на спине зеленое. И будь счастлива, и счастливый путь, и вам тоже пусть будет в жизни счастье! Пиши, пиши, как только можешь часто, про все пиши. И не беспокойся: дома скипидаром вычисти – все сойдет.

Так на всю жизнь, неизвестно какую, – едкий запах олифы и материнская кротость, и легкомысленно перекинутые сходни с этой земли на палубу двухтрубного немецкого парохода.

Он отвалил ночью, словно делая что-то недозволенное, а до ночи Александр Альбертович и Вера все смотрели с какого-то ящика на тающий в медленных летних сумерках очерк Петербурга – Калинкин завод, фабрика Кенига и далекий, за туманными домами, шпиль.

Она никогда не думала, что Петербург такой, если смотреть с гавани.

– Я тоже, – сказал он.

Она жалела, что никогда раньше не приходила сюда, здесь так обморочно и терпко пахнет морем.

– Я тоже, – опять сказал он.

Она рассмеялась, сняла ему шляпу и растрепала волосы.

– Спасибо, – сказал он и поцеловал ее руку. Она сделала вид, будто собирается его задушить.

– Опять спасибо, – сказал он еще раз, посмотрел на нее и закрыл глаза, а когда он закрывал так свои большие светлые глаза, Вере казалось, что что-то гаснет рядом с ней, гаснет сама жизнь, такая горькая, такая трудная и прекрасная – сделанная из разлук, чужих стран и соленых слез.

Она запомнила два пробуждения. Первое – утром, перед Штеттином. Она лежала на верхней полке, как в сетке (каюта была совсем маленькая), и слушала стук машины. «Бесповоротно, – сказала она себе вдруг. – Живу. Еду. Стучит». Что это значило, она сама не знала, но чувствовала, что остановиться нельзя – ни земле вокруг солнца, ни машинным колесам, ни ей.

– Мы куда-то приехали, – сказала она, перегнувшись вниз, и увидела, что он проснулся. Она протянула ему теплую руку, и он потянулся к ней и стал целовать ей ладонь и пальцы, гладить себя этой рукой по лицу, купаться в этой руке. Это была минута судорожного счастья. Потом начался день.

Второе пробуждение было под самым Парижем. Он не проснулся на этот раз, она была одна, и ей было страшно. Она вышла в коридор. Народу в вагоне было мало. Она стояла и смотрела на черепичные крыши пригородных домов, на первые вывески, на сушившееся белье, на груды старого железа. Ей становилось все страшнее. «Куда? Зачем? Подождите...» Хлопнула дверь, прошел контролер. Поезд пошел словно под гору – еще бесповоротнее, еще отчаяннее, чем колеса парохода. Мелькнула надпись: «Париж в 34 километрах». Вера дер-

жалась за никелированный поручень окна. «Париж в 29 километрах». Было девять часов утра. Зачем держишься за этот поручень, он ведь летит вместе с тобой! «Париж в 18 километрах». Вот Александр Альбертович вышел и встал рядом, он прямо со сна, но лицо у него не бывает заспанным; Вере все не становится спокойнее. «Париж в 8 километрах». Уже? Он уходит в купе собирать вещи. Ей делается безразлично, куда, хоть к созвездию Геркулеса. И вдруг – рев, свист, грохот на стрелках, еще раз надпись, какая-то платформа, идет встречный поезд. «Париж в 3 километрах». Париж...

Все показалось – несмотря на погожий летний день – очень сизым и дымным, каким кажется и теперь, каким казалось все эти три года. И квартира показалась дымной тоже – это была квартира покойного брата Александра Альбертовича, его вдова уехала на юг и оставила ее им – со всеми зеркалами, картинами и пальмами. И дымной показалась Людмила, появившаяся здесь (живущей прислуги Вера не терпела).

В первый месяц этой жизни он еще гулял, смеялся, покупал себе костюмы и разные ненужные предметы, приглашал каких-то гостей. Потом все это кончилось.

– Куда ты идешь? – спрашивал он. – Я не могу без тебя. Я умру без тебя. Я лучше пойду с тобой.

Она оставалась. По правде сказать, ей некуда было идти, разве что посмотреть на что-нибудь, она так мало в жизни видела! Потом и это кончилось. Был год заключения, истерического его тиранства, потом – год смирения. И теперь он позволял ей иногда это выбегание по утрам, словно готовил ее к близкому, полному от себя освобождению.

Когда-то (еще, кажется, летом) она читала ему вслух. Он мог слушать одну-две страницы. Почему-то чаще другого попадался ей в руки «Онегин» – и почему они оба так любили его, было им самим неясно. Там ничего не было ни про них, ни про их странную связь, ни про предсмертную, мучительную его жадность к ней, ни про

дикую, животную потребность увести ее с собой; там не было ничего про ее, ей самой непонятную окаменелую святость и безумную жажду освобождения. Теперь он уставал от одной строфы, но иногда, ночью, когда ему не спалось, он все еще просил:

– Там было местечко одно, про то, как кружится вальс...

И Вера читала:

Однообразный и безумный,
Как вихрь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный...

И тогда он поднимал слабую руку в знак того, что довольно, что на сегодня слишком много волнений от этих строчек, и она стихала.

Он не замечал, что она читает громче обычного, с каждым разом все громче: он переставал слышать, он переставал видеть, замечать что-либо вокруг, и только ее присутствие – как чья-то живая, движущаяся, теплотой и здоровьем наполненная душа – было единственное, чего он жаждал и что еще знал.

И однажды случилось так, что поздно ночью она встала, услышав его стоны – она третью ночь не спала вовсе после его последнего горлового кровотечения, – и, пошатываясь и ежась, подошла к кровати, ожидая, что он вот-вот проснется, и тогда она наклонится к нему, окружит его собой, укроет от всего, что его мучит и делает ему больно. Но он, не просыпаясь, затих. Горела лампа, закрытая газетой, слышно было, как по водосточным трубам бежит вода и проливается и льется куда-то. Вера взяла книгу, чтобы не заснуть, открыла на письме Онегина к Татьяне и, чтобы только не потерять нить действительности и собственного сознания, стала читать едва слышно, но все-таки голосом:

Случайно вас когда-то встреть,
В вас искру нежности заметя,

Я ей поверить не посмел,
Привычке милой не дал ходу:
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.

Это ни на что, ни на что решительно не было похоже, но само чтение что-то напоминало ей. Свет, падающий на книгу, мертвец, лежащий посреди комнаты, чтение над ним. Все это напомнило ей ночное чтение псалтыря над дедом. Давно, давно, в детстве. Когда звенела, и сверкала, и плыла на нее жизнь...

Был седьмой час утра, когда она перестала и закрыла книгу. Ночь едва-едва начинала разрываться в небе над городом, какие-то звуки, ранние, первые звуки, начинали долетать в раскрытое окно. Внезапно она направила свет лампы прямо в лицо Александру Альбертовичу, в голубоватое острое его лицо.

Сомнений не было: она была свободна.

XIX

Она была свободна. Она была одна. То есть она пребывала на полюсе, противоположном тому, к какому стремились люди ее планеты: в деревнях, городах, в горах и пустынях стоят жилища для людей, живущих по двое или семьями, и мир стоит, и государства, и вся дикость и цивилизация людская стоят на том, чтобы человек не был свободен и одинок. А она была одна. И ей было от этого странно. Она всю жизнь была «как все», а в этом одиночестве, в этой свободе было что-то исключительное, и ей было неловко от этой своей внезапной исключительности.

Надо было вызвать Лизи, сейчас же, чтобы она поспела к похоронам. А потом – месяцы или годы – расхлебывать дивный дар, которым наградила ее судьба.

И вот уже не ложная, но настоящая свирепая весна ломилась в город, и на тот мокрый декабрь, больше года

тому назад, декабрь похорон Александра Альбертовича, приезда из Ниццы Лизи, разрушения нелепой пыльной квартиры, весна эта не была похожа. На седьмом этаже большого дома, смотревшего куда-то за город, в зелень и даль, в низкой большой комнате с белыми обоями, мебелированной немногочисленными, но какими-то блестящими, совсем еще не обжитыми предметами, в час, когда солнце встает над землей, но его еще не видно над домами, Вера проснулась, не шелохнувшись, открыла глаза и почувствовала прилив такого невыразимого, такого летучего, такого острого счастья, что, продолжая лежать, не двигаясь, не мигая и даже не отводя глаз от голубого, ничем не занавешенного окна, она постаралась удержать это мгновение, продлить его. И это удалось ей: минуту, две (она потом старалась вспомнить: не целых ли три?) продолжалось это чудовищное, с детства не возвращавшееся, теперь не совсем уже то самое, ощущение, кончавшееся в сердце воображаемой, но все-таки отчетливой судорогой. От этого вздрога когда-то, в деревенском доме в Окуловке, вздрагивала и ее детская кровать, и Бог на плюшевой подкладке, подвешенный к кровати шишке, вздрагивал тоже. Сейчас не было ни Окуловки, ни кровати шишки, ни даже Бога, она была одна. Она – и время, текучее, делающее ее смертной или бессмертной... не все ли равно? И тем именно были так блаженны эти две-три (может быть, четыре) минуты, что все внутри нее, размягченное, расслабленное сном, вдруг спокойно и внимательно посмотрело куда-то, в ту сторону, где как будто раньше не было ничего, посмотрело и увидело ту же жизнь, какая была в ней, то же течение и, увидев, соединилось с чем-то в душащей радости – не с зеркальным своим отражением, когда-то мечтавшимися, а со всей вселенной, с встающим солнцем, с кричащими птицами, со всем, чему нет и не может быть конца. И в это почти нестерпимое мгновение – потому что, конечно, это было всего одно мгновение, а о минутах она придумала потом, – она почувствовала, что время

не течет сквозь нее, но что она-то и есть само это время, она вместе с солнцем, птицами и вселенной. И все, что будет с ней завтра и после, уже наступило!.. Тут она опять заснула и проснулась поздно, вскочила, вспомнила торжественные свои мысли на рассвете, вспомнила, что здорова, свободна, молода, что ничего не жалко, что всего хочется, и распахнула окно, и пошла, пошла мысленно шагать по сизым крышам, по дали, по зелени, по небу, пока не унялось под горлом клокотание беспричинного счастья.

Накануне днем она вернулась в Париж. Полтора года тому назад увезла ее отсюда Лизи – тем самым мокрым декабрем. Лизи она тогда вызвала телеграммой из Ниццы, к похоронам; Лизи была вдова брата Александра Альбертовича, и кроме Лизи у Веры не было никого. Она приехала в полном траурном облачении, очень шедшем ее крашеным волосам, легким, как шелк, ее милovidному лицу, на котором отпечатался след кружевом обшитой дорожной подушечки. До этого Вера видела ее всего раз. «Я вас лублу», – почему-то нравилось говорить Лизи всем и каждому: по-русски она знала всего несколько слов. «Я вас лублу», – сказала она когда-то и Вере. К похоронам Александра Альбертовича она приехала озабоченная, но по-прежнему нарядная и такая уютная, мягкая, шелковая, душистая, вся в каких-то черных перышках и стрелочках, что Вера обрадовалась ей. Лизи все знала, что нужно делать, и сколько дать на кладбище на чай, и куда положить лист, на котором должны расписаться приходящие. И когда все было кончено, она сказала Вере, чтобы та не стеснялась и выпалась, и Вера легла и спала четверо суток, просыпаясь каждый день перед вечером, и Лизи сейчас же приносила ей кофе с булочками и уговаривала спать дальше.

Тогда были сны. К концу этого сонного запоя виделся какой-то танец, который она танцевала под открытым небом в ситцевой юбке; это была визгливая полька, а по

лицу бежали слезы. Потом был тяжелый сладострастный сон, и она проснулась от собственных стонов; в пересохшем рту стоял сухой и замерзший язык, по онемевшему плечу струились грамофонные иголки.

Когда на пятый день Вера встала, она поняла, что начинается что-то совсем новое, а когда Лизи объявила ей, что от квартиры она отказалась, мебель продала, Людмилу отпустила и везет Веру в Ниццу, она с тупым блаженством в душе отказалась противоречить. Лизи решила все удивительно быстро, она сняла маленькую квартиру на окраине Парижа: одна комната – мне, другая – тебе, если мы захотим когда-нибудь вернуться... Была куплена мебель: из старого ничего нельзя было взять, все было так громоздко, так неудобно. Лизи семенила по магазинам, на дом приносились картонки, папироски курились одна за другой, какие-то приходили друзья – Вера с удивлением заметила, что большая часть знакомых у Лизи русские.

Но прошло две недели, и Лизи стала совсем родной. Ни о чем не думать было тогда Вере очень приятно. «Слушай, – сказала она однажды, – спасибо тебе за все, за все. И поедем вместе, и будем вместе жить, но цель у меня – быть от тебя независимой, и я вернусь сюда и выдумаю, что мне дальше делать».

– Хорошо, хорошо, – замахала на нее Лизи руками. Не будем ничего решать. Лучше скажи мне, кто это и куда ему посылать благодарственное письмо?

На столе лежала стопка траурных конвертов и лист с подписями бывших на похоронах. Удивительно, как Лизи все умела устроить.

На листе было подписей двадцать. Да, двадцать человек пришли проститься с Александром Альбертовичем. Была тут и Людмила, и доктор, и старая актриса, жившая внизу, и несколько французов – знакомых Лизи и Жан-Клода, и с десятков русских фамилий. Постепенно разбирали всех, и после этого разбора осталось одно неведомое имя, которое они с трудом прочли: Дашковский.

Кто такой был это Дашковский, где жил и как выглядел, ни Вера, ни Лизи не знали.

– Я никогда не слышала такой фамилии, – сказала Вера. Лизи подумала, поерошила свои завитки...

За тот месяц, что они готовились к отъезду, Верой было получено так много писем, как никогда в жизни. Сама она писала домой редко и мало, но тут пришлось написать, и в ответ пришло несколько конвертов: от отца, от матери, от Шурки Венцовой, от Полины Адлер из Берлина. Когда Вера перечитывала их одно за другим, то от слов «дорогая Вера» «милая Верка», «родная моя Верочка» ей начало казаться, что гремит какой-то хор, и делалось почему-то неловко.

Полина Адлер звала в Берлин – погостить, развлечься; Шурка Венцова требовала немедленного возвращения в Петербург, и только родители не звали ее. Почему? С некоторых пор здание на улице Гренелль населилось новыми людьми, можно было пойти туда, справить свои бумаги. Но родители словно боялись, что она вздумает это сделать. И так это и осталось.

Бывало, Вера долго молча смотрела на лицо Лизи, в румяное, круглое ее лицо, и все в Лизи ей нравилось, а главное, то, что Лизи никогда не трогала того, что лежало на дне отношений ее с Верой, на дне ее приезда в Париж. Отгрустив, отхлопотав в первую неделю, она спокойно и с тихим весельем пользовалась своим здесь пребыванием, не стыдясь того, что ей нисколько не грустно, не казня себя за свой легкомысленный характер и стараясь присутствием своим не понуждать Веру вести себя так, а не иначе. И не все ли равно было, что она думает о Вере («Дурочка, у нее, кажется, и в самом деле не было любовника?»), – без лицемерия, без насилия она была рядом с ней. И Вере она нравилась все больше, и нравиться начала эта жизнь, куда увлекла ее Лизи – на время, на время, а там посмотрим. И нравиться начал этот ряд раскрытых сундуков, куда Лизи роняла пепел своих папиросок, танцуя в золотых, без задников, ту-

фельках по комнатам, даря приходившей помогать Людмиле свои прелестные платья, вышедшие из моды десять лет тому назад. А от Веры в это время, наставив паруса, надув туманные полотнища, уходили воспоминания, уходили последние годы, дни и ночи, дыхание, голос Александра Альбертовича; каким-то сладким, живым, непростительным миром заливала ей сердце эта новая жизнь; и ей нравились русские знакомые Лизи: друг покойного Жан-Клода, барон Н., с которым Лизи была на «ты», младший Масленников, прогоравший на театральной антрепризе, поденно работавший в ресторане Лукашевич и жена его, шившая корсеты. «Я вас лублу», – прокричала она им в окошко вагона и залилась смехом, и Вера, улыбаясь, махала сбоку перчаткой, пока не исчез из виду последний провожавший – высоченный, лысый, остроголовый Лукашевич.

Теперь она снова была в Париже. И не все, что произошло с ней за эти полтора года, было хорошо, не все хотелось ей вспоминать. Но разве нужно возвращаться мыслями назад, если она решила вообще никогда не возвращаться назад, если она не возвращается в Россию, и не было у нее человека, к которому она могла бы вернуться, – они уходили, они умирали, они исчезали. Может быть, в старости – если вообще будет старость – она захочет вспомнить что-нибудь из этой однообразной, и пестрой, и праздной Ниццы, но не сейчас. Продолжается кругосветное, а кто же в кругосветном вспоминает что-нибудь, кроме дня отплытия? Ее день отплытия – это Самин плашкоут, обитый зеленым мокетом, под часами в классной, старый адлеровский диван...

И Париж не был для нее возвращением. Далеко-далеко от того дома, где жил и умер вельможа XVIII века, была она сейчас, и все было другое: это утро, это одиночество, свобода, крепкий, счастливый эгоизм, какие-то планы на осень, какие-то экзамены, к которым она будет готовиться. Она вскочила, решительно перерыла чемодан, достала блокнот. «Лизи! Лизи! Все нашла в полном

порядке и в сильнейшем нафталине. Твою комнату я заперла и жить в ней не буду. Лизи! Лизи! Кланяйся всем. Особенно Феде, конечно. А про К. ничего мне не пиши и моего адреса ему не давай...»

Это было ниццкое наследство, звучавшее загадочно, но обеим понятно, грозившее завтра же или нынче ночью рассыпаться в воспоминаниях трухой. Оно напоследок еще волновало Веру чем-то мутным и делало вид, будто отрывается навсегда. И письмо ее было путаное – последний след полуторагодовой путаной жизни. В этой жизни так мучила жажда узнать, что же такое она сама и другие с ней рядом? Что такое пресная случайность, подвернувшаяся ей, над которой она наспех наклонилась, чтобы сейчас же от нее бежать? Что такое обманчивый привкус постоянства, мелькнувший и пропавший, который она не в силах была вернуть, удержать, который оглушил, ослепил ее и который она убила своим отъездом? И вот клокочет сердце от этого пробуждения, от наступающего дня, от собственной решимости, от солнца, блистающего над Парижем, от того, что без передышки, без передышки она продолжает шагать по крышам.

XX

Исшагать мир – или, по крайней мере, этот город – собиралась она давно, еще в детстве, когда смотрели Макса Линдера и было все так красиво, нарядно и недоступно, но вот она была здесь, и почему-то сначала имело цену лишь то, что напоминало другой, тот голодный, заросший травой город, из которого она была родом. Если было туманное величье реки или сиреневая, мертвая и громадная ночью площадь, то сейчас же говорила память о том, что она слишком спешила тогда, слишком кратко замирала под аркой Генерального штаба или над Зимней канавкой, или под Смольным монастырем. Но

постепенно она стала любить его – он был столько же похож на книгу, сколько на человека; в нем были улочки, где подряд шли сорок три лавки старых люстр и мебели, и были бульвары, где восемнадцать кафе, одно за другим, перебивались лишь газетными киосками. На сто франков можно было купить себе на набережной целую библиотеку – с «Исповедью» Руссо (любимой книгой «великих людей» России), «Адольфом» Бенжамена Констанана, Бодлером и Мориаком (с ужасной картинкой на обложке). Здесь можно было молиться под орган, пить запоем, собирать марки, продавать старые вещи, смотреть военные парады, учиться химии и... ничего не делать, не выходить из дому, кипятить чай и жарить яичницу. И за это-то именно она его и полюбила.

Спустя неделю по возвращении Веры в Париж у двери раздался звонок. Был ветренный день, окна в комнате и на кухне были раскрыты настежь, по ветру летали какие-то бумаги, на плите шипела яичница из четырех яиц.

Вера собиралась завтракать, резала хлеб пилой и с пилой в руке пошла к дверям. Человек, оказавшийся перед нею, совершенно ей незнакомый, стоял и улыбался.

Из кухни вылетели, гонимые новым сквозняком, лист старой газеты, пергамент из-под сыра, какой-то конверт.... Человек шагнул в прихожую, за ним грохнула дверь; он поймал конверт на лету, все улыбаясь, подал его Вере, быстро бросил взгляд на пилу, которую она не опускала, и сказал, снимая шляпу:

– Здравствуйте, Вера Юрьевна, наконец-то я вас нашел.

Он был невысок, худощав, опрятно одет. Ему было лет под шестьдесят. Он носил седую щеточку усов и похожие на эти усы густые седые подстриженные брови. Карими живыми, слишком живыми от волнения глазами он смотрел Вере в лицо, и улыбка его – в которой блестели еще очень хорошие зубы – тоже была просто следствием большого волнения.

Вера отступила немного, пристально глядя на него.

– Я – Дашковский. А вы всегда к незнакомым гостям с ножом выходите?.. Боже мой, наконец-то! И где вы столько времени пропадали? Дайте на вас взглянуть хорошенько, хорошенько, – он слегка картавил, и сам, целуя руку на ходу, вел ее в комнату, к окну, к свету. – Вам смешно? Старый дурак явился... вы не догадываетесь зачем? Да чтобы увидеть вас, только и всего. Ах, как вы на нее похожи!

Он круто повернулся спиной, что-то быстро стер с лица платком и с размаху сел на стул.

И только тогда Вера сказала: «Садитесь».

– Завтракайте, пожалуйста, завтракайте, я тоже буду, чтобы вас не стеснять, – и он сейчас же схватил корочку хлеба, посолил ее и стал старательно жевать. – Очень вкусно. – И тут он внезапно смолк, и когда снова заговорил, то уже совершенно иначе. – После похорон я зашел на вашу старую квартиру, мне дали этот адрес. Раз в месяц я приходил сюда, я был здесь четырнадцать раз. Сегодня мне сказали внизу, что вы вернулись.

– Я закрою окно, – сказала Вера, – вы, наверное, боитесь таких сумасшедших сквозняков, когда все хлопает.

«У меня вчера был один из твоих бывших женихов, – писала Вера матери на следующий день, – их ведь, кажется, было четверо? Этот велел мне распустить волосы и причесаться так, как ты когда-то причесывалась. Он много ахал, ходил вокруг меня, под конец расстроился ужасно, трогал мое лицо и так надоел мне с волосами, что я нынче утром пошла к парикмахеру и остриглась (благо теперь это модно). Он сидел очень долго, рассказывал без конца. Чем он сейчас занимается – не могу тебе сказать, кажется, в газетах пишет. Должна объявить откровенно: ты была совершенно права, папа гораздо интереснее... Подождем, не явятся ли за этим другие...» На самом деле все было не совсем так.

– Есть вещи вне, – говорил Дашковский, – как вам объяснить это? Вы все равно не поймете. Вещи вне.

– Вещи вне, – повторила она за ним со старанием.

– Они будто не от мира сего. Знаете, раньше были люди не от мира сего. Теперь таких людей нет. Но есть такие события, которые на всю жизнь, на всю жизнь; они относятся к обыкновенным фактам, как простые смертные к гениям. И что бы ни было, они не умирают. У моего приятеля (старый человек) умер ребенок, давно, еще лет тридцать тому назад, – первый ребенок. Теперь у него взрослые дети, но того он забыть не может, никак. Понимаете? Вероятно, нет. Такой бывает любовь.

Он начал есть яблоко, которого есть ему совершенно не хотелось.

– Она тогда выпадает из нашей жизни и даже из нашей судьбы. Нам делается вдруг все равно, что бы о ней сказал, например, Лермонтов. В молодости мы безумствуем, в зрелости, если она, такая, приключится, мы можем даже упустить ее, потому что мы сыты, мы устали, боимся препятствий. Но мы ранены до смерти и это знаем. Она относится к вещам, которым нет конца. Есть такие вещи. Там – душа бессмертна или нет, еще неизвестно, а вот это бессмертно. Бесконечно, беззакатно.

– А дружба? А жалость? – спросила она быстро. Он подумал.

– Тоже, вероятно. У меня не было... А теперь еще, еще напустите на лоб, вот так, а над ушами подберите. Дайте, я сам причешу вас. Не верьте, когда вам скажут, что отвергнутый любовник вспоминает добрый ее нрав или веселый характер. Воспоминания становятся такими чувственными: вот эту прядь над виском, тугую грудь ее, ноги – вот что мы вспоминаем. Тепло, которое шло от ее прохладного тела.

Вера отодвинулась в сторону от него, но глаз не опустила.

– Я вернулся в Петербург через пять лет после ее замужества, – говорил Дашковский: он отодвинул прибор и, прихватив с собой пепельницу, пересел в кресло. – Вам тогда, вероятно, было года три. Теперь слушайте ме-

ня внимательно: я знал, что вашего отца нет дома, я позвонил. Прислуга сказала мне, чтобы я прошел в столовую, – по-моему, это была единственная, так сказать, «парадная» комната, вы жили довольно бедно. В столовой мне показалось темновато. Если не ошибаюсь, слева стоял буфет, а справа у окна еще какой-то стол.

Вообразите себе, я стоял почему-то в пальто, в руках держал котелок. Она шорхнула в дверях платьем, вошла. Вы, конечно, никогда не обращали внимания на чудесный, на нежный очерк ее лица. Она покраснела и в первую минуту готова была улыбнуться, протянуть мне руку, усадить меня. Она готова была на всякие там милые жесты. Но мой вид навел на нее подозрения, и она вдруг испугалась. Все-таки, хотя и дрожащими губами, но она ответила мне, что счастлива; она имела полное право не отвечать на дерзкий вопрос и, как в театре, вытянув палец, указать на дверь; но девическое осталось в ней, останется до старости, в вас его совсем не заметно. И вообще – что вы понимаете! Губы у нее дрожали, глаза блестя... какими слезами? Доброты, конечно, доброты! Она попросила меня уйти, как просят закадычного, верного друга о какой-то услуге и еще говорят ему на всякий случай: «Не сердитесь, пожалуйста».

Но я не уходил и вдруг начал ее умолять. Никогда никого не нужно умолять. Но тогда я не рассуждал, я предлагал ей ехать за границу, захватив с собою вас. Я был богатый человек, Вера Юрьевна. Но она сказала: «Ради Бога, уйдите, уйдите сейчас же отсюда вон. Я не хочу вас ни видеть, ни слушать...» Не смотрите на меня так, смотрите подобнее. Дайте мне вашу руку.

Но Вера не дала ему руки и тоже пересела со стула в кресло, бок о бок с ним.

– Одна вещь вас удивит, Вера Юрьевна, когда вы придете к нам, – продолжал Дашковский. – «К нам» – потому что я женат. Я женился во время войны. Могилев, госпиталь, сестра милосердия; у нее были такие мягкие локти, которыми она все отстранялась от меня. Что-то

очень благоразумное в глазах (осталось до сих пор). Одна вещь вас удивит: она чем-то похожа. Совсем, совсем не то, конечно, но что-то есть... Когда мне сказали, что вы в Париже (у вас тогда только что умер муж), я пошел посмотреть на вас, я даже расписался. Я очень обрадовался, следя за вами. И мне казалось, что дама, которая была около вас, в черных тюлевых перчатках с серебряными ногтями, меня заметила.

– Нет, Лизи вас не заметила.

Дашковский замолчал и продолжал курить; курил он почти без перерыва, от одной папиросы к другой, и в комнате стоял в несколько плоскостей неподвижный дым.

«Еще, еще, говорите дальше», – хотелось сказать Вере, но она боялась выдать свое любопытство – не в отношении минувших его чувств к ее матери, а в отношении того огромного – по сравнению с ее – опыта любви и страдания, который был у него и которого у нее не было. В том, что он говорил, безотносительно к тому, касалось ли это ее матери или нет, она ловила ей нужное, отвечавшее каким-то ее сокровенным и ей самой еще неясным мыслям, все время боясь, что он в ее напряженности, под которой она скрывала свою жадность, увидит что-то детское; но одновременно ей не хотелось и того, чтобы он принял ее за вполне взрослую, бывалую женщину, какой она не была.

– Я задам вам один вопрос, – сказала она. – Вашей женой, мной немножко, наверное, другими – все эти годы – вы заменили ее, вы ее нашли (и потеряли тем самым). Так что же осталось?

– Страдание, – сказал он просто, – сознание, что человек не ракушка, не птичка и что никого никем заменить нельзя.

– Зачем же вы пришли смотреть на меня?

– Так. Как мухи летают. Вы не можете себе представить, какое это для меня наслаждение. Не смейте трогать волос! Посидите еще так.

Она опустила руки.

– Ну а если бы вы увидели ее сейчас? Хотите, я покажу вам ее фотографию? Она почти седая.

– Покажите. Седая?.. Бедная вы девочка! – и Вере показалось, что он сказал «бедная дурочка». – Вы думаете, молодость что-нибудь значит? Вы, может быть, гордитесь, что молоды? Конечно, это было бы естественно, я не обольщаюсь насчет вашего ума. Но разве молодость кого-нибудь когда-нибудь покоряла? От чего-нибудь удерживала? Есть такие вещи, за которые всю вашу молодость отдать не жалко. Вы что, рассердились?

Она вскочила, ломая в пальцах спичечный коробок.

– Какие вещи? – спросила она жадно из угла комнаты.

– Простите, не буду больше. Я только хотел сказать, что все искры, все так называемые безумные минуты в зрелости уже не нужны; хочется длиться... Вы слышали когда-нибудь такое слово, голубушка? Длится. Запомните его. Хочется только одного: прочности, уверенности, что счастье, которое сегодня со мной, будет со мною и завтра, и послезавтра. Хочется, чтобы та, которая со мной рядом (или вовне), была бы навеки моя, безраздельно моя, наяву и во сне моя, и пусть так, как хочу этого я, хочет этого и она. Разве молодость этого ищет?

Вера стояла, скрестив руки на груди, и не смотрела на Дашковского. Она боялась прервать его.

– А себе вы оставьте афоризмы касательно измен, ревности, страсти и прочего, – сказал он, уминая в пепельнице очередной окурок. – Кидайтесь во что хотите, куда хотите, к кому хотите.

Он поднял глаза: она смотрела на него.

– Или сидите смирно, ждите своей участи.

– Нет, пожалуйста, перестаньте так говорить со мной. – Она перевела дыхание. – Скажите, если можете, взаправду, что мне делать?

Он не спеша встал, сунул руки в карманы, поднял плечи и отошел еще дальше, в дальний угол комнаты, и оттуда сказал, с чем-то стариковским, грустным в лице:

– Стареть.

Она готова была сорвать у него с губ это слово. По диагонали через всю комнату она смотрела ему в глаза. «Еще, еще», – хотелось ей просить его, чтобы он объяснил ей, научил ее.

– Вы только не уходите, – пробормотала она, – подождите. Еще рано...

Они одновременно посмотрели в окошко. В дыму они двигались по комнате, как под водой. Дым клубами вился над ними от каждого их шага. За окном воздух начал тускнеть. Облако плыло на них, сперва розовое, потом багровое, плыло и не могло проплыть, пока не погасло. Потом по холмам, видимым далеко-далеко, побежали огни, глубже и гуще стало небо. Они ходили по комнате, бесцельно и долго, не мешая друг другу и не задевая мебели, которой было немного. Дашковский говорил, и Вере казалось, что она наклонилась над ручьем, бегущим мимо ее лица, и губами зачерпывает его жгучую прохладу. Она слушала. О чем говорил он? О любви, об утраченном счастье, о незаменимости, о воспоминаниях, о власти одного человека над другим, об ушедших годах. Он говорил теперь без прежнего враждебного к ней снихождения. Он сидел опять в кресле, с чашкой чая в руке, перевалив через долгие часы беспмятного разговора, возвращаясь минутами опять к тому, за чем, собственно, пришел.

– ...вот здесь что-то подле рта и вокруг лба; но взгляд совсем чужой, теперь я вижу, взгляд у вас не тот, и руки совсем незнакомые. – И он, поймав эти незнакомые руки, рассматривал их и отводил от себя.

Когда Дашковский погасил последнюю папиросу и встал, в комнате ничего не было видно от дыма и мрака. Дашковский вынул из жилетного кармана старые часы: семь часов.

– Следующий раз, когда я приду, – сказал он, выходя в прихожую, где Вера зажгла свет, – надо будет поставить будильник, чтобы это продолжалось не так долго. – Она

с усилием улыбнулась. – В следующий раз не я, а вы скажете мне о себе всякие интересные вещи.

Она кивнула в знак согласия. Никаких интересных вещей она не могла ему рассказать – ее жизнь показалась ей сейчас цепью случайных и совсем не ярких ошибок. Может быть, что-то и несла она в себе, что было похоже на «вне» Дашковского, но такое маленькое, безымянное, какое-то зернышко, похожее на веснушку на носу у Сама, на слезу Александра Альбертовича, – его можно только прятать, рассказать о нем нельзя. Рассказать – прежде всего было бы очень длинно, надо было бы назвать тогда одну фамилию – не через «о», через «а»... Она закрыла за Дашковским дверь, постояла немного, потом вернулась к окну и, так и не отворив его, села перед ним в темноте, смотрела на давно почему-то не виданные, какие-то забытые звезды и думала, сложив на коленях руки.

И что-то сквозь всю ее разбушевавшуюся душу поднималось в ней медленно и успокоительно. Это было сознание, что она уже не была тем голодным существом, которое задрожало когда-то от безрадостного чувства к Александру Альбертовичу; она за эти последние месяцы успела грубо, наспех, но насытиться – плохо она это сделала, при возвращении к этому что-то начинало в ней ныть; но кое-как она насытилась, и теперь у нее была возможность перевести дух, что-то обдумать, решить...

XXI

Поздно вечером в тот день к Вере зашла Людмила. Она выкинула из пепельниц окурки, проветрила комнату и сказала, что не советует связываться с женатым. Вера спокойно выслушала ее разговор. Через три дня он повторился снова; еще через три Людмила прямо спросила: был ли Дашковский, и Вера ответила, что не был, но что прислал письмо, приглашение на послезавтра.

– Что же, пойдете?

– Пойду.

– Стар он для вас.

– Да у меня же с ним не роман! Он меня чуть душой не обозвал при первом знакомстве.

Людмила усмехнулась. В смехе ее теперь было что-то уж очень невеселое: он обнажал ее черные, беззубые десны.

– Тем хуже для вас. Удивительно, как вы всегда позволяете себе на голову садиться.

На Веру напал внезапно беспричинный смех.

– Я вас уверяю, что вы бы ему понравились гораздо больше меня.

В этот день Вера была в веселом настроении, в этот день пришло письмо от Лизи.

Читая его, Вера заметила в себе отчетливое нежелание вернуться к Лизи: все было чудесно там, на милом юге, а Вере – вот подите же! – не хотелось возвращаться, и, заметив это, она обрадовалась. Да, ей было все равно, кто и что велел ей передать и что излагала ей в письме сама Лизи. И даже приписка ее: «О К., как ты просила, ничего тебе не пишу» – не рассердила Веру, но тоже развеселила. В этот день она занялась всевозможными домашними делами, до вечера ходила в фартуке, повязав голову платком, перед сном выкупалась, а когда легла, почувствовала, что не хочет и не может уснуть. И впервые, в тишине и мраке ночи, она ощутила, как она сейчас высоко над землей (на седьмом этаже), в каких она сейчас тучах. Шла гроза.

Гроза шла издалёка, с востока, с северо-востока, оттуда, где она когда-то уже шумела над Верой. Обшитая тесом дача озарялась тогда, будто мгновенно вздрагивала, – если спуститься в сад и оттуда, спрятавшись, смотреть, что было однажды сделано, чтобы испытать собственную смелость. Сперва по небу катились с грохотом, как по твердому, чугунные шары, потом оглушительно трепетали листы железа, и, наконец, кто-то рвал в тучах по-

лотнища гигантского мадаполама. И опять вздрагивал дом в свету, и убивало кого-то, едущего трусцой по дороге, в полях, и раскалывало осину – почему-то именно вот эту, а не ту и не ту.

Гроза шла на Париж прямо из-под петербургских лесов, где, наверное, еще – трудно в это поверить – целый, невредимый, обшитый тесом, стоит старый дом с расшатанными перилами балкона.

Но было в этих небесных разрывах, в неполноте звука, в разрозненных и уж слишком кратких молниях что-то южное, что-то иное, напоминающее одновременно и берег Средиземного моря, короткие и толстые магнолии в саду Лизиной виллы, стоявшей на краю города, близ дороги, мчавшейся в Болье.

Окна там запирались заблаговременно, и душный воздух, истомившийся за день, оставался в комнатах, в то время как над морем и городом бушевал свежий ветер, проливался прохладный душистый дождь. Гроза там катилась не по тишине, а по немолчному рокоту моря, по шелесту автомобилей по шелковой дороге, по собственному непрерывному эху где-то в горах. И эхо, и шелест, и рокот все продолжались, когда стихал гром, и Вера широко открывала окна.

– Здесь у нас душно, как в подводной лодке, – говорила она, и с магнолий и рододендронов летело в комнаты дыхание, которым нельзя было досыта наддышаться. И однажды, именно в такой дождь, только что стихли молнии, Вера увидела знакомую фигуру, бегущую по улице с поднятым воротником. Она сбежала в сад, отперла калитку, ее обдало порывом почти холодного ливня. Карелов молча побежал по саду за ней, в дом, с него текли потоки, настоящие потоки, будто его только что обдали из ведра.

– Не могу же я, – бормотал он, срывая налипший на спину и на руки пиджак, – не могу же я в самом деле ходить с зонтиком!..

Было ясно, бесспорно – и не надо бы об этом говорить, потому что это слишком больно: она была создана

без своего отражения, о котором когда-то мечталось. Какой она была глупой! Не дай Бог воротиться в то состояние ничегоневедения и оболыщения. Жизнь больше всего похожа на воду, струящуюся между пальцами, и вообще не все ли равно, на что она похожа? Она знала навеки, что в жизни этой, в грубой, плоской, нищевой жизни ей встретилось совершенство – такой удивительный человек, на которого весело было смотреть: не Шекспир, не Бетховен, не Рембрандт, а совершенство человеческого существа, с правильным черепом и целыми зубами, и если через тысячу лет найдут его череп, его длинный и узкий скелет, то о нашей исчезнувшей расе будут высокого мнения.

Дождь струился с него на паркет, он смеялся, полотенцем вытирая руки и волосы; а Вера запирала за ним дверь и бежала к окнам – словно он был птицей и мог вылететь. «Нагнитесь!» – сказала она: к затылку его пристал мокрый лист, а все только для того, чтобы понюхать, не пахнет ли он мальчишкой, воробьем, – да, он пахнул немножко Самом, этот взрослый, тридцатилетний человек. Он не ее. Она совсем одна. Оборвалось все, что тянула она за собою раньше, где-то еще между Штеттином и Парижем оборвалось оно – за то, что она всех любила, всему радовалась и никого не предпочитала. И теперь она стоит перед человеком, и у нее нет ничего, кроме какого-то странного восторга перед каждым его жестом – из этого восторга всякая на ее месте сделала бы счастье (в зверином тепле, в звериной полутьме), а она – нет. Может быть, потому, что не надо быть храброй, не надо быть сильной, самоуверенной, крепкой? Блаженны... Нет, она никак не вспомнит этот евангельский стих, и некого спросить – какие все безбожники кругом! И совершенство мое – безбожное тоже.

– Эй, где вы там? Смотрите, я нашла сиреневое счастье.

– Где? Где? Дайте его собачке – пусть она его съест...

Вера села на постели и зажгла свет. Все было тихо, гроза давно кончилась. «И не убила меня, – насмешливо сказала себе Вера, – хоть я и на седьмом этаже». И вдруг она ясно представила себе, как в электрический счетчик, висящий в прихожей, бьет молния, бежит по проводам и, из этой маленькой круглой лампы, с ночного столика, убивает ее. И тогда наступает тьма.

И в это мгновенье рушится все: и старая дача, где-то там, на севере, на северо-востоке (почему-то чудом уцелевшая до сих пор), и рододендрон в саду Лизи, и дорога в Болье, и от всего Средиземного моря не остается ни одного-единственного синего лоскутка; в это мгновенье вечной тьмы рассыпается в прах Париж с Дашковским, могила Александра Альбертовича, все, все, что только было, что прошло по сердцу, что запомнилось и что забылось, – все без остатка пропадает, проваливается все-ленная.

Но лампа под колпачком горит тепло и светло, по чистому небу бежит чистый и ясный Млечный Путь. Может быть, по небу полуночи ангел летит? Не видно, не слышно. *Рояль был весь раскрыт, и струны в нем звучали.* Это не цыганский романс, это – Фет, а Шурка Венцова пела это, как цыганский романс. И еще она пела: *Я вас ждала, а вы, вы все не шли.*

Вера вскочила с постели, остановилась босая посреди комнаты. Кто-то поднимался по лестнице (почему не на лифте?). Кто-то остановился за дверью. Сейчас зазвонит звонок. Тишина. Где-то далеко трубит рожок автомобиля. Часы под лампой отсчитывают секунды. Проходит минута. Вера не двигается, ей кажется, что она слышит из-за двери чье-то дыхание.

Ноги ее застыли, вся она от напряжения медленно холодила под рубашкой. И вдруг она услышала движение. «Нельзя же так, – подумала она, – ну представим себе, что это сумасшедший или просто пьяный, ошибся этажом, сейчас вставит ключ и увидит, что замок не тот. Нельзя же так». Но никто не трогал замка. Прошла еще

минута. И стало ясно: на лестнице нет никого. Тогда она подошла к двери, сделала над собой усилие и распахнула ее. На площадке было пусто и темно, что-то блестящее в клетке лифта.

Вера вернулась к себе, накинула халат и закурила одну из папирос, забытых Дашковским, своих у нее не было. Опять в мыслях ее замелькали строчки стихов: «Но это не стихи вовсе, это Бог знает что, вероятно, – подумала она. – *Я вас ждала с безумной жаждой счастья*». Она подошла к столу, где валялись пилка и кривые ножницы. «*Я вас ждала*, – сказала она вполголоса, и волнение перехватило ей грудь, – *а вы, вы...*» – и она вдруг всадила себе ножницы в руку у локтя. После чего она завязала руку платком и сейчас же потушила свет. «*Задуй, пока можешь задуть*».

XXII

Был двенадцатый час ночи, когда Вера вышла от Дашковских: все было в этот вечер не так, как она ожидала. Началось с того, что она сама себе не понравилась в своем новом шелковом платье, с ниткой Лизиного жемчуга вокруг шеи, остриженная и почему-то бледная. Потом ее удивило то, что Дашковские жили в центре города, на шумной улице, в маленькой, плохо проветриваемой квартире, и что была она приглашена к ним не одна – были еще гости: старый Масленников и какой-то не то литовец, не то латыш, весьма дурно говоривший по-русски. Но больше всего она была поражена женой Дашковского: она ожидала почему-то увидеть женщину молодую, похожую на ее мать самым откровенным, самым неприхотливым образом, и вдруг увидела всю в кудельках и морщинках, суетливую особу, из тех, которых в Питере в последнее время называли гражданочками, – и благоразумного в глазах ее было очень немного.

– Веру Юрьевну я знал вот такой, – говорил жене и гостям Дашковский, опуская руку до полу и кстати хватая за загривок мимо крадущегося полосатого кота. – Правда, Вера Юрьевна?

Но скоро ее оставили в покое: разговор зашел о политике, о России; выяснилось, что Дашковский совершенно свободно и вовсе не глупо говорит и об этом. Один кот дремал у него на коленях, другой бродил по чайному столу, третий терся у Вериных ног. «Сколько их у вас?» – спросила она хозяйку и в это время увидела, что еще пара желтых блестящих глаз смотрит на нее из приоткрытой двери.

В двенадцатом часу она простилась. Теперь только она заметила, как ясна и свежа эта апрельская ночь, как тихо и пустынно на улицах. Она пошла пешком. В сущности, она не знала такого Парижа, ночного, черного, в огнях. Она шла довольно долго, спрашивать дорогу ей не хотелось; чутье вело ее, и внезапно она увидела перекресток, почти площадь, до того он был широк, а в четырех углах его били седые бесшумные фонтаны.

Нельзя было поверить, что они живые, казалось, они сделаны из стекла и стоят тут не как фонтаны, а как памятники когда-то бывшим фонтанам.

Легкие железные стулья толпились под деревьями. Вера обошла их, не решившись сесть. «Завтра утром, предположим, звонок, – сказала она себе совсем робко, – приходит письмо...» Но в ту же секунду она поняла, что это невозможно именно потому, что она это себе сейчас так ясно представила. Этого не будет. Станем думать о другом. Возьмем таксомотор. Уже поздно.

Она катила мимо, мимо, и в мысли ей шли какие-то суетливые пустяки. Например, сколько людей может она позвать к себе (столько-то стульев и столько-то кресел) – она пригласит всех, кто может сказать ей, что в таких случаях, как ее, делают, как поступают. И тогда она делает как раз наоборот. Сюда сядет Людмила, напротив нее – Лизи, рядом с Лизи – призрак Шурки Венцовой

и тень Полины (о, эта тоже может порассказать!); не забыть еще актрису, которая жила когда-то по соседству, и, может быть, – чем она хуже других – жену Дашковского. Ну, мои милые, скажите теперь, что вы обо всем этом думаете, дайте совет. У каждой из вас бывало всякое, трепало вас всех здорово, выжили вы все, однако, великолепно, а вот я глупее всех и не могу... Кто из вас страдал с мужем, а кто – с любовником, одна – с мальчишкой моложе нее вдвое, другая ревновала к хорошенькой горничной, третьей всего было мало. Все вы умные, все вы хитрые. А я что буду делать?

Таксомотор остановился. Вера вышла и заплатила; пройтись еще немного, обогнуть этот пустырь, вернуться с той стороны... Не вернуться ли вообще? Не вернуться ли ко дню отплытия? Не вернуться ли к Саму? Не оказаться ли всех умней и хитрей?

Ее охватила тревога: точно она была в доме, где начинается пожар, точно на земле начиналось землетрясение. Ей всегда казалось, когда ее било волнение, что весь мир участвует в этом, – и вот сейчас заголосят и побегут бабы от зарева прочь, кто-то начнет выбрасывать из колеблющихся стен узлы; весь город проснется и с нею вместе завопит, двинется куда-то. Весь мир – который она любила чугунной своей любовью и который все отворачивался от нее.

Но вот, предположим, он обернулся (со всеми своими звёздными небами и нравственными законами), он – совершенством своим – обернулся на нее и смотрит ей в глаза. Что она будет делать? Что скажет ему? Как возьмет его? Нет, не нужно, она не умеет. Оставьте меня. Я лучше вернусь, если есть куда. Кажется, есть.

Она даже остановилась на мгновенье. И вдруг дикий, весенний, почти сладкий ветер налетел на нее с пустыря и понесся дальше, сердце застучало вдруг таким порывом, таким чудом представилось Вере и собственное существование, и все, что делалось внутри нее, такая сила была в мысли о собственной неповторимости, что она

засмеялась внутренним смехом над собой, надо всем, даже над тем, что это, наверное, где-то просто что-нибудь расцвело и потому так хорошо пахнет.

Все еще радуясь неизвестно чему и выметая из воображения своего все тени, все призраки, она позвонила, вошла, зажгла свет и без особого шума совладала с лифтными дверцами. Медленно подплывая к верхнему этажу, она увидела черную фигуру человека у своей двери. Только какую-то ничтожную часть секунды Вера не была уверена, кто это. И сразу же будто что-то толкнуло в грудь; лифт остановился, она вышла, при полном равнодушии и неподвижности стоящего. Скука ожидания была довольно искусно изображена на его лице.

– Здравствуйте, – сказала она, и лифт тихонько потек вниз. – С приездом. Так испугать можно.

Он снял шляпу.

– Здравствуйте. Вот зашел – немножко поздно, да чтобы вернее застать.

Она перевела дух и пропустила его первым в дверь квартиры, увидела пыль на его пальто и поняла, что он давно сидит на ступеньках.

– Когда же это вы приехали?

– Дня три.

В это время из-за обшлага его пальто, которое он не совсем уверенными руками прилаживал к вешалке, выпал железнодорожный билет. Вера подняла его и зажала в руке.

– Как Лизи? – спросила она, вводя его в комнату.

– Кланяется, – коротко ответил он. Он вдруг взглянул на нее, чтобы что-то еще сказать, и лицо его мгновенно переменялось, он отступил.

– Что вы с собой сделали? Какое уродство! Вы остриглись. И что это за платье на вас? Оно вам совершенно не идет.

Но она побежала на кухню, закрыла дверь и там взглянула на свою находку. Билет был продан в Ницце вчера... Тогда она прислонилась к стене, перевела дух и закричала:

– А все находят, что мне так очень хорошо.

Она вернулась в комнату.

– Вероятно, те, с кем вы по ночам гуляете?

Она села напротив него и молча принялась на лежавшей на столе газете что-то чертить огрызком синего толстого карандаша.

– Зачем вы приехали? – спросила она, не поднимая головы.

– Я приехал по делам. Я службу получил.

– Если и это неправда...

– Нет, это правда. Можете окончательно перевести меня в разряд людей, умеющих устраивать свои дела (как в тот день, помните, когда я научил вас лепить марку на конверт). Я устроился как картограф.

Ах, тот день! Вера без смеха не могла его вспомнить. Они вышли с почты, Карелов лизнул угол конверта и прилепил марку. Она остолбенела. Она всегда бывала в нерешительности: слюнить ли палец или взять в рот клейкую марку? И вдруг все оказывалось так просто: надо было только лизнуть конверт. Она стояла, открыв рот, смотрела, как он запикивал письмо в ящик.

Теперь она смеялась, вспоминая это, и все водила карандашом.

– Не шевелитесь. Я начала нос.

– Что?

– Я начала рисовать ваш нос. Надо же что-нибудь делать, иначе я засну. Я привыкла ложиться рано.

– Послушайте, – сказал он после недоуменного молчания, – вы меня совершенно ни во что не считаете?

– Я? Я очень вас считаю. Особенно когда вы врете, вы меня вдохновляете. Спросите меня тоже о чем-нибудь.

Он думал недолго.

– Вас провожал кто-нибудь сейчас? Где вы были? С кем? Вспоминали ли обо мне? Как вспоминали? Что сейчас думаете о моем приезде? О моем приходе ночью?

Как думаете, когда я уйду? Как себе представляете завтрашний день?

– Довольно, довольно! Давайте лучше помолчим.

Она положила локти на стол и сидела долго, закрыв лицо руками. Он был напротив, он сидел через стол. Ей не нужно было смотреть на него, чтобы видеть его лицо – оно было в ней, она носила, и возила, и таскала его с собой, в себе: веселый, всегда веселый рот и задумчивые глаза, молодой, гладкий, высокий лоб и над ним – тонкая, узкая прядь седых волос. («С двадцати лет, клянусь чем хотите, – сказал он однажды, – а вовсе не от старости». И вытащил тогда же паспорт и показал: родился 8 августа 1895 года в городе Саратове. Она запомнила.)

– А еще просил вас кланяться Федя, – сказал Карелов, закуривая, – он так и сказал: поклонитесь моей Верочке. Зачем вы это сделали?

– Что именно?

– Зачем он вам был нужен?

– А! Вот вы о чем, – она вытянула руки на столе и соединила их далеко от себя. – Видите, у меня в жизни было немного чего, но все, что было, всегда начиналось необыкновенно: я дружила, я любила, я сходилась – все эти слова не совсем подходят к тому, что случалось, – с людьми, которые как-то удивительно попадались мне под ноги: в первый раз я нашла человека под деревом, он лежал в снегу... Во второй раз я ошиблась, приняла одного за другого... А Федя – это для того, чтобы доказать самой себе, что на свете все очень просто. Такие мужчины, такие женщины должны существовать и попадаться нам на дороге. С ними ничего не странно, ничего не стыдно, они ничего не помнят и не напоминают другому. Я уверена, что до меня у него был роман с Лизи, и все случилось с ее согласия.

– Наше знакомство с вами началось очень банально.

– Да. И потому хорошо.

– Что хорошо?

– Все.

Карелов долго смотрел на Веру.

– Это вы когда придумали, сейчас?

Она улыбнулась ему так, что все его лицо затрепетало.

– Нет, я это думала всегда.

Карелов встал, и, прежде чем он сделал первый шаг в ее сторону, она встала тоже и почувствовала, что этот круглый стол станет сейчас ее обороной. Стол стоял между ними, на нем – пустая ваза желтого стекла.

– Почему, собственно, вы уехали? – спросил Карелов, дотрагиваясь рассеянно до вазы. – Ведь вы уехали от меня.

Ей захотелось кинуться к нему, прижаться щекой к его щеке, сказать ему безрассудные, бесповоротные слова, дышать его дыханием, чувствовать грудью тепло его груди, но вместо этого (так надо, так надо!) она тоже тронула рукою край желтого стекла и сказала:

– Не знаю. Мне всякий раз кажется, что тут еще живет дыхание того человека, который выдул эту штучку.

Он молча смотрел ей в глаза, и она чувствовала, как через короткие промежутки времени – пять-шесть ударов сердца – глаза его опускаются все глубже в ее глаза, и еще, и еще, и вот сейчас он дойдет до дна, если оно только есть...

«Когда он опрокинет этот стол и эту вазу, – думала она краем мысли, – будет ужасный грохот».

Карелов все смотрел, внезапно он одной рукой взялся за край стола, другой схватил Веру за руку. Раздался звон разбитого стекла.

– Вы разбили штучку с дыханием, – сказала она, силясь улыбнуться, но лицо ее не послушалось, и она вырвала руку.

XXIII

Она слишком много в жизни кидалась – от счастья, от жалости, от любопытства, от молодости... Теперь до-

вольно. Вырваться отсюда и тихонько за дверью поблагодарить Бога за то, что она уже больше не тот голодный, дикий, одинокий ребенок, такая некрасивая толстая девочка, ничем не болеющая, всему радующаяся... За то, что в нужный момент (почему нужный?) неизвестно откуда, из каких-то животных ее корней, вырастает в ней знание, что делать, как поступать, как вырвать руку из руки Карелова – милой грубой руки его, что ему сказать.

– Теперь прощайте, спокойной ночи. Вот ваше пальто, вот шляпа.

Он берет и то и другое под мышку, останавливается перед запертой дверью в Лизину комнату.

– Кто здесь живет?

– Здесь стоят вещи Лизи.

– Покажите.

Она отпирает дверь.

Холодно пахнет нафталином, в потолке горит лампочка. Все укрыто чехлами, окно занавешено простыней. Большой кованый сундук с горбатой крышкой стоит посреди комнаты. Вера садится на него.

Карелов стоит перед ней какой-то ошеломленный, он не садится с ней рядом, он продолжает стоять и вдруг говорит:

– Мне хочется быть счастливым. Мне хочется ни в чем не сомневаться, не стыдиться за то, что мне лучше всех на свете, не казниться за то, что другим плохо. Я хочу счастья. Чтобы в первых словах моей встречи с вами не было уже заключено будущее прощание. Я хочу не «покоя», не «воли», я хочу самого счастья.

Он медленно приблизился к ней, не с давешним порывом, а так спокойно, так просто, как будто все, с начала их знакомства до самой их смерти, должно было быть банальным. Он сбросил на пол пальто и шляпу, положил обе руки ей на плечи – легко и свободно, не сжимая их, не тяготя ее объятием. Она подняла к его лицу свое лицо с полными чувства глазами и плотно закрытым ртом.

Он медленно провел своим лицом по ее лицу. Он не целовал ее. Еще раз, еще. Потом, когда она ослабела в его руках, он перегнул ее назад, так, что голова ее свесилась и волосы коснулись пола, а тело неподвижно лежало поперек горбатого сундука. Будто забавляясь ее гибкостью, он нагнулся над ней и поцеловал ее. Она закрыла глаза. Он выпустил ее сейчас же, поднял с пола пальто и шляпу и, хлопнув входной дверью на весь спящий дом, побежал по лестнице. Она вскочила за ним, добежала до двери умолять его вернуться, если надо – крикнуть, обещать ему все, что он хочет, чего хочет она сама: не «покою», не «воли» – счастья, самого настоящего, невозможного. Она добежала до двери и вдруг остановилась: ей опять, как тогда, показалось, что Карелов поднимается к ней по лестнице, и она поняла, что его надо не пустить.

Почему она это понимала и что обо всем этом знала? Когда случилось с ней это обновление и уверенность, что «если мир обернется лицом» (своим совершенством), не надо брать его, не надо решать, как именно брать, а надо не даваться ему, устраняться от него, сопротивляться ровно столько, сколько нужно, чтобы еще лучше и крепче быть взятой им? Не кидаться с голодными дрожащими глазами, когда сердце разрывается от любви ко всем, но равнодушно смотреть мимо, молчать, притворяться – может быть, всего один-единственный вечер, – но обороняться, вот чему научилась она, чего достигла маленьким своим опытом.

Она теперь стояла у окна. Небо было похоже на темную воду с облачно-лунными неподвижными разводами. Она не знала, что сказать и кому сказать и что сделать с собой. Мысль о том, что Карелов приехал, что он приехал к ней, что он любит ее, что она накануне неизвестного, чудовищного блаженства, которое следует непременно оттянуть – и тем самым приблизить и упрочить, – мысль эта занимала сейчас всю ее, шевелилась

в ней, почти ощутимо жила и трепетала. И все соединялось сейчас – непостижимо, неразложимо, все, что было в ней разъединено до сих пор: словно северные боги неслись навстречу южным богам – все соединялось и падало друг в друга. Все шепоты, все неповторимые разговоры у Громовской биржи в шестнадцать лет, когда тряслась под ней земля, и дикое, голодное желание верности и доброты, которое ее бросило под ноги Александру Альбертовичу, и веселое, пустое счастье, которое иногда мелькало в объятиях Феди, и даже тот темный, новогодний час в Шуркиной квартире – всему этому теперь шло разрешение и утешение, все это находило себе место в ее любви к Карелову. И вместе со всем этим – как никогда прежде – воскресало сознание не уходящего, не ускользающего, а присутствующего и длящегося счастья.

А небо тянулось без конца, опрокинутое тьмою над городом. И город не был бедой, крестом, данным людям, а тем же самым кружевом, что и облака. Далекий свист поезда прорезал воздух, казалось, сейчас будет слышно, как застучат колеса, как пройдут вагоны... куда? Ну, конечно, на юг, но не в Ниццу, а дальше, в Италию, может быть, в Сицилию, может быть, туда, где Гектор Сервадак откололся с куском земли и понесся со свистом в пространство. У Жюль Верна.

И вот они поедут с Кареловым куда-нибудь, конечно, недалеко и третьим классом, так что будут нить лопатки от сидения на жестком. Будет холодное утро, но они откроют окно. И это будет не юг, а север. А где-нибудь, где лед... Чтобы вместе стоять и смотреть – на ветру, на жгущем горло ветру, – как идут друг по другу льдины. Сильный ветер будет швырять ей в лицо пряди этих стриженных волос.

Мелкий дождь моросил по утру, когда Вера проснулась. И ничего больше не было видно с ее капитанского мостика – только одна густая, влажная весенняя дождевая вуаль.

XXIV

Вера никогда никого не спрашивала: кто такой Карелов, откуда он, что делает, как живет? Она знала о нем только то небольшое, что он сам о себе рассказал. В Ницце его мало кто знал, он не принадлежал к тому кружку русских, который собирался у Лизи. В первый раз Вера встретилась с ним у знакомых – русских, конечно, потому что Лизи терпеть не могла французов. Впрочем, Лизи больше любила принимать у себя, а сама почти никуда не ходила, посылала вместо себя Веру, иногда даже – к удивлению ее приглашавших людей – Федю... В тот первый вечер Карелов проводил Веру до дому, а через месяц это повторилось опять. И в этот раз ей было почему-то приятно идти с ним рядом, в ногу, и даже было интересно, потому что он рассказывал что-то любопытное – но не о себе.

Тут выяснилось – когда они остановились на каком-то углу и Карелов прутиком стал чертить какие-то воображаемые линии своих путешествий (он был моряком), – тут выяснилось, что он был и в Сайгоне, и в Архангельске, и в Беринговом проливе: плавал с учебным судном вокруг света. Вера, смеясь, призналась ему, что в детстве больше всего любила пожарных и матросов: пожарных за каску, матросов за все, что о них сочинено.

Придя домой, она увидела, что Лизи, полураздетая, лежит на диване, а Федя дремлет в кресле, вытянув непомерной длины ноги (казалось, они у него начинаются под мышками) в ярких трехцветных башмаках. Он сейчас же открыл близорукие глаза – они у него были навывкате, а нос курнос и короток, как у ребенка.

Вера стала щипать виноград на блюде, а Лизи, ворча и запахиваясь, таща за собой подушку, книгу, плед, отправилась наверх. Когда ей нездоровилось, она не думала этого скрывать, всем жаловалась, не одевалась, три дня не вставала с диванов. Вера никак не могла примириться с этим: для нее такие дни всегда бывали днями

особенной уверенности в себе и обновления. Она стыдилась признаться в том, что их ждет, любить и жалеть тех, кто не ощущает их, как она.

Ночью Вера думала о Карелове.

Потом Лизи пригласила его: «Он совсем не боэма, – сказала она, – и, кажется, у него семья, жена...» Карелов пришел. Пришел также барон Н. А Федя заночевал, как бывало и раньше, и ночью поднялся к Вере – не особенно осторожно: половицы скрипели вовсю. В ту ночь он без конца рассказывал ей свои прошлые похождения; они потушили свет, и она лежала в темноте, красная, потная от волнения, слушая его рассказы.

С двенадцати лет: подруги матери, двоюродные сестры; учительница школы в Херсоне (уже с проседью), прачкина девчонка, актриса в Константинополе, подавальщица в ресторане, иностранка в поезде, ее горничная, уличная девушка в Марселе, другая, третья. Семьдесят две женщины и столько-то галстуков (три года вычесть на войну, когда ходил в гимнастерке), Монте-Карло и ниццкое дно. Она слушала. Он лежал поперек постели в шелковом халате, с толстым перстнем на изящной руке – герой какого-то модного светского романа. Ноги ее коченели, а лицо горело; она все не отпускала его, боясь остаться с этими рассказами одна. Француженки, негритянки, еврейки, русские. «Да, да, были и русские, вот вроде тебя...» Она тушила свет, она не смела смотреть в его лицо, а голос продолжал еще, еще, пока не умолкал наконец – она засыпала, а узкая рука из запрещенного когда-то романа продолжала отводить папиросу и снова приводить ее к губам, черным в темноте.

Мысли не было о том: что она ему? Он был ей ничем, только навязчивым сном, – а днем она не отличала его от стола и стула, иногда, когда он слишком шаркал ногами или ронял папиросный пепел, она кричала ему что-то сердитое, что-то на «ты», и выходило, как к брату. Иногда, особенно утром, ей делалось почему-то противно,

глядя на себя раздетую; она садилась голая в кресло и остывала от ночи...

Ни о жене, ни о дочери Карелов никогда не упоминал. И однажды (в это время Федя уже окончательно переселился к ним в дом) Вера спросила его: живет ли он с семьей или один.

– Один. Семьи у меня нет.

Этой зимой стояли на всем побережье холода, с ветром и градом, с дождем, заливавшим потоками улицы; море вздувалось и шло на берег. И вот однажды Карелов и Вера вышли на дорогу смотреть автомобильные гонки. Шел дождь – давно уже, и все было мокро. Из-за далекого поворота, где еще был город, временами доносился рев толпы, а здесь, у дороги, стояло всего несколько мокрых прохожих, несколько неподвижных зонтиков. Над колесами гоночных машин с шипением взлетали водяные смерчи, оголтелые гонщики резали воду и воздух.

– Вы не думаете, что есть люди, которым нельзя безнаказанно друг с другом встречаться? – спросил Карелов, а она все смотрела на дорогу и считала машины: седьмая, восьмая, девятая.

– Да. Наверное.

– Что-то должно произойти.

– Да.

Десятая, одиннадцатая. Двенадцатую занесло, но она выпрямилась и помчалась дальше. «Зачем он это все говорит?» – подумала она.

– Вы понимаете, когда говорят, что счастье, как воздух, его не чувствуешь? – спросил Карелов, беря ее за руку.

– Нет. Кажется, нет.

– И я нет. Я думаю, если бы у меня было счастье, я бы все время его чувствовал, я бы хотел его чувствовать. Я бы никогда не согласился к нему привыкнуть.

– А оно у вас было? – спросила она и вдруг зашагала к дому.

– Ну конечно, нет, – сказал Карелов, идя за ней, и с диким жужжаньем мотора промчался еще один гоночный автомобиль.

– Я чувствую счастье иногда, как удушье, – сказала она у самого дома. – Но главный секрет... – Он остановился.

– Главный секрет, это понять, что одна я на свете незаменима, а все остальное можно подтасовать.

Она пошла по саду, в гору.

– Это не так, – сказал он.

Она сделала движение рукой, не оглядываясь.

– Это не так! – настойчиво, с силой повторил он. Но она скрылась в доме.

В тишине нижнего этажа было слышно, как Лизи листает в гостиной страницы модного журнала, разговаривает с черненьким своим шпирцем. Вера прошла к себе и в раннем комнатном сумраке стала расчесывать волосы. Что-то затрещало под гребнем, и искры с сухим коротким звуком посыпались во все стороны.

Федя уже сидел на подоконнике, и широкие его брюки хлестали по худым качающимся ногам. Федино присутствие, само его существование показалось ей в эту минуту бессмыслицей. И все, что было между ними, было вовсе не так уж весело и мило – сейчас ей кое-что показалось в этой близости тоскливым и отвратительным. А ночью ее дверь оказалась запертой. Федя пошумел в коридоре и съехал вниз на перилах, посвистывая.

Молчание. Долгое молчанье. И потом решение – ехать в Париж: «Не сердись, Лизи. Федечка, хотите со мной перейти на “вы”? Так никто не делает, а мы сделаем. Прощайте, Федечка. До свидания, барон. (Лизи, а ведь ты за барона замуж выйдешь, я это чувствую.) Ох, в Париже сейчас, наверное, очень гадко».

Так отрезался кусок Веринной судьбы. Участвовали в этом два чемодана, зонтик, кулек с персиками, оберкондуктор под окном, дама с собачкой, сидящая напротив: сообщники Веринного бегства от Карелова.

XXV

Он был здесь, в том же городе, на той же улице, что и она, и к этому она довольно долго не могла привыкнуть. Он приходил, она открывала ему; на завтрак непременно бывали сардинки, которые она откручивала длинным ключом, всякий раз удивляясь, почему в это время не играет музыка, как в музыкальной шкатулке. И за завтраком ею делались маленькие странные открытия касательно той радости, которую доставляло ей его присутствие: прежде всего ей необыкновенно чудно делалось на сердце, когда она смотрела, как он ест. Почему? Во всяком случае, готовить она не умела, и это не было от хозяйственной гордости за купленные в лавке сардинки. И ничего материнского тоже не было в этом чувстве: мысль о пользе съедаемого никогда не приходила ей в голову. Ей нравилось смотреть, как он кладет себе в рот кусок самого обыкновенного бифштекса, как жует его, как глотает. «Вы голодны?» – кричала она ему, как только он входил. «Ужасно», – отвечал он, и от радости она теряла голову. И все, что он делал и говорил, было такое милое и обыкновенное; но и она была обыкновенная, и все, что было с ней, было тоже обыкновенным, – необыкновенное, может быть, было отложено кем-то (не ею ли самою?) на после, на какие-то грядущие сумерки, а сейчас жизнь шла просто, как сердце стучит.

Потом ей нравилось – и это было так глупо и смешно, что она, вероятно, никому бы в этом не призналась, – мыть его тарелку, его нож и вилку и почему-то особенно – его ложку. А чашку его, из которой он пил чай, она оставляла на потом, и когда он уходил, сама пила из нее чай. Однажды от его телячьей отбивной котлеты осталась кость, и Вера поцеловала ее, прежде чем выбросить.

И еще, однажды у него за едой выпала из зуба пломба, и он попросил позволения пойти в ванную и выполоскать рот. Она слушала, затихнув, как он полощет зу-

бы и выплевывает воду, и когда он вернулся, она сказала, что... Впрочем, она ничего не сказала, а только хотела сказать, что готова слушать его вечно.

Он приходил ежедневно. Он сказал ей правду: он устроился в Париже на службу в картографическом заведении – не хуже и не лучше многих других. И вообще он был, как все. Веру это очень радовало, она тоже была, как все, она была «никто», и теперь их сближение тоже было не каким-нибудь особенным, а обыкновенным: он приходил завтракать, потом в шесть часов, когда он кончал работу, она приезжала за ним, и вечером, провожая ее домой, он поднимался и оставался, пока она не ложилась.

Чем ближе и теснее подходил он к ней, тем яснее она видела, что последняя с ним близость будет единственным возможным завершением того, что началось при первой встрече, что все, что волновало ее при мысли о нем или при нем самом, все это той же природы, как и телесная ему принадлежность. Он торопился, она оттягивала этот обреченный час – каждый вечер приближал ее к нему, и она сопротивлялась уже из бессознательного желания не утрапливать судьбы, пока с оглушительным сердцебиением, в полуобмороке, с долгим ознобом блаженства не стала его.

В прихожей горел свет, здесь, в комнате, в полумраке, на кресле лежала одежда, штора надувалась и опадала в окне; Карелов лежал на боку, подпершись рукой, она смотрела на его веселый рот и иногда трогала слабыми пальцами его губы, его шею. Обоим хотелось молчать. Она не видела своего лица, но его лицо было до такой степени необычно, так светилось оно в сумраке, что казалось, что оно само излучает бледный, живой, еще не открытый физиками свет.

И было в этом лице («А значит, и в моем лице», – думала Вера) что-то совсем новое, что-то никогда до сих пор не появлявшееся и впервые Верой вообще увиденное в человеческом лице – было выражение рабской

принадлежности ей, полной в ней растворенности, окончательной преданности. «Почему он так смотрит? Ведь он хозяин всего, а я только раба его, – думала Вера. – Ведь он и сам знает, что повелевает он, а покоряюсь я, почему же он может на меня так покорно смотреть, при такой власти?»

Но Карелов не менял выражения своего лица и все продолжал смотреть на Веру и думать это же самое: почему, когда она хозяйка всего и распорядительница его жизни, когда все, что есть, – от нее, через нее, из нее, она смотрит так рабски в его глаза? Почему? Словно ждет, ловит его мысль, каждое его душевное движение, когда все мысли, все душевные движения – она сама.

Они не могли сказать друг другу об этом и не знали, что думают об одном и том же, но обоим удивляло, смущало и радовало это соединение страшной силы – человека над человеком – со слабостью, этой власти и этой покорности.

Потом она откинулась от него, и от полноты возникшего в ней волнения несколько слез выпало у нее из глаз. И сразу после этого наступила почти озорная веселость, босыми стройными ногами протопала она в кухню и выжала два апельсина в стакан. Потом был хохот, искание спичек по столам и карманам, папиросный дымок, понесшийся в прихожую, к свету. Опять объятие – долгое, полное шепота. И, наконец, сон.

В первый раз в жизни – да, в первый раз! – она была не одна, и не потому, что рядом лежал кто-то, кто был с ней во все тесно бегущие мгновения, а потому, что тот, мельком брошенный когда-то взгляд извне на мир – лежащий по другую сторону чего-то, как бы напротив нее, запомнившийся торжественный и чудный миг на рассвете, сейчас был ей возвращен – и уже не на минуту, не на две, а на целую жизнь. В этом соединении с этой вселенной, перелившейся в нее, было все, что можно и чего нельзя вообразить: что-то бессмертное и грустное зараз, что-то обреченное и счастливое, как

сама молодость. Она не одна была в объятиях Карелова – теперь с ней была вселенная, которая любила его вместе с ней.

– Скорее свет! – сказала она, чтобы еще увидеть его лицо, совпасть воображением с действительностью. – Я не знаю, почему мне страшно тебя. Именно тебя. Но как же я люблю тебя!

И это было окончательной ее мыслью.

«И это все мне, мне одной. Вся жизнь моя – мне, и он мне, и вообще – сколько всего кругом!» – думала Вера, идя рядом с Кареловым однажды вечером по улице и чувствуя, что сегодня – вот сейчас – начнется разговор, который Карелов несколько раз откладывал и который несколько ее не беспокоит, потому что никакая сила в мире не может сделать ее счастливее, чем она есть. Они были недалеко от дома, шли по краю города, где мостовая была разрыта, где иногда – в теплый вечерний воздух – дышал холодом недостроенный дом.

Они сели за круглый столик на террасе маленького кафе. И Карелов, положив руку ей на обе руки, заговорил – чуть скорее и тише, чем обычно.

Да, он был женат. Разве сама она не сказала когда-то: «Такие женщины, такие мужчины должны существовать»? Это и было такое, пропавшее через три месяца совместной жизни чувство. Лет восемь тому назад. Она была молоденькой девушкой, похожей на цыганку; сейчас она... Впрочем, он не видел ее больше двух лет; не видел дочери, которую она увезла с собой. Вера смотрела на женщин, шедших мимо.

– Помните белые ночи? – спросила она.

– Конечно.

– Хорошо было говорить в белые ночи.

Женщины шли разные – старые и молодые, одинокие или под руку с мужчинами (у всех мужчин с некоторых пор для Веры были либо зверские, либо бараньи лица); и Вере казалось, что ни любопытства, ни ненависти, ни жалости она не чувствует к матери кареловской дочки,

что она куда-то ушла от человеческих естественных чувств к себе подобным.

– Вы любили ее? Какая она была?

– Взбалмошная. Писала мне письма, сумасшедшие письма. Писала их еще тогда, когда мы вместе жили. Я покажу вам.

– Не надо. Не хочу... А девочка какая была?

– Девочка... Да вот вроде той, что бежит. Умная, дерзкая. Хоть с полицией, а разыщу их, найду. Деньги послал по старому адресу, но деньги вернулись. Найду дочку – покажу вам. Хотите?

– Не знаю, – отвечала она искренне.

– У жены любовники были. С одним она и ушла. Я его встречал потом, она и от него ушла.

– Но это была ваша дочка?

– Да, тогда это была моя дочка.

«Неужели и это кончится, – думала Вера, – и он будет сидеть так в каком-нибудь городе, с картонной декорацией заходящего солнца за спиной, и рассказывать обо мне, и слова будут шуршать, как прошлогодние листья, как старая бумага в ящике стола, как шуршит – мертво и скучно для меня – все его прошлое с другой».

– Что же осталось? – спросила она и посмотрела туда, где низко, в темнеющем небе, бледная и большая, задрожала звезда.

– Обида. И немножко на совести что-то. И неисправные документы.

– Ах, вот что! Так не думайте больше об этом. («Не надо обращать в его сторону нахмуренного лица, даже самых малых душевных сил нельзя тратить на что-то, что не сама любовь», – думала она.)

Они пошли по улицам, нарочно делая какие-то петли и круги, чтобы еще подышать этим вечером, который обещал стать звездным и чистым, и у Карелова было такое чувство, будто они сегодня вместе перешагнули через что-то, что еще лежало между ними, – так дружно перешагнули, так крепко держась за руки и так после

этого товарищески верно и беззаветно взглянули друг другу в глаза. А то, что было до этого у обоих, уносилось, пропадало, очищалось со всей разрушительной силой, на которую только способна человеческая память, оно рассыпалось, и будущее вилось над ними, как этот Млечный Путь, похожий на обрубок человеческого торса. И внезапно какой-то темный угол озарился в Веринных воспоминаниях: она когда-то не могла припомнить одного евангельского стиха, который брезжил и не давался мыслям, а Евангелия у нее не было. В день выпуска, в то вольнолюбивое время, не зная, что с ним делать, она отдала его Шлейфер (православным ученицам было оно роздано в голубеньком картонном переплете). С тех пор Евангелия у нее не было. Сейчас не весь стих, но смысл его с отчетливой ясностью, с какой-то счастливой болью припомнился ей: *Блаженны...* Блаженны все: и жаждущие, и кроткие, и нищие, и я, и он, и все. Блаженны... Господи, до чего это хорошо!

– У вас есть дома Евангелие? – спросила она Карелова. – Мне хочется там кое-что посмотреть.

– Евангелие? Кажется, есть. Только очень рваное.

Она подождала у двери его дома, и он снес вниз целый чемодан: книг, писем, белья, старых сапог – словом, полного своего бродячего хозяйства. И они долго разбирались в нем в ту ночь, и так как у нее в квартире не было каминов, то письма они жгли в плите, не разрывая, не комкая их, но аккуратно кладя по два, по три в огонь. Оба сидели на полу, и в его простодушии было что-то, что пугало и поражало Веру. Выходило так, что она, не раскрывшая своих ящичков и ничего не сжегшая, была скупее его.

– У меня есть одно письмо, – сказала она осторожно, – я думаю, его лучше сохранить. Там сказано про жизнь, что это... Очень грубо сказано. Отчаянное письмо.

И про тебя там сказано, приблизительно, конечно, но тоже грубо. Про тебя будущего.

- Расскажи мне все.
- Когда-нибудь.
- Нет, сейчас.
- Нет, нет. Только не сейчас. Тебе будет скучно. Это – детская история.
- Сейчас, или я суну руку в плиту.

И как всегда – этому тоже научилась она недавно, – чаще, чем когда они были в согласии, в их споре возникал тот стремительный, искажающий их лица ветер, который уводил их к поцелуям.

XXVI

Они ехали – но вовсе не туда, где сверкал в вечной своей красоте тот край земли, о котором когда-то рассказывал ей Сам и куда ей так долго хотелось уехать, – они ехали в дачном поезде за город, в одно из летних воскресений.

Поезд шел подрагивая, выбираясь из рельсовой паутины, а рядом с ним, то слегка отставая, то нагоняя его, тем же путем шел курьерский, дальний, еще не разогнавший свою скорость. И Вера видела, как в спальном вагоне первого класса аккуратный старичок, улыбаясь сам себе в белоснежную бороду, искал что-то среди серебряных пробок раскрытого несессера; как рядом с ним, в следующем отделении, молодая женщина, сидя по-турецки, курила и записывала что-то в книжку, наморщив лоб; как еще дальше господин с дамой, шатаясь и держась друг за друга, распутывали какой-то шнурок. Потом курьерский пошел быстрее, мелькнул второй класс, где тесно сидели люди, потом – третий, где склался в окне матрос, и вдруг произошло какое-то торможение (а дачный все шел себе и шел), и замелькало все в обратном порядке: господин с дамой распутали шнурок, и теперь она его сматывала, женщина, сидящая по-турецки, клала в рот круглую конфету, улыбающийся сам себе старик

что-то капал в ухо. Шатнулся потный повар в окне вагона-ресторана, озаренное красным светом, полыхнуло лицо машиниста, и вдруг – свист, и курьерский дернулся куда-то – и опять побежали одно за другим те же окна, те же лица, и вдруг все исчезло. Открылась даль.

– Хорошо бы и нам с тобою так, – сказал Карелов, мотнув головой в сторону курьерского.

Вера взглянула на него.

– Совершенно разучилась завидовать и желать. Ну не все ли равно: куда и как?

Он отвел глаза, словно она слепила его словами. Когда он снова обратился в ее сторону, она не смотрела на него, и чистила апельсин, и улыбалась сама себе. Она думала о том, что в эти недели она не то чтобы отупела, а стала как-то менее чувствительна к тому, что вообще делалось в мире вокруг нее, и к самому миру, а улыбалась она потому, что знала, что это пройдет, а то, что за этим придет, будет, наверное, еще лучше.

Он не старался угадать, чему она улыбается. Коли улыбка – значит, есть чему. Ее улыбка все меняла для него, и Вера с щедростью обращала к нему эту улыбку. Но он был озабочен сейчас тем, как бы остатками здравого смысла взглянуть на нее со стороны, увидеть ее такой, какой видели ее соседи по купе, кондуктор. Он искал в ее лице, в ней самой то, что раньше в женщинах бывало ему неприятно: суетливости, черствости, какой-то – мгновениями – скучной непроницаемости. Искал и не находил. Все в Вере казалось ему прелестным. А главное, чего он до сих пор не мог себе представить, было ее, с вечной для него новизной, равновесие – ее «головокружительное равновесие», как он определял про себя, словно покой и постоянство счастья, которые исходили от нее, уравновешивались страстью, бесстыдством и иступлением, которые он в ней знал; словно вся она, со своим здоровым верным телом и любящей душой, уравновешивала целый мир злобы, боллезней и тоски.

– Пожалуйста, не смотри так ласково на кондуктора, – попросил он. И она сейчас же стала смотреть в окно. Но она больше не могла смотреть иначе, и он это знал.

Стараясь не ступить на ноги пассажиров, она вышла в коридор и потом опять появлялась у двери, а ему в эти минуты, что ее не было, казалось, что она выпала из поезда. Опять все становилось на свое место, опять начинал он жить, то есть догадываться о ней, любоваться ею, обдумывать ее.

– Так о чем это я? – спохватилась она, – ах, да. Но тебе не может быть это интересно. – И она села на свое место. – Если тебе станет скучно, ты скажи. Это, знаешь, было и прошло, а что с прошлого спрашивать?.. Он появился однажды перед вечером... Вообрази себе петербургскую мещанскую квартиру. Сумерки. Я вхожу с мороза... А в нем было что-то такое иностранное. Нет, не могу тебе это передать.

Она уже несколько раз пыталась рассказать ему про свою жизнь с Александром Альбертовичем.

– Он любил тебя? Ты любила его? Почему ты вышла за него? Как он умер?

– Тише, тише. Он появился перед вечером... Смотри, какой лес. Нельзя ли нам туда?

– Мы туда и едем.

– Однажды, в морозный день, в сумерках...

Теми же словами. Когда это было? Теми же словами начинала она уже однажды в жизни такой рассказ. Когда? Где? Сидя перед камином, одна, в день смерти Сама, когда так хотелось кому-нибудь рассказать о нем. И вот кончилось еще что-то, и опять начинается повествование. И неужели еще когда-нибудь сядет она напротив кого-то, и опять разовьется свиток: его фамилия была Карелов, не через «о», через «а». Это было далеко отсюда, в тысяча девятьсот двадцать каком-то году... Неужели может случиться, что она будет без него?

– Как это ты сказал однажды: чтобы в первой встрече не было заключено будущее прощание?

– Я это сказал? Когда?

– А может быть, мне это показалось... Как же возможно, чтобы не было прощания? Если бы были только встречи, без прощаний, не было бы музыки, стихов.

– Пусть не будет ни музыки, ни стихов.

Она рассмеялась.

Когда они вылезли и пошли лесом, начинавшимся от самой станции (маленькой кирпичной, где один и тот же служащий продавал билеты, отбирал их, махал машинисту, подавал ящики в товарный вагон), когда они вошли в лес, где было жарко и сыро, где жесткая, совсем еще зеленая ежевика росла стеной, а верхушки дубов дрожали и текли в солнечном разливе, Вера сказала, что не помнит, когда в последний раз была в лесу, она даже забыла, что бывают леса. Правда, это было так давно! Может быть, это было еще в детстве. А главное, она никогда ни с кем не была в лесу вдвоем, не была в поле, на речке. Она никого не знала, кто бы это любил, кто бы позволил ей вот так остановиться и прислушаться – ни к чему или вздохнуть несколько раз – ни о чем. Дорога поднималась в гору и темнела, уходя.

– Там не страшно? – спросила она, улыбаясь своей широкой улыбкой и в эту минуту и в самом деле становясь похожей на мать.

– Не знаю. Мне не страшно. Мне даже тебя не страшно, – отвечал Карелов, нарочно удерживаясь, чтобы не взглянуть на нее.

– А мне вот тебя страшно, – ответила она серьезно. Все пенилось в ней, когда она это сказала, от чувства жизни, от чувства счастья, и она знала, что он знает, что все в ней пенится. Тихонько подойдя к нему, она приблизила свое лицо к его лицу, общими руками между его и своими глазами сделала щиты, так что могло показаться, что сейчас ночь и они в темноте, и долго смотрела молча в его глаза. Ей хотелось сказать, что несмотря на

Нина Берберова

то, что эта дорога вьется в гору, кругосветное путешествие окончено; что она всю жизнь думала, что она счастлива, но что на самом деле она была очень несчастна; что ей хочется всегда, без конца быть с ним — и даже чтобы он этими руками, которыми ласкает ее, когда-нибудь закрыл ей глаза; ей хотелось сказать, что она знает, что и он хочет того же. И еще ей хотелось сказать — и это-то больше всего волновало ее, — что в поезде ее тошнило, что она беременна.

Но она не сказала ничего, потому что, когда она стояла так близко от него, у нее не было голоса.

1936–1938

ДЕЛО
КРАВЧЕНКО

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА

Французский перевод книги В.А. Кравченко «Я выбрал свободу» вышел в 1947 году и тогда же получил премию Сент-Бева – одну из многочисленных французских литературных премий. 13 ноября 1947 года в прокоммунистической еженедельной газете «Лэттр Франсэз» была напечатана корреспонденция, подписанная «Сим Томас», присланная якобы из Америки, под названием «Как был сфабрикован Кравченко». В этой статье автор, американский журналист, рассказывал о своей встрече и беседе с неким агентом ОСС, т.е. американской секретной службы. Этот агент открыл журналисту «тайну книги Кравченко».

«Чаплину, – рассказывал агент Симу Томасу, – явилась мысль заказать Кравченко книгу. Кравченко с удовольствием принялся за работу. В несколько месяцев он родил около 60 страниц, они были неудобочитаемы и никуда не годились. Мне их показывали однажды как курьез. Но в то время, как мне их показывали, Кравченко как писатель был уже позабыт: книга в 1000 страниц, подписанная его именем, была сфабрикована нашими знакомыми меньшевиками. После говорили, что Кравченко никуда не показывается, так как жизни его грозит опасность. Скорее – он прятался, потому что не был ав-

тором книги, о чем даже самые большие дураки могли при личном знакомстве легко догадаться».

Кравченко, узнав об этой статье, сейчас же привлек к суду французскую газету. На основании ст. 92, 32 и 33 закона 29 июля 1881 года и дополнения, сделанного 6 мая 1946 года, он требовал с «Лэттр Франсэз» три миллиона франков.

Через восемь дней газета уже опубликовала список своих свидетелей, которых она вызывала на процесс, ей вчиненный. В такой короткий срок она успела снести не только с Америкой, но и с СССР. Свидетелей было около сорока.

Дело было назначено к слушанию в июле месяце, но тут выяснилось, что главный обвиняемый, автор информационной статьи Сим Томас, явиться на суд не может, и возникли первые сомнения в его реальном существовании. Таким образом, на редактора еженедельника пала вся ответственность. Этим редактором был Клод Морган, писатель, чье имя до войны было мало известно. Во время резистанса* он вместе с другими товарищами начал печатать газету «Лэттр Франсэз», которая выходила тайно во время немецкой оккупации.

Но со времени первой статьи Сима Томаса до июля 1948 года другой редактор газеты, Андре Вюрмсер, тоже писатель и критик, продолжал оскорблять Кравченко в своих статьях, так что Кравченко пришлось привлечь к суду и его. Залог для иностранца, затевающего процесс во Франции, был исчислен судом в два миллиона франков, и Кравченко его внес. За несколько дней до процесса, который вторично был назначен на январь 1949 года, его противники пытались оттянуть дело, заявив, что залог был внесен слишком поздно, но Кравченко, приехавший во Францию строжайшим инкогнито, внезапно созвал пресс-конференцию и объявил, что намерен процесса не откладывать.

* Французское «Сопrotивление».

13 января «Лэттр Франсэз» обратилась во французское министерство иностранных дел с просьбой дать въездные визы шестнадцати советским свидетелям и трем, живущим в Америке и Англии. Визы эти тотчас были даны. Однако свидетели из Москвы явились только в последнюю минуту перед выступлением в суде, когда процесс уже был начат, и лишь в количестве пяти человек. Свидетели же Кравченко, количеством более двадцати, были заблаговременно привезены из Германии, где они проживают в качестве Ди-Пи в американской и французской зонах.

Как выяснилось позже, адвокаты Кравченко и он сам получили более 5000 предложений от новых эмигрантов приехать свидетельствовать на процесс. Из этого количества были выбраны люди, знавшие Кравченко или знавшие его первую жену, Зинаиду Горлову, или жители Днепропетровска и Харькова, которые могли лучше других помнить условия жизни, описанные в книге. Таким образом, в Париж приехали инженеры, сотрудники Кравченко, его учитель по Харьковскому институту, колхозники, раскулаченные в 1931–1932 годах, студентка-медичка, учившаяся вместе с З. Горловой в свое время, и другие лица. Часть из них говорила по-русски, часть – по-украински. Инженер Борнэ и г-жа Лалоз говорили по-французски, как и лейтенант Иуанэ.

Приехавшие из Германии остановились в гостинице «Сен-Ромэн» на улице Сен-Рош. Их привозили на суд в специальном автокаре. Постепенно, по мере дачи показаний, они возвращались в Германию. Жена известного немецкого коммуниста Неймана г-жа Маргарета Бубер-Нейман была выписана из Стокгольма. Она показывала по-немецки.

Число свидетелей, которых выставила французская газета, постепенно уменьшалось. Среди них были коммунистические депутаты, писатели, журналисты, резистанты, генералы и пр. Из СССР, в конце концов, прибыли – как уже было сказано – всего пять человек. Это

были первая жена Кравченко, Зинаида Горлова, генерал Руденко, инженер Романов, инженер Василенко и инженер Колыбалов. Горлова и Колыбалов через несколько дней после показаний на суде вернулись в Москву. Остальные вылетели обратно на самолете через Прагу 12 марта.

Дело должно было слушаться в 17-й камере сенского исправительного суда, но так как зал этой камеры слишком мал и ожидалось большое стечение публики, то 17-я камера перешла на все время процесса в зал 10-й камеры, как самой большой. Этот зал вмещал около 300 человек, сидящих и стоящих очень тесно друг к другу. Три огромных окна выходили на набережную Сены, на юг, так что в солнечные дни приходилось спускать жалюзи от яркого света.

Председатель Дюркгейм и двое судей сидели, как обычно, на возвышении. Третий судья (запасной) сидел тут же за столом. Слева от председателя, тоже на возвышении, находился прокурор Куассак, человек еще молодой; за ним были размещены рисовальщики и художники. Справа от председателя сидела французская пресса, по другую сторону, ниже прокурора, – представители французских и иностранных телеграфных агентств. Перед столом председателя и судей происходило самое действие: справа, лицом к председателю, разместились ответчики, слева – истец: Кравченко, его личный переводчик и два его адвоката, мэтры Жорж Изар и Жильбер Гейцман, а напротив них – г-да Вюрмсер, Морган, их переводчик и четыре адвоката: мэтры Нордманн, Блюмель, Матарассо и Брюгье. Между сторонами находился барьер, то есть короткие перила, к которым вызывались свидетели.

Затем, уже в самом зале, сидели иностранные журналисты (около 100), адвокаты (человек 50) и гости: жены председателя, судей и адвокатов, члены дипломатического корпуса и др. В конце зала был высокий деревянный барьер, и за ним стояла публика, которой было не менее

70–80 человек и которая простаивала часами в очень большой тесноте и духоте.

Человек десять жандармов в форме и много полицейских в штатском занимали свои места заблаговременно. Фотографы являлись тоже ранее других и устанавливали свои аппараты. Киносъемки были запрещены. Во втором часу появлялись ответчики и их адвокаты. Затем раздавался звонок. Из главной двери появлялись Кравченко, его переводчик и переводчик трибунала г-н Андронников, адвокаты Кравченко в сопровождении помощников, несших «дело» – три огромных папки, чемодан, саквояж и портфель, а затем появлялся трибунал, и публика вставала со своих мест, как полагается во всем мире.

Контроль был очень строгий, адвокатов впускали только в тогах, журналисты должны были иметь личную карточку с фотографией. Желających проникнуть в зал было в три раза больше, чем можно было впустить. Из иностранных журналистов были представители всех без исключения больших газет: г-н Сандберг из Амстердама, г-н Винде из Стокгольма, г. Матьюс из Лондона и т.д. Среди французских журналистов можно было видеть ежедневно: Пьера Сиза (из «Фигаро»), представителей «Орор», «Эпок», «Юманитэ» и т.д. Постоянных представителей русской антикоммунистической прессы, кроме пишущей эти строки, не было.

В.А. Кравченко в перерыве не выходил на широкую мраморную лестницу, куда выходили все остальные. Он уходил в специальную комнату, где с переводчиком и своими адвокатами продолжал заниматься процессом. Очень часто его задерживала публика в самом зале: он подписывал свою книгу, которую ему подавали стоявшие в очереди к нему поклонники и поклонницы. Некоторые приносили фотографии, и он подписывал их. С публикой он иногда перекидывался несколькими словами по-английски.

Мэтр Жорж Изар, адвокат Кравченко – бывший социалистический депутат департамента Мерт-и-Мозель

(1936–1940). Он был делегатом группы резистанса во время временной Ассамблеи (1944–1945). Кавалер военного креста, медали Резистанса и Почетного легиона, он был автором книг «От Маркса к марксизму» и «Человек революционер». Он уже вел в своей жизни несколько диффамационных процессов. Мэтр Жильбер Гейцман – адвокат еще молодой. Во время войны он был в немецком плену.

Дело Кравченко началось слушанием 24 января 1949 г. Предполагалось, что оно продлится 9 дней. Оно закончилось 22 марта, после 25-го заседания. Приговор был вынесен через 10 дней.

Предлагаемый читателю репортаж не есть стенограмма процесса. Записанный непосредственно в течение 25 заседаний суда, он занимает немногим более 100 страниц, в то время как стенограмма тех же 25 заседаний занимает более 2000.

Поэтому автор репортажа заранее просит простить его, если его работа покажется недостаточно полной. Непосредственная запись, конечно, не может конкурировать с записью стенографической, но у нее есть перед этой последней одно преимущество: она, схватывая самое главное, старается быть живой.

Н. Берберова

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Десятая исправительная камера Сенского суда никогда не видела такого наплыва публики. В 1 час дня все скамьи полны: журналисты французские и иностранные, адвокаты, публика, фотографы, художники.

В высокие окна бьют солнечные лучи яркого зимнего дня. Здесь, в зале, вспыхивает магний, щелкают аппараты. Цепь жандармов проверяет пропуски.

В без четверти два председатель Дюркгейм и судьи занимают свои места.

Кравченко со своим адвокатом и редакторы «Лэттр Франсэз» – уже в зале. На лестнице Кравченко был встречен аплодисментами.

Мэтр Жорж Изар, один из лучших адвокатов парижского барро, мэтр Гейцман и два его помощника листают громадные папки с «делом».

Прежде чем огласить статьи французского еженедельника, оскорбившего Кравченко, пропускаются свидетели: первая группа – знаменитые французские имена, лица, вызванные поддержать своим авторитетом коммунистическую газету. Среди них: Жолио-Кюри, Веркор, Жан Кассу, Куртал, Гренье, Мартэн-Шоффье. Свидетели из СССР еще не прибыли – их привезут ко дню их показаний.

Затем – группа иного вида: изможденные лица, поношенные пальто. Это новые эмигранты, люди, как и сам Кравченко, «выбравшие свободу», невозвращенцы, выписанные на процесс из Германии. Среди них: инженер Кизило, Кревсун, Силенко, Горюнова, Семен и Ольга Марченко, Николай Лаговский и т.д.

Ген. Руденко, брата прокурора нюрнбергских процессов, одного из главных свидетелей против Кравченко, нет.

После того как переводчиков привели к присяге, председатель читает статьи редактора «Лэттр Франсэз» Вюрмсера, сотрудника Сима Томаса. В них, как уже известно, В.А. Кравченко обвиняется, во-первых, в том, что писал книгу не сам, а во-вторых, что он субъект аморальный, пьяница, предатель своей родины и куплен американской разведкой. Кроме того, в книге его сплошная ложь.

Председатель: Я предупреждаю вас, господа, что по закону не Кравченко должен доказать, что в книге его – правда, но вы должны доказать, что он написал ложь.

Бледный, как полотно, Вюрмсер и красный, как кумач, Клод Морган пытаются сразу же напасть и напоминают, что книгу Кравченко цитировал Геббельс в 1944 году и что, таким образом, Кравченко – коллаборант.

Но председатель предоставляет слово Кравченко.

Декларация В.А. Кравченко

– Я счастлив быть во Франции, – сказал автор нашуемшей книги, – Америка спасла мне жизнь. Я прошу французский суд восстановить мое доброе имя. Я прошу не только осудить моих клеветников, но и назвать их вдохновителями. Я оставил на родине, которую горячо люблю, близких и родных. Я не знаю, что с ними стало. До этого я никогда за границей не был и иностранных языков не знал, у меня не было никого, когда я

порвал с советским режимом. И все-таки я сделал это, потому что я должен был сказать миру о том, как страдает мой народ.

Страдания этого народа, мои страшные личные разочарования и ужасы режима привели меня к этому решению. Не я решил – действительность решила за меня.

Миллионы людей хотели бы сделать то, что сделал я, и среди тех свидетелей, которых Политбюро пришлет на мой процесс, будут люди, которых я знаю, которых я знал и которые думают, как я, но у них остались заложники в Москве, их жены и дети, и они ничего об этом не скажут.

То, что я сделал, я сделал и для русского народа, и для всего мира, чтобы все люди знали, что советская диктатура есть варварство, а не прогресс.

Я – сын и внук рабочего. Я сам рабочий. Из рабочих я поднялся на советские верхи. И теперь я говорю советской власти:

Вы украли революцию.

Вы научили русский народ страху.

Вы задушили его террором.

Вы украли у него его победу над внешним врагом.

Вы грозите миру неслыханным ужасом новой войны.

Вы грозите ему оружием мирового коммунизма.

(Переводчик переводит речь Кравченко; зал, затаив дыхание, слушает его.)

– Весь мир научили вы страху! Вы сорвали мир! Мне хочется сказать французскому народу: коммунизм – враг ваш. Опомнитесь, пока не поздно! Кремлевские владыки – каины рабочего класса. Боритесь за лучшую жизнь демократическими, а не коммунистическими способами. Рабочие, крестьяне, интеллигенты Франции, жертвы моего народа будут напрасны, если вы не поверите мне!

Затем Кравченко переходит к самому процессу:

– Цель моих врагов, – говорит он, – меня испачкать. Цель моей жизни – борьба с коммунизмом. Но грязь –

обычный прием Политбюро. Книга моя имеет успех, и потому в меня кидают клеветой.

Французские коммунисты – слуги Кремля. Я никогда ничего не писал против Франции, но я писал против их хозяев. Пока я был в России, эти хозяева хвалили и выдвигали меня и даже послали меня за границу. Но теперь, когда я порвал с режимом, меня называют предателем и вором.

В России меня не могут опорочить, меня слишком многие знают там. За четыре года в прессе СССР не было ни одного слова обо мне, но здесь дано задание опорочить меня. Сим Томас, которого не существует, – только ширма. Кремль делает дело руками своих рабов, французских коммунистов.

Для этих людей Америка – это только Уолл-стрит. Для меня Америка – большая демократия.

Пусть докажут, что я оплачен американской секретной службой! Меня называют предателем, и я попадаю в хорошую компанию, ибо предателями называют в Москве Леона Блюма, Бовина, Эттли и Трумана. Только Торэз, Тольятти и сам Сталин – честные люди.

Переходя к своему разрыву с СССР, Кравченко говорит:

– Это случилось в апреле 1944 года. Если бы я был фашист и гитлерист, меня бы выдала Америка. Я был и остаюсь русским патриотом; пока моя страна была в войне (хотя бы и союзницей Соединенных Штатов), я отказался выдать американской прессе какие бы то ни было сведения касательно военно-экономического положения моей страны. В 1940 году, когда я был на фронте, Торэз сидел в Москве под крылышком у Сталина.

(Тут адвокат Вюрмсера мэтр Нордманн требует с большим уважением говорить о французском государственном деятеле. Громкий смех в зале.)

– В то время Сталин был другом Гитлера, и французские коммунисты были за него, потому что они не слуги французского народа, но слуги Москвы. Теперь мне

говорят, что немецкие газеты использовали мои статьи. Но в 1939–1940 годах немецкие газеты использовали речи и статьи Молотова!

Пусть меня не упрекают в преувеличении, когда я говорю о советском строе. Вспомните, что вы называли преувеличением рассказы о немецких концлагерях смерти и крематориях, и это оказалось правдой. Я буду говорить о режиме, не смешивая его с русским народом: Сталин и Молотов приходят и уходят, а Россия будет жить вечно. (Движение в зале.)

– Вы увидите моих свидетелей. Это люди без родины. Они отказались от всего, они выбрали голод. Они знают, что их родные будут замучены, но они будут говорить правду. Они любят свою родину и скажут вам, почему они остаются здесь. Они, как я, предупредят мир об опасности, ему грозящей, они, как я, готовы пожертвовать жизнью в борьбе. Я ишу борьбы!

Несколько слов посвящает Кравченко вопросу о денежных средствах. Процесс стоит дорого, но книга принесла ему деньги. Он ведет процесс на свои собственные деньги. Он ничего не получал от американских властей. Его издатель находится в зале и может подтвердить, что книга его переведена на 22 языка.

– Где сила добра и где сила зла – это вам надо решить! – заканчивает Кравченко свою речь.

Речь Клода Моргана

Редактор «Лэттр Франсэз» Клод Морган, волнуясь и краснея, пытается свернуть на совершенно новую дорогу: он говорит о резистансе. С пафосом вспоминает он о расстрелянных немцами соратниках, о том, как возникла «Лэттр Франсэз» и как трудно было издавать ее во время оккупации. Декур, один из ее основателей, был расстрелян.

– Его тень взывает к вам! – говорит Морган председателю.

Однако, подробно рассказывая героическую эпопею «Лэттр Франсэз», Морган почему-то умалчивает об одном из главных ее зачинателей Жане Полане, который, как известно, некоторое время тому назад ушел из этой газеты, обозвав ее руководителей лгунами.

Морган подчеркивает все время то обстоятельство, что он сам – француз, товарищи его – французы, газета – французская, и иностранцу неуместно давать французам во Франции уроки жизни и чести.

После его речи председатель объявляет перерыв.

Речь Вюрмсера

Восковое лицо Вюрмсера искажается нервной улыбкой, когда после перерыва председатель дает ему слово.

– Мой долг журналиста, резистанта и француза, – говорит Вюрмсер, – был прочесть роман Кравченко. Я утверждаю, что американской своей книги он не писал. Может быть, он перевел американский текст на русский язык (по-русски книга вскоре выйдет) – это самое большое, что он мог сделать.

– Кравченко – это Дорио! – восклицает Вюрмсер. – Он – враг своей страны, а следовательно, и нашей. Каждый, кто антикоммунист, в то же время – антифранцуз...

Мэтр Изар, адвокат Кравченко, вскакивает с места при этих словах и вздевает руки к небу. Председатель призывает к порядку. В публике гул.

– Что это за издательство, где Кравченко выпустил свою книгу? Это издательство издает Буллита, который призывает к войне, воспоминания немецких генералов, мемуары секретаря Лавая. Тем, что Кравченко в апреле 1944 года предал советскую власть, он, быть может, задержал высадку союзников во Франции!.. (Протесты в публике. Гул.)

Я, как француз, вижу в нем пятую колонну... Его свидетели расскажут нам сказки про концлагеря. Может

быть, нам скажут, что наши товарищи были сожжены не в Бухенвальде, а на Кубани... Если от этого господина отнять его книгу, то от него не останется ничего, в то время как за каждым из нас – действия резистантов!

Этот процесс нелеп: пропагандист, оплаченный иностранной державой, судит писателей. Мы – французы, и это недопустимо.

Инциденты

Вслед за речью Вюрмсера председатель предлагает ответчикам задать Кравченко ряд вопросов. Вюрмсер, с помощью своего адвоката, ставит Кравченко следующий:

– Расскажите содержание «Кукольного дома».

В публике недоумение. Переводчик Цацкин, заменивший в этот момент г-н Андронникова, переводит:

– Как скончался дом куклы?

Кравченко недоумевают. Его личный переводчик хочет ему что-то объяснить:

– Я требую, чтобы ему не подсказывали! – кричит Вюрмсер.

– По-русски это называется иначе! – кричит мэтр Изар.

– Скажите мерзавцам, чтобы не хамили! – кричит Кравченко, понимая, что ему хотят расставить западню.

– Какой дом? – переспрашивает ничего не понявший переводчик. – Какие куклы?

– Это Ибсен! – шумит зал.

Оказывается, в книге Кравченко есть упоминание о женщине, судьба которой похожа была на судьбу Норы.

Вюрмсер, чтобы доказать, что Кравченко не писал своей книги, ловит его на незнании ибсеновской драмы. Но Кравченко объявляет, что отвечать на такие вопросы не будет:

– Здесь не московский процесс! Я требую, чтобы прекратилась эта комедия!

Тогда Вюрмсер предлагает Кравченко ответить на другой вопрос:

– Назовите революционные драмы Достоевского.

Кравченко ударяет кулаком по столу. Он бледен.

Мэтр Изар спокойно отвечает:

– Посмотрим, как завтра ваши свидетели будут отвечать на наши вопросы.

После этого инцидента адвокат «Лэттр Франсээ» произносит длинную речь, где прославляется коммунистическая партия, Торээ, Марта и др.

Затем мэтр Изар в блестящей речи цитирует Сталина по поводу советско-германского пакта, вспоминает раздел Польши, поведение Марта в Черноморском флоте...

Оба адвоката, возвыся голос, ведут острую, ядовитую политическую полемику. Но аргументы Изара, его голос, его жесты производят видимое впечатление на судей. Публика встречает сочувственным гулом ударные места его речи.

Лампы давно зажжены. Шесть часов на громадных часах над головой публики. Председатель предлагает закрыть заседание.

Завтра – вызов первых свидетелей.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Заседание суда начинается в 1 час дня при совершенно переполненном зале.

Второй адвокат Кравченко, мэтр Гейцман, задает Клоду Моргану, редактору «Лэттр Франсээ», ряд вопросов:

– Каким образом были вызваны свидетели из Советского Союза?

Морган: Очень просто: на это существуют почта, телеграф и телефон.

Мэтр Гейцман: Каким именно образом ответчики узнали, что будут говорить их свидетели?

Морган: Контакт установить было очень легко.

Мэтр Гейцман: Как и каким образом г. Морган мог проверить поведение Кравченко в Никополе в 1937 году, а также установить якобы справедливость того, что было напечатано в статье Сима Томаса?

Морган: Я не проверил Сима Томаса. Я абсолютно верю ему. Кроме того, я имел свое мнение, так как читал книгу.

Мэтр Гейцман: Если Сим Томас – американский журналист, то каким способом он мог узнать, что делалось в СССР во время войны?

Морган пожимает плечами.

Мэтр Гейцман: Печатали ли что-нибудь советские газеты о Кравченко предосудительное за эти четыре года?

Морган: Я не читаю по-русски.

Мэтр Гейцман: Г-на Моргана раздражил успех книги. Только ли из-за ее содержания?

Морган: Нет. Я был возмущен, что она вышла в таком большом тираже, когда для французских писателей нет бумаги.

Мэтр Изар, адвокат Кравченко, вступает в спор:

– Коммунистических писателей не читают во Франции не потому, что нет бумаги, а потому, что, как они сами говорят, никто их книг не покупает.

(В зале хохот. Председатель Дюркгейм очень строго призывает публику к порядку.)

Показания Мартэн-Шоффье

Начинается вызов свидетелей.

Первым выходит Луи Мартэн-Шоффье, председатель Национального союза французских писателей, из которого, как известно, около года тому назад ушло очень большое количество писателей, так как организация эта приняла отчетливо коммунистический оттенок.

Адвокат «Лэттр Франсэз», мэтр Нордманн, рекомендует Шоффье: это резистант. Он сражался в войне 1914–1918 годов; был депортирован немцами, написал работу о Шатобриане.

– Что может сказать Шоффье о двух ответчиках?

– Это его друзья.

Адвокат «Лэттр Франсэз»: Что бы сказали ваши друзья по немецкому концлагерю, если бы прочли книгу Кравченко?

Шоффье: Я думаю, они бы осудили его.

Нордманн: Что вы думаете о «Лэттр Франсэз»? Неужели эта газета способна на диффамацию?

Шоффье: Это очень хорошая газета.

Мэтр Изар встает с места: он напоминает Шоффье, что писатель Поль Низан, который был его другом, был обозван коммунистами предателем за то, что ушел из коммунистической партии после советско-немецкого пакта.

– Считаете ли вы вашего друга Низана предателем или держитесь особого мнения?

Шоффье мнется: Мне кажется, он не был...

После него выходит на середину зала Фернан Гренье, депутат Национального собрания, видный коммунист. Он рекомендует себя как булочника, но мэтр Нордманн сейчас же поясняет, что Гренье – депутат и в 1944 году был министром авиации. Он – один из первых резистантов и был депортирован немцами.

Показания Фернана Гренье

Гренье подготовил основательную критику книги Кравченко по существу. Она у него в руках. Он то и дело цитирует ее, предварительно заявив, что, по его мнению, Кравченко не только не писал ее, но даже не был советским гражданином.

Сам Гренье был в России два раза: в 1933 и 1936 годах. Он видел в России совсем не то, что видел Кравченко:

сытых крестьян, веселых колхозников, истово молившихся прихожан в только что отремонтированной церкви, где счастливого вида священник исполнял требы; он видел богатую, счастливую жизнь («Хотя жареные курицы и не падали в рот», — замечает он). В книге Кравченко он нашел одни противоречия и неправдоподобия:

— Как можно помнить, что говорил отец, когда ребенку было восемь лет!

Но Кравченко поясняет, что все, что касается отца, он запомнил потому, что об этом много раз говорилось в семье после того, как отец был арестован (при царском режиме).

По сравнению с первым днем процесса Кравченко держит себя уверенно и почти весело. Он привык к обстановке, он легко парирует противнику, наладился перевод, и иногда кажется, что Кравченко схватывает какие-то французские слова, настолько ловко он вступает в споры.

Он совершенно уверен в себе и действительно с блеском выходит из положения. Иногда реплики его остроумны, часто они язвительны.

Гренье упрекает автора «Я выбрал свободу» за то, что он писал об одном и не писал о другом.

Мэтр Изар собирается за Кравченко вступить, но тот сам отвечает коммунистическому депутату:

— Я писал то, что считал нужным, то, что было близко моей теме.

Гренье считает, что книга слишком «романсирована». Кроме того, есть ошибки в географии: Ашхабад назван Сталинабадом, а потом опять переименован. Одно время он назывался Полторацком, по имени начальника ГПУ. В советской России названия меняются часто.

Мэтр Нордманн достает карту Туркестана, и начинается долгий спор о местностях «вокруг Гималаев». Председатель смотрит на карту.

Кравченко: Скажите им, что есть под Москвой станция, Маленково называется. На ней и доска висит «Ма-

ленково». А в железнодорожном указателе она иначе называется, никакого Маленково там нет.

(Гул в публике. Председатель с интересом слушает переводчика.)

Кравченко: Я вспоминаю, что в «Чикаго Трибюн» меня тоже упрекали за Ашхабад-Сталинабад. Я имел время исправить эту ошибку во французском переводе, но я оставил все так, как было, потому что это правда.

Гренье поочередно атакует: любезные разговоры 1925 года, которые, по его мнению, запомнить было нельзя, затем – систему распределения жалованья партийцам, описанную Кравченко.

Кравченко парирует. Затем Гренье переходит к коллективизации.

Кравченко: Мои свидетели через неделю расскажут вам о коллективизации, тогда мы увидим, что вы скажете! Это будут колхозники. Знайте, что коллективизация – это вторая революция, но только еще кровавее, еще страшнее, чем первая.

Гренье: Да, но Кравченко не кончил в своей книге историю Кати...

Кравченко: Могу вам сказать, что Катя вышла замуж, и я подарил ей на свадьбу столовый сервиз. Удовлетворяет это вас?

Гренье, видимо, удовлетворен историей Кати и переходит к чисткам, которые чрезвычайно интересуют председателя суда.

Гренье: Я был на одной чистке, но ничего особенного не замечал.

Кравченко: Мои свидетели расскажут вам и про чистки! Для вас они – спектакль, на который вас водили, а для меня это 10 миллионов жертв, выбитые зубы, погибшие близкие. Впрочем, я понимаю вас: если вы скажете что-нибудь в пользу моей книги, вас вышибут из партии.

Гренье (стараясь быть хладнокровным): Если правда то, что вы писали, значит, надо сказать, что Гитлер был прав, когда ринулся на Россию.

Продолжительное молчание.

Затем начинается спор об индустриализации.

Гренье показывает, что СССР обладал громадным потенциалом перед войной. Кравченко говорит, что Америка ввезла на одиннадцать с половиной миллиардов пушек, танков, медикаментов, сала и пр. в Россию.

– Победа над фашистами, – возвышает Кравченко голос, – не победа советского режима, но победа моего народа. Его жертвенность, его труд, его мужество победили немцев. Революции делаются не для индустриализации, – продолжает он, – но для человека! Если бы не страх, не хаос, не террор, Россия была бы могущественная страна.

Но Гренье припас для конца камень за пазухой: этот камень – Дорио. Он считает, что Кравченко – новый Дорио. Сперва – коммунист, затем – антикоммунист, а потом – ходил в немецкой форме.

На этом эффекте французский депутат кончает свои показания.

Показания Пьера Дебрей

Пьер Дебрей – первый французский критик Кравченко. Это молодой человек с необычайно высоким голосом, обидчивый и многоречивый. Он – сотрудник «Темуаньяж Жретъен» (редактор этого журнала о. Шайе через телеграфное агентство сделал заявление, что П. Дебрей выступал не от еженедельника, но исключительно от себя самого). В свое время, когда вышла книга Кравченко, Дебрей написал, что она слишком «романсирована» и что в ней есть противоречия.

– Слава Богу, она романсирована! – восклицает мэтр Изар. – Такой мы ее и любим, такой она нашла широкий доступ к массам.

– Если вы ищете статистики, то читайте «Юмани-тэ», – вторит ему Кравченко. (Смех в публике.)

Дебрей: Я бы хотел узнать, сколько героев выведено под вымышленными и сколько под настоящими именами?

Кравченко: Я подсчитаю к завтрашнему дню.

Дебрей: Вы тут обманули женщину (читает в книге, но никто ничего не слышит). Вы рассказали о смерти Орджоникидзе, при которой не присутствовали.

Кравченко: Я имел информатора, и я могу его назвать при закрытых дверях.

Председатель: Это не необходимо.

Дебрей внезапно меняет тон:

– Вот есть тоже один человек, который порвал с режимом. Это Михаил Коряков. Он в Соединенных Штатах очень нуждается. Он даже жалеет, что уехал. Вот это честный человек!

Кравченко: Во-первых, он не в Соединенных Штатах, а в Южной Америке. Во-вторых, он издал книгу, которая имела некоторый успех, и сейчас он не нуждается. В-третьих, он как раз о моей книге написал очень сочувственную статью. Я переведу ее и доставлю сюда завтра, чтобы суд мог с ней ознакомиться. (В зале продолжительный гул одобрения.)

Внезапно встает Вюрмсер, редактор «Лэттр Франсэз», и обращается к свидетелю с предложением рассказать на прощание о том, как он действовал в резистансе. Публика протестует. Председатель призывает ее к порядку.

Дебрей пытается что-то рассказать, но его никто не слушает.

Внезапно вспыхивает инцидент.

Кравченко сердится

Перед тем, как отпустить свидетеля, мэтр Нордманн задает Кравченко вопрос: была или не была Елена (одно из действующих лиц книги) его любовницей? На стра-

нице такой-то – как будто бы да. На странице такой-то – как будто бы нет.

Кравченко срывается с места, он бледен, сосредоточен. Он почти кричит:

– Почему, когда я атакую вас, вы защищаетесь резистансом, а меня обливаете грязью? Любовница или нет – какое вам дело? Она была жертва. Она заплатила за все своей жизнью – об этом вы не говорите, а это тоже есть в моей книге. Вы – циники! Вы ухмыляетесь теперь, пошляки! Оградите меня, г-н председатель, от этой грязи, от этих спекулянтов и провокаторов!.. Вам бы только уйти от ответственности! Но миру известны вульгарные преступления ваши! Не создавайте здесь фарса!

Пока он кричит, публика, корреспонденты, не понимающая русского языка, пытаются догадаться о смысле его слов. Как только переводчик начинает переводить, зал стихает, слышно каждое слово, которое ловится сотнями людей, плечом к плечу сидящих и стоящих в душном зале.

– Мне сказали, что тираж «Лэттр Франсэз» – 65 000 экземпляров. Неужели всего только 65 тысяч людей спасало Францию? – продолжает Кравченко. – Резистанты! Кроме вас, их и нет!

Мэтр Изар, в свою очередь, встает и перед тем, как расстаться с Пьером Дебрей, спрашивает его:

– Вот вы – верующий католик. Неужели вас не покорило от статейки «Сима Томаса» и от всей этой кампании?

Дебрей (окончательно плачущим голосом): Моя вера – мое частное дело. Она здесь ни при чем.

Показания Пьера Куртада

Следующим вводится Пьер Куртад. Это – редактор коммунистической «Аксион», сотрудник «Юманитэ», крупный французский журналист.

– Почему г. Кравченко все знает? Всюду был? Все видел? Это невероятно! – говорит он.

Он читает две выдержки: одну о том, как Кравченко вступил в коммунистическую партию, другую – как он из нее ушел. Куртаду кажутся они неестественными. Кроме того, в то время, как проходили самые страшные дни Сталинграда, у Кравченко болели зубы. Он просмотрел событие, самое крупное за всю войну.

– Это ложь! – отвечает Кравченко. – Зубы болели позднее.

Но Куртад настаивает, что зубы болели именно тогда. Главная же вина Кравченко – это то, что, порвав с советским режимом в апреле 1944 года, он мог повлиять на ход войны. И как повлиять! (Намек на отсрочку десанта союзников.)

Мэтр Нордманн: Думаете ли вы, что книга Кравченко вредная и даже опасная?

Куртад: Да, мы, члены коммунистической партии, думаем, что книга его вредная и даже опасная.

В 6 часов 15 минут заседание закрыто.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Третий день процесса. Иностранные журналисты обсуждают с жаром вопрос о том, что до сих пор советские свидетели против Кравченко не прибыли в Париж. Некоторые осведомленные люди говорят, что они и не придут. Другие считают, что они поедут в последнюю минуту.

Если советская власть решила их не выпускать, то этим самым она дезавуировала «Лэттр Франсэз».

Возможно ли это? Но никто ничего не знает. Известно лишь одно: до сих пор их приезд не объявлен.

Прежде чем возобновить допрос свидетелей, председатель Дюркгейм предоставляет слово Кравченко. Он доставил статью Мих. Корякова в своей книге. Перевод-

чик читает ее по-французски. Статья хвалебная и производит впечатление. («Социалистический Вестник», октябрь 1947 года.)

Показания Веркора

Вызывается первый свидетель: Веркор, известный резистант и писатель. Обычные вопросы адвокатов «Лэттр Франсэз»: что думает свидетель о газете «Лэттр Франсэз»? Что он думает о ее редакторах?

Веркор: Я думаю, что это прекрасные резистанты. Я работал с ними в условиях полной свободы. Полемика наша всегда дружеская.

Адвокат «Лэттр Франсэз» Нордманн: Что думали бы резистанты, если бы узнали в 1944 году о Кравченко?

Веркор: Они думали бы, конечно, о нем так, как мы думаем об антибольшевистской лиге.

Нордманн: Могла бы эта книга появиться при немцах во Франции?

Веркор: Конечно.

Нордманн: Но она не могла бы появиться сразу после «либерасион»?

Веркор: Конечно, нет!

Нордманн: Есть ли в ней «эспри де Виши»?

Веркор: Да.

Мэтр Изар, адвокат Кравченко, задает свои вопросы.

– Г-н Веркор возмущался репрессиями (в «Юмани-тэ»), которым подвергаются в Америке коммунисты. Возмущался ли он репрессиями, которыми подвергаются поляки-антикоммунисты в Польше?

Веркор считает, что в Польше был саботаж.

Мэтр Изар извлекает из своего дела рецензию Ильи Эренбурга на книгу Веркора и читает ее. Рецензия уничтожающая: в ней Веркор назван слабым писателем, а книга – оскорбительной для французского народа.

Веркор выгораживает Эренбурга, говоря, что в это время у него были запутанные отношения с компартией.

– Меня ругал не только Эренбург, но и Кестлер. Эренбург живет в свободной стране, он свободный критик, он может писать обо мне что хочет.

Мэтр Изар: Мы все это выведем на чистую воду и докажем связь компартии французской с компартией русской.

Председатель Дюркгейм: Я считаю, что литературная дискуссия закончена.

Глубокомыслие профессора Баби

Профессор политических наук, член компартии Баби дает свои показания. Он комбатант, резистант, потерял на войне сына. Он доказывает, что Кравченко не мог написать свою книгу, так как в ней чувствуется совершенно не русский дух.

Председатель: А вы читаете по-русски?

Баби: Нет. Но я знаю русских авторов в переводе. (Смех в публике.) Кроме того, Кравченко слишком все хорошо помнит: он помнит себя, когда ему было два года.

Председатель: Ясно, что он не писал по личным воспоминаниям о дне своего рождения!

Баби: Он рассказал в своей книге, как полумертвые от голода крестьяне праздновали с песнями и плясками сбор урожая.

Кравченко доказывает по книге, как праздновалась уборка хлеба. Для того чтобы сварить кашу, скосили незрелое поле.

Баби: Не может быть, чтобы в России было 10 миллионов заключенных. Каким образом тогда может быть так силен прирост населения? В 1917 году было 117 миллионов жителей...

(Следует заметить, что цифры эти абсолютно неверны: последняя перепись была в 1913 году, когда в России насчитывалось 170 миллионов.)

Мэтр Изар цитирует женеvского профессора Гравена, который считает, что в России больше 10 миллионов заключенных.

– Смею уверить вас, – говорит мэтр Изар, – что Гравен – не член антикоммунистической лиги! (Смех.)

Кравченко встает с места. Он с жаром говорит о том, сколько партийцев погибло при чистках. Куда девались члены партии после 50 лет? Что случилось с партийной верхушкой к концу 30-х годов?

Баби: Книга «Я выбрал свободу» написана американцем: все женщины в ней красивы. Это – голливудский вкус! (Смех в зале.)

Председатель: Пожалуйста, потише. Чтобы понять свидетеля, мне, кажется, самому скоро понадобится переводчик...

Баби: Американская полиция дала Кравченко документы Нюрнбергского процесса, там он и почерпнул свои картины ужасов.

После этой фразы свидетеля с благодарностью отпускают.

Показания д'Астье де ля Вижери

Это был первый свидетель, чьи показания не вызвали ни одного смешка. Как француза и резистанта, если с ним и невозможно было согласиться, то его возможно было понять. Он говорил, что интервью Кравченко, данное в апреле 1944 года (когда он порвал с советской властью), могло разделить союзников, и если бы оно было дано, например, в Алжире (где д'Астье был при министерстве внутренних дел), то его автор был бы арестован.

– Так мне говорили мои коллеги по министерству, а также некоторые англичане.

Мэтр Изар: Можете ли вы их назвать?

Д'Астье: Нет.

Свидетель считает, что то, что Кравченко говорил, генерал Власов делал. Зато он тоже написал книгу «Я выбрал виселицу». (Как известно, книга эта – апокриф.) Затем д'Астье чернит издателя Кравченко, Сельфа, называя его крупным банкиром.

Мэтр Изар: Правда ли, что вы принадлежите к партии, родственной коммунистической, которая насчитывает 14 членов?

Д'Астье: Да, это правда.

Комический инцидент

Цель «Лэттр Франсэз» – доказать, что Кравченко не умеет писать по-русски и не мог написать свою книгу.

Мэтр Нордманн спрашивает Кравченко: печатал ли он вообще что-нибудь когда-нибудь в России? Да, Кравченко печатал статьи по разным вопросам. А с какого языка переводились его книги в 22 странах? С американского.

Несмотря на то что к делу приложены фотокопии русской рукописи, мэтр Нордманн сомневается, что Кравченко способен что-либо написать по-русски.

Председатель: Не хотите ли вы сказать, что г-н Кравченко и не говорит по-русски?

Но вот выводят нового свидетеля: это Перюс, профессор русского языка Клермон-Ферранского университета. Он держит в руках вырезку «Нового Русского Слова» от апреля 1948 года. Там – не то статья Кравченко, не то интервью с ним. Написано все на таком русском языке, который сразу выдает, как утверждает Перюс, безграмотность автора. (Зал слушает профессора Перюса с напряженным вниманием.) Профессор приводит три примера:

– Во-первых, тут написано «они обвиняют». Так по-русски не говорят. По-русски никогда местоимение не

ставится перед глаголом, надо сказать «обвиняют». Во-вторых, слово «апеллировать» пишется через одно «п» и два «л». Здесь же написано через два «п» и одно «л». (У Даля – одно «п» и одно «л». – Н.Б.) В-третьих, тут сказано «граждане своих правительств» – так по-русски нельзя сказать...

К сожалению, не говорящие по-русски не могли по достоинству оценить показание этого свидетеля.

Еще французские свидетели

Г-н Ланг, председатель Федерации комбатантов и депортированных, Союза резистантов и военнопленных (коммунист), пространно рассказывает о том, как в Германии, во время войны, русские не шли работать к немцам.

– Те, кто становились эсэсами, затем стали Ди-Пи, – сказал он. – Русские люди любят свое отечество и жертвуют своей жизнью за него. Те, кто выбирают якобы свободу, выбирают предательство.

Мэтр Изар устало машет рукой. Не в интересах Кравченко затягивать процесс. Но к этому, видимо, стремится противная сторона.

После г-на Ланга выступает известный полковник Маркье, в свое время смещенный с поста, когда он дал в Москве пресловутую пресс-конференцию по поводу Борегара и высылки советских патриотов из Парижа.

Мэтр Изар: Какое наказание понесли вы за это?

Маркье: Тридцать дней крепости.

Мэтр Изар: Судя по «Юманитэ», в Болгарии за это расстреливают.

Вторично пришедший давать показания Жолио-Кюри опять не был заслушан. Будет ли он вызван в понедельник или обойдутся без него? Прибудут ли, наконец, советские свидетели? На эти вопросы пока ответа нет.

Следующее заседание – 31 января.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Четвертый день процесса был посвящен допросу свидетелей со стороны Кравченко.

Перед началом заседания в громадном холле Дворца правосудия можно было видеть приехавших из Германии «перемещенных лиц», одного из которых внесли на носилках.

Перед Дворцом правосудия, на набережной, стоял привезший невозвращенцев из отеля «Сен-Ромэн» громадный голубой автокар.

В 1 час дня – все на своих местах: адвокаты, журналисты, истец, ответчики и трое переводчиков: личный переводчик Кравченко (парижский житель), переводчик трибунала г-н Андронников и переводчик, приглашенный «Лэттр Франсэз» для проверки официального переводчика – г-н Зноско-Боровский (сын известного шахматиста).

Мэтр Изар, адвокат Кравченко, отсутствует по болезни. Мэтр Гейцман заменяет его. Рядом с ним – его помощники: мэтры Альперович и Эспиноза.

Прежде чем вызвать первого свидетеля, адвокат «Лэттр Франсэз» желает задать Кравченко несколько вопросов.

Нордманн: Я хотел бы знать, кого видел Кравченко между тем моментом, когда он покинул советское посольство в Вашингтоне, и тем временем, когда он (через два дня) дал «Нью-Йорк Геральду» свое интервью? (Апрель 1944 года.) Кто был посредником между ним и журналистами?

Кравченко: Было несколько интервьюеров, не только от одной газеты. Их привел тот человек, который им переводил мое интервью. Я могу его назвать только суду, но не при публике.

Нордманн: В 48 часов все было организовано. Это доказательство, что секретная полиция Америки все уже знала.

Кравченко: Нордманн играет крадеными картами. Идея интервью была мною продумана много времени до этого.

Нордманн: Все это невероятно! Америка находилась в войне. Полиция должна была знать все о Кравченко.

Кравченко: Американская полиция мною не интересовалась, но советская заинтересовалась очень скоро.

Мэтр Гейцман: Вспомним, как был убит Троцкий!

Председатель: Дайте мне это интервью!

(Ему подают перевод интервью Кравченко.)

Нордманн: Кем, когда и где был Кравченко допрошен в американской полиции?

Кравченко: Я никакого отношения к американской полиции не имею. Я слишком дорого заплатил за свою свободу, и теперь я свободный человек. В ту субботу (апрель 1944 года) вечером я отчитался перед советской закупочной комиссией, взял чемодан и выехал из Вашингтона в Нью-Йорк. В низкопробном отеле я снял комнату. (Было около трех часов ночи.) Полиции я не видел. Через несколько дней я переехал на частную квартиру. Докажите, что я связан с американской полицией! Я, так и быть, могу назвать имя человека, который привел ко мне журналистов, если близкие его это разрешат.

Внезапно мэтр Нордманн раздраженно требует, чтобы Кравченко не сидел, а стоял перед ним, когда он его спрашивает.

Председатель поясняет, что Кравченко стоять не обязан перед адвокатом ответчиков.

В публике сильный шум, возгласы, возмущение. Председатель требует вывести кого-то.

Нордманн: Я хотел бы знать, когда и кем был Кравченко допрошен в секретной полиции Америки?

Мэтр Гейцман просит переводчика перевести Кравченко, чтобы он пока не отвечал на этот вопрос.

Кравченко кивает головой.

Мэтр Гейцман: Мой клиент ответит на этот вопрос после опроса советских свидетелей.

Кравченко: Американская полиция меня не касается. Советских агентов у моего дома я видел на третий день после моего приезда в Нью-Йорк.

Нордманн: Я прошу ответить мне: кто такой Павел Кедрин? Знаете ли вы, Кравченко, такого человека?

Кравченко (широко улыбаясь): И да и нет. В полицейских вопросах вы очень просвещены. Но я знаю советскую полицию еще лучше, чем мэтр Нордманн. Если он поработает с Вюрмсером подольше, он ее лучше будет знать.

(Смех в публике.)

Нордманн: Павел Кедрин – это вы!

Кравченко (опять улыбаясь): И да и нет.

Председатель: Я не понимаю, к чему вы клоните?

Нордманн: Сим Томас писал, что Кравченко – агент американской секретной службы. Я хочу это доказать.

Кравченко: Какое убожество! Я меняю имена очень часто, к этому вынуждают меня мои противники. Сим Томас – просто трус, иначе бы он явился на процесс.

Нордманн: Вы путешествовали под именем Павла Кедрина?

Кравченко: Вы докажете сперва, что Кедрин – агент Америки. Это мое личное дело, под какими именами я путешествую.

Председатель: Это вполне его дело.

Но мэтр Нордманн продолжает свои вопросы, по которым можно понять, что он хочет выяснить отношения Кравченко к Америке: есть ли у него обратная виза, заплатил ли он налоги, живет ли в штате Нью-Йорк? Затем он переходит на Францию: под какой фамилией он живет? Кому была дана виза?

Председатель: Куда вы клоните? Это его дело.

Нордманн (в возбуждении): Павел Кедрин находится во Франции!

Председатель: Ну и что же из этого?

Нордманн: Значит, три министерства сговорились, чтобы дать возможность Кравченко приехать под чужим

именем. Значит, американская разведка ему покровительствует.

Но мэтр Гейцман считает, что вопросов довольно. Он читает речь Сталина, которую цитирует в своих книгах Кравченко и о которой коммунистический депутат Ф. Гренье сказал, что он ее процитировал неправильно.

Гренье находится в зале. Он выходит на середину. Гейцман доказывает, что Кравченко цитировал Сталина совершенно правильно. Гренье смущен.

Председатель: Мы проверили вопрос об Ашхабаде. Он действительно назывался одно время Полторацком.

Герой «Нормандии-Неман»

Авиатор, командир Почетного легиона, кавалер многих советских орденов, в 27 лет – герой войны, ныне депутат, Муанэ – один из участников знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман». Он был в России, он видел русскую жизнь. Он считает, что книга Кравченко – правдивый рассказ об этой жизни. Он передает свой разговор с советским механиком о том, что рабочим «живется так же плохо, как при царе, даже хуже».

Председатель: Словом, он был немножко недоволен?

Муанэ: Очень недоволен, г-н председатель.

Далее Муанэ рассказывает, как в Туле женщины работали как каменщики, на дорогах, под надзором других женщин, вооруженных пулеметами. Он то и дело цитирует книгу, которую держит в руках, и по поводу каждой небольшой цитаты рассказывает свои собственные впечатления. Женщины эти, говорит Муанэ, провинились в том, что опоздали на службу на свой завод.

Между прочим, свидетель касается вопроса о зубной боли Кравченко во время Сталинграда. У него самого сильно болели зубы, и он не считает это пороком, о котором следует говорить громкие слова. Он рассказывает о ресторанах Москвы, об официальном

черном рынке, о неравенстве жизни сановников и пролетариев, о НКВД.

Особенное впечатление производит на суд его рассказ о том, что в России нельзя слушать заграничное радио, даже союзное, но только советское, для чего всюду устроены громкоговорители.

– Русский народ сражался за свою родину, а не за режим! – восклицает Муанэ.

У французских летчиков не было отпусков, они не имели права ездить в Москву, они с трудом установили отношения с местным населением. Россия – страна привилегий. Есть вагоны топленые и нетопленые. Когда французский летчик сказал советским комиссарам, что в нетопленном вагоне едут женщины и что их надо бы перевести в топленный, ему ничего не ответили.

Муанэ: Я видел, как страдал русский народ. Я видел 80 000 русских, которые были убиты немцами...

Вюрмсер (патетически): Мы с вами не забудем немецких зверств!

(Увы, это было сказано так театрально, что зал ответил Вюрмсери смехом.)

Муанэ проводит параллель между тем, как принимали французских летчиков в России и как в Англии. Черчилль и Иден посетили их и разговаривали с ними. В России никто никогда не видел высокопоставленных лиц.

– Мы видели грубость. Мы слышали ругательства, которым нет равных во французском языке.

Председатель: Может быть, переводчик нам их скажет? (Смех.)

Мэтр Гейцман: Может ли свидетель переписываться со своими друзьями, советскими летчиками?

Муанэ: Конечно, нет. Я писал много раз, но не получил ответа.

Гейцман: Странно! Морган пишет и получает ответы. Суд оценит эту разницу.

Морган: Я переписываюсь, и сколько угодно!

Гейцман: Предатель ли Кравченко, по вашему?

Муанэ: Я думаю, нет. Тут говорилось о том, что он дал интервью, когда еще шла война. Но мы все знаем, что Кашен подписал афишу, которая была расклеена при немцах.

Вюрмсер: Скажите еще, что это мы подожгли рейхстаг!

Муанэ: Ведь Торэз сделал еще хуже. Он уехал в Россию, когда Россия была экономическим союзником Германии. Это была коллаборация.

Гейцман: Когда вы сражались с немецкими самолетами, они были наполнены советским бензином.

Муанэ: Это все знают.

Мэтр Нордманн пытается доказать, что некоторые члены эскадрильи «Нормандия-Неман» думают иначе, чем свидетель.

Мэтр Гейцман: Есть мнения, а есть факты.

Франко-русский инженер Борнэ

Инженер Франциск Борнэ – фигура знакомая. Это тот человек, который прожил в России с 1909 года по 1947-й и, вернувшись, написал книгу, которая была издана издательством «Плон».

Он рассказывает свою жизнь и работу в СССР.

Адвокаты «Лэттр Франсэз» стараются подловить его на противоречиях. Они пытаются доказать суду, что Борнэ был заключен в советскую тюрьму потому, что в душе предпочитал Петэна генералу де Голлю.

Борнэ не отвечает на это, но ведет подробный и основательный рассказ о своей работе в Магнитогорске, об арестованных поляках, о ссылках в Сибирь, о трудовых лагерях, о чистке инженеров.

Адвокат «Лэттр Франсэз»: У вас остались близкие в России? Вы с ними переписываетесь?

Борнэ: О, нет!

Адвокат «Л. Ф.»: Что с ними будет после ваших показаний на этом процессе?

Борнэ: У меня с ними давно все кончено.

Он рассказывает о голоде, который был так же силен в 1939 году, как и в 1946-м (колхозники мешали муку с древесной корой), о произволе.

– Полковник Маркье, который свидетельствовал здесь на прошлой неделе, был в России тогда же, когда и я. Он объявил однажды, что арестованных французов больше в Советском Союзе нет. Мы об этом прочли в концлагере. (Смех в зале.)

Нордманн и другие адвокаты ответчиков напоминают свидетелю, что в 1925 году он просился в партию, но его не приняли. Затем они читают письмо некоего г-н Рибара, который в свое время устроил доклад, на котором якобы разбил все положения Борнэ.

На этом показания Борнэ кончаются.

Первые Ди-Пи: Семен и Ольга Марченко

Показания Ольги Марченко взволновали весь зал.

В пестром платочке, с круглым лицом, певучим голосом она рассказала о том, как советская власть раскулачивала крестьян. Кулаками были признаны крестьяне, имевшие (как Марченко) одну корову и две лошади. Тюрма, ссылка, издевательство, выселение, разлука с близкими – Ольга Марченко все это прошла и обо всем подробно и необычайно красочно рассказала.

– Мы своими чубами платили за все, – сказала она. – Когда меня из дому гнали, я на колени пала перед председателем совета и просила его о милости... Я на восьмом месяце была. Дал бы родить в родном доме!

Но председатель совета сам пришел к ней в дом:

– Мы заставим вас любить нас, – сказал он, сев за стол и наливая себе принесенную водку. – Это было издевательство над моей душой!

Мэтр Блюмель задает Ольге Марченко, видимо, давно обдуманый вопрос:

– А на каком языке прочла свидетельница книгу Кравченко?

Свидетельница смотрит на него серьезно:

– Дети мои научились по-английски. Они и перевели мне главу о коллективизации. Мы с мужем плакали, когда они нам читали ее, так все правдиво в ней описано.

В том же роде показывал и Семен Марченко. Их две истории могли бы составить два законченных рассказа: тракторист, в серебряных очках и вышитой рубашке, он степенно, медленно и основательно повествовал о том, как расправлялась власть с кулаками.

Адвокаты ответчиков несколько раз пытались ставить свои вопросы: когда Марченко попали в Германию? Кто их вывез? Куда именно? На все это, спокойно, почти равнодушно, ничуть не смущаясь публики, фотографов, переводчиков, муж и жена Марченко отвечали с достоинством и серьезностью, которые произвели на публику большое впечатление.

После допроса супругов Марченко начинается допрос инженера Кизило. Заседание закрывается в 6 час. 45 мин. Продолжение допроса Кизило во вторник.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Вторник, 1 февраля, пятый день процесса, был снова днем показаний свидетелей Кравченко. В течение шести часов зал Дворца правосудия слушал показания людей, испытавших в течение многих лет то, что западному человеку, живущему в условиях свободы демократического режима, почти невозможно себе представить.

Из сотен тысяч «перемещенных лиц» Кравченко сумел выбрать людей, горячих патриотов своей родины, на основании фактов, с цифрами, датами и именами в ру-

ках пришедших рассказать французскому суду о русской жизни. Все они были – на высоте!

Дельно, точно, спокойно, отчетливо рассказывали они и о голоде времен коллективизации, и о ссылках в Сибирь, и о советско-германском союзе, и о неравенстве классов – о страшной, горькой доле целой страны каторжан.

Ответчики и их адвокаты, ставя свои вопросы, старались уличить депортированных немцами людей в коллаборации, в том, что они вольно выехали в Германию при приближении Красной армии. Но чем больше ставились вопросы, тем яснее становилось, что за каждым свидетелем стоит правда, о которой они говорят так, как могут говорить только люди с абсолютно чистой совестью.

Зал еще более полон, чем был все эти дни. Среди публики – несколько послов, знаменитые французские писатели (слух был, что в зале находится Андрэ Жид).

В 1 час дня заседание открывается с допросом свидетеля Кизило, начавшего давать свои показания накануне, в седьмом часу вечера.

Показания инженера Кизило

Красивый человек, с умным энергичным лицом, Кизило год тому назад излечился от туберкулеза, которым болел вследствие испытанных мучений в подвалах НКВД. Он рассказывает подробно о пытках, которым подвергался после того, как его обвинили в бухаринско-троцкистской ереси, о том, как в камере, рассчитанной на 24 человека, помещалось 136 заключенных, которые могли только стоять, а если ложились, то им отмерялось место спичками.

Он видел избиваемых женщин, детские камеры; он видел, как водили на расстрел. Он объяснил суду, что такое «ласточка» (когда ребенка связывают по рукам и ногам, бросают об пол и бьют), что такое «кошка» (решетка у колес последнего вагона поезда, в котором едут заключенные, чтобы они не могли проскочить под колесами).

В пути, в скотских вагонах, заключенным давали соленую рыбу и хлеб, с сибирской станции шли 100 километров пешком по сорокаградусному морозу. По пути слабых пристреливали (так погиб директор треста в Казахстане и знакомый свидетеля, врач).

В Северо-уральском лагере те, кто был осужден более чем на 10 лет (как сам свидетель), были назначены на тяжелую работу – делать ружейные болванки.

– Здесь я увидел академиков, наркомов, 14-летних мальчиков, евреев, грузин, поляков, киргизов. Это был тоже Советский Союз, только другой... Возвращаясь после работы (12 километров пешком), сушили одежду, ложась на нее на ночь.

Кизило написал домой жене жалобу. Она размножила эту жалобу и разослала во все учреждения. В это время Ежов был смещен, и Кизило был помилован. Он вернулся на родину и спросил: «За что меня 18 месяцев тиранили?» Но ему дали понять, что лучше обо всем забыть и ни о чем не спрашивать.

Затем Кизило продолжает свой рассказ и говорит о том, как живут, что едят и как одеваются стахановцы.

– Картошка, капуста, хлеб, – говорит он спокойно и дает цифры жалований и продуктов. Выходит так, что рабочий в месяц может купить на все заработанное им... 100 кило белого хлеба.

– В СССР – монополия хлеба, – говорит Кизило, чтобы объяснить французскому суду, почему в такой нищете находится русский народ. – Иногда хлеб не распределяют в наказание за дурное поведение.

Адвокаты «Лэттр Франсэз» ведут свою тактику:

– Что делал свидетель в 1941 году, когда началась эвакуация?

– Паника была, – говорит Кизило, – члены компартии бежали, начальство бежало, мне оставили четыре старые клячи. Я не мог на них уехать с женой и двумя детьми.

Адвокат «Л. Ф.» выражает по этому поводу удивление.

Инциденты

Кравченко не выдерживает:

– Вы думаете, он предатель? Вы – предатель, а не он! – кричит он и бросается вперед.

При невероятной тесноте в зале от Кравченко до свидетеля – один шаг и от свидетеля до адвоката ответчиков – другой.

Жандармы быстро занимают позиции, но Кравченко уже вернулся на свое место.

Председатель: Мы удаляемся от темы.

Адвокат «Л. Ф.»: Когда, на каком языке прочел свидетель книгу Кравченко?

Кизило: Все знают эту книгу. Я читал ее по-немецки, моя жена прекрасно говорит по-французски.

Адвокат «Л. Ф.»: Как снесся свидетель с Кравченко, чтобы свидетельствовать на его процессе?

Кизило: Я написал два письма. Одно – эсэру Зензину в Нью-Йорк, другое – в Париж.

Адвокат «Л. Ф.» хочет поставить еще вопрос, но председатель его обрывает:

– Я буду ставить вопросы, мэтр. Сядьте, пожалуйста.

Но Вюрмсер тоже хочет вставить слово: он не понимает, как это в лаптях можно идти 12 километров в сорокаградусный мороз?

Кизило: Я присягал и рассказал правду. А вот придут другие, так те еще лучше вам расскажут.

Однако ответчики желают знать, какой величины была камера, где «стояли» 136 заключенных? Как этот зал? Как четверть зала?

Кизило, вначале сказавший, что она была 12 на 18, опять повторяет эти цифры.

Вюрмсер уверяет, что на такой площади спокойно могут улечься 136 человек. (В публике топот.)

– Свидетель сказал нам, что прочел книгу Кравченко по-немецки. Но Кравченко сказал в прошлый раз, что книга по-немецки еще не вышла! – эффектно говорит Нордманн.

Кравченко пожимает плечами:

– Да это же было швейцарское издание, по-немецки!
(В публике смех, председатель стучит по столу, жандармы призывают к порядку.)

Но Нордманн не сдаётся:

– В книге Кравченко писал, что все дороги и степи в России завалены трупами...

Кравченко опять вскакивает.

– Почему вы врете? В 1933 году в деревнях были трупы умерших от голода, в 1939 году никаких трупов не было. Там так не написано! Вы лжец! Вы провокатор!

Жандармы быстро разделяют Кравченко от Нордманна.

Теперь жандарма сажают между Кравченко и Нордманном у самого свидетельского барьера.

Кизило: Я сказал, что пристреливали на дорогах слабых, а потом говорили, что убит при попытке к бегству.

Председатель: Мы это знаем, мы это видели.

Нордманн: Нам скоро скажут, что Бухенвальд был в Сибири!

Кизило: Все, что я говорю, – правда. Я рассказываю об ужасах своих и моего народа. СССР – тоталитарная страна.

Нордманн читает вырезку из канадской газеты о каком-то коллаборанте французского происхождения. Он хочет провести параллель между этим французом и Кизило.

Председатель: Это уже не вопрос, а начало вашей будущей речи.

Кревсун из Полтавы

Следующий свидетель – Кревсун, родом из Полтавы. Его судьба, быть может, еще страшнее судьбы Кизило: он не был помилован. Он отбыл свое наказание на Колыме.

Крепкий, основательный, с загорелым строгим лицом, он повествует о своей жизни, как если бы дело шло о ком-то третьем. Его обвинили в заговоре против Сталина (он называет статьи, под которые его подвели) и дали 10 лет ссылки и в Магадан. Он был на золотых приисках. Работал на морозе в 65 градусов (Вюрмсер удивленно переглядывается со своими адвокатами), а когда вернулся на Украину, то ничего не нашел – ни дома, ни хутора; жена была силой введена в колхоз.

Скитался он по Казахстану, по Мурману, по Сибири.

Председатель: Но почему же с вами так поступили?

Кревсун: Я не знаю.

Мэтр Гейцман: Мы проверим статьи, под которые его подвели.

Теперь адвокаты ответчиков начинают свой обстрел: им надо точно знать, что делал Кревсун в 1941 году, в 1942-м, 1943-м, 1944-м, 1945-м? Где его арестовали немцы? Когда вывезли?

Кревсун толково объясняет, что привезен он был в Цвикау и там работал на немецком аэродроме. Он хорошо помнит даты, и украинские месяцы «грудни, травни, липни, сични» так и летают по воздуху.

Нордманн: Все они бежали от Красной армии, но не от немцев. Как он стал свидетелем Кравченко?

Кревсун: Сам написал. В русскую газету. В Германии выходит... (он думает с минуту, напрягает память). «Эхо!» – радостно восклицает он.

Нордманн: Г-н председатель, я хочу задать еще один вопрос.

Председатель: Только не произносите речей!

Нордманн: Сколько населения было в 1939 году в Магадане?

Ответ Кревсуна тонет в протестующем гуле публики.

Показания журналиста Силенко

Молодой, с веселыми глазами, живым лицом и быстрыми жестами, украинский журналист Силенко рассказал французскому правосудию о нравах советской печати. Но прежде чем дать ему слово, председатель, опережая Нордманна, задал ему ставший обычным вопрос:

– Почему вы бежали от Красной армии?

Силенко: Да потому, что Сталин сказал, что все пленные – предатели. Французы, англичане были в Германии, они вернулись к себе, их встретили чуть ли не как героев. Русским Красный Крест ни одной посылки не послал, русские у немцев дошли с голоду. А вернуться нельзя было – Сталин прямо так и заявил: нам пленные не нужны. Все они – трусы и изменники.

Силенко родился в 1921 году. Время коллективизации для него – время ареста его отца, выселение из родной хаты, блуждание в степи, в снегу.

– В те годы у нас в стране умерло 30 процентов населения. Трупы лежали до весны на морозе. Колхозники пухли с голоду. А когда все кончилось, поставили на селе памятник Сталину.

Мэтр Гейцман: Расскажите суду о шпионстве в университетах.

Силенко красочно рассказывает, как не только в университетах, но в школах и пионерских отрядах процветает слежка товарищей друг за другом и особенно – детей за родителями. Затем он переходит к своей работе как журналиста.

Он писал в харьковской газете «Электроэнергия».

Председатель: Что же вы там писали?

Силенко: Меня посылали редактор в цех. Я там записывал три-четыре фамилии рабочих, потом приходил и писал от имени этих рабочих рассказы об их счастливой жизни.

Председатель: Странная профессия!

Силенко: Эти рабочие потом читали подписанные их именами рассказы. Если они спрашивали, что это такое, им отвечали: а разве ты не счастлив? Мой товарищ писал за самого Алексея Стаханова. Комплект этой газеты за 1940 год имеется в Москве в Библиотеке им. Ленина.

Мэтр Гейцман: Расскажите суду о немецко-советской дружбе.

Когда Силенко говорит о немцах, в голосе его начинает звучать страстная ненависть: видимо, он немало от них натерпелся.

До пакта с Гитлером население никаких симпатий к Германии не питало, но в Доме Красной армии, в Кремнечуге, начальство объяснило красноармейцам (среди которых был Силенко), что могущественная Германия теперь «наша союзница» и мы поставим англо-американскую буржуазию «на колени».

Адвокаты «Л. Ф.» опять начинают свои вопросы: когда, кем, куда именно был перевезен Силенко? Увезли его или он уехал?

Силенко: Увезли, в скотском вагоне. Поляки в Польше нам подали сквозь прутья хлеб... Я говорю о страдающем русском народе! Я на эшафот пойду за мой народ! Я говорю о России... Россия – не Политбюро...

Его молодой голос звенит. И когда он стихает, в этом зале, где его слушает столько людей – благожелателей и неблагожелателей – на минуту воцаряется странное молчание.

Председатель медленно переводит глаза на адвокатов: – Нет больше вопросов?

Мэтр Нордманн бойким голосом объявляет, что прочтет сейчас статьи, которые хоть не подписаны свидетелем, но он их, конечно, написал: следуют два отрывка из писаний «Матэн» и «Гренгуара» начала 30-х годов о каннибальстве в России.

Мэтр Гейцман: Простите, но я совершенно не оценил вашего остроумия!

Публика шумно протестует.

Бланш-Ирэн-Ольга Лалоз-Горюнова

- Сколько лет вы прожили в России?
- Сорок пять лет, господин председатель.

Г-жа Лалоз – 68 лет, и только в прошлом году она вернулась из России. До 1918 года она была учительницей французского языка, затем – акушеркой.

В 1921 году вступила в партию.

- Чем вы живете сейчас?
- Я вышиваю, господин председатель.

Маленькая старушка, с черным узлом волос на затылке, смущена количеством публики и вспышками магния. Сначала она никак не может нащупать нить своих мыслей. Но постепенно, привыкнув к обстановке, на французском языке, в котором она уже не слишком тверда, она начинает рассказывать о своей жизни.

Двух сыновей она потеряла в Красной армии. Никакой пенсии государство ей за них не платит. Она получила 150 рублей в месяц пенсии как бывшая акушерка.

- Расскажите, свидетельницей каких фактов вы были.

Г-жа Лалоз: Я могу рассказывать три дня и три ночи.

Председатель: Что вы думаете о книге Кравченко?

Г-жа Лалоз: Кравченко не только выбрал свободу. Он выбрал и борьбу. Он имел смелость бросить этот ужасный режим и рассказать о нем миру.

Будучи партийной коммунисткой, г-же Лалоз пришлось присутствовать и при арестах, и на заседаниях трибунала. Она ищет, с чего бы начать, ее усиленно снимают фотографии.

Кравченко: Дайте возможность свидетельнице спокойно говорить! Она знает, о чем ей говорить.

Переводчик г-н Андронников переводит первую фразу Кравченко. Г-н Зноско-Боровский, переводчик «Лэттр Франсэз», сообщает суду, что г-н Андронников не все перевел: Кравченко сказал, что «известно, что свидетельница будет говорить». (Очевидно, намекая, что и Кравченко это известно, т.е., что все заранее условлено.)

Г-жа Лалоз: Какой народ! Как он страдает! Ни один народ так не страдал! Работают всю жизнь, обращаются с ними, как с собаками...

Бесхитростно, иногда не без юмора, она говорит без умолку теперь, под ободряющим взглядом председателя.

– Вы – все мои дети, – сыплет она, показывая на публику, – я старше всех. Я всем говорю, кого встречаю: все, что Кравченко писал, все правда! Только он мало написал, надо было в десять раз больше. И коммунисты ко мне ходят. Я и им говорю... Мы, говорят, верим вам... Там за драку в пьяном виде пять лет тюрьмы дают. Как в Сибирь их гнали! Как бабы выли... Я думала, с ума сойду. А тут – «Юманитэ» и всякое такое. Одна порнография! Народ очень мучается. Никто об этом знать не хочет. Оказывается, когда Торэз приехал в Москву, никто не знал, кто это (из непартийных обывателей).

(Смех. Возгласы.)

– Мне сказали, он в Кремле сидит, а у меня два сына на фронте!.. Очень мне стыдно было быть французенкой. Дезертир он...

Она рассказывает о зарплате рабочих, о том, как брали из этой зарплаты на французские забастовки.

Председатель: На наши забастовки?

Г-жа Лалоз: Ну конечно. В России же нет забастовок... Когда я захотела уехать, спрашиваю: где наш посол? Мне говорят: никакого посла нет. Все французы – интервенты. Но я добралась до Москвы и все объяснила. И уехала.

– Меня не купишь! – восклицает она... – Стыдно в мире жить, зная, что такой режим существует. Книга Кравченко... Да я не прочла ее, я ее проглотила!.. В России людей запрягали пахать, я сама видела.

Председатель: Вы это видели сами?

Г-жа Лалоз: Да.

Председатель: А церкви?

Г-жа Лалоз: Это – комедия или лучше, сказать, – трагедия. Когда Гитлер подходил, все церкви открыли. Рус-

ский народ религиозен. Это чтобы он лучше воевал...
Вся моя жизнь там прошла...

Большие часы показывают семь часов.

Адвокаты «Л. Ф.» молча отпускают Ирэн-Ольгу Лалоз-Горюнову, не задав ни одного вопроса.

Председатель встает. Заседание закрыто.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Вторая неделя процесса В.А. Кравченко закончилась. В среду, на заседании, продлившемся пять часов, были заслушаны два свидетеля: это была атака «Лэттр Франсэз» против Кравченко. В эту атаку были пущены два тяжелых орудия: американец, «специалист пятой колонны» Альберт Кан и англичанин, член рабочей партии в палате общин Циликаус.

Мэтр Изар, оправившийся от болезни, был в своей лучшей форме, и прения благодаря его выпадам часто носили весьма оживленный характер.

Специалист пятой колонны

Говорящий только по-американски, именующий себя журналистом, Альберт Кан – автор трех книг: «Великий заговор против России», «Саботаж» и «Заговор против мира».

Адвокат «Л. Ф.» рекомендует его книги суду, читает хвалебную критику о них и предупреждает суд, что свидетель будет говорить о сношениях Кравченко с фашистами в Америке.

Председатель: Что вы можете сказать по делу?

Кан: Моя специальность – разоблачать фашистов и пятую колонну, открывать антисоветские интриги. Я работал в комиссии, которая занималась разоблачением пропаганды наци в Америке. В этой комиссии были та-

кие лица, как Томас Манн, проф. Эйнштейн, Жак Маритэн, Дороти Томпсон...

Мэтр Изар: ...которая восторженно писала о книге Кравченко!

Кан: Это она позже писала, когда подпала под влияние Пауля Шеффера, правой руки Геббельса. И я арестовал ее. Во время войны она была прогрессисткой. Мы вылавливали шпионов и саботажников.

Мэтр Изар: Если я правильно понимаю свидетеля, то это он как раз и есть «секретный агент американской службы»? (Смех.)

Кан: Я не агент. Я боролся с врагами моей страны и вашей страны и с врагами СССР.

Председатель: Знаете ли вы Сима Томаса?

Кан: Никогда о нем не слышал. (Недоумение. Смех в зале.)

Председатель: Вы не знаете, что диффамация была подписана «Сим Томас»?

Свидетель этого не знает. Суд удивлен.

Председатель: Но вы знаете, что была статья, в которой была диффамация?

Кан: Я узнал об этом вчера.

Председатель: Читали ли вы ее?

Кан: Нет.

Мэтр Изар: Свидетель заявил, что он сделал 3500 миль, чтобы присутствовать на этом процессе. Мне кажется, он сделал это напрасно.

Кан: Дело для меня идет не только о Кравченко. Для Кравченко я бы не вышел и за ворота своего дома. Дело идет о гораздо большем.

Мэтр Изар: Значит, он приехал не для дела Кравченко. Зачем же он здесь?

Кан: Я расскажу о связи Кравченко с украинскими фашистами. В Америке находится миллион украинцев. Они все фашисты и продолжают шпионаж, которым занимались наци. Они работают под началом бюро, которым в свое время руководил Альфред Розенберг. Их

штаб в Берлине. Ими руководили полк. Николай и Сво-ропадский. У нас, в Америке, есть также белые русские, они тоже фашисты и царисты. Многие работали с немцами и японцами. Я специалист по изучению их работы.

По словам свидетеля, японские шпионы были частично арестованы во время войны. К ним Кан причисляет Вонсяцкого.

Он рассказывает, как этот последний совершал похищения богатых людей и брал выкуп, как соблазнил в Париже богатую американку и обобрал ее: как у Вонсяцкого был найден целый арсенал оружия. Это он устроил убийство Кирова. Но власти, в конце концов, посадили его в тюрьму.

Председатель: Много ли в Америке людей, которые, как вы, борются с антисоветской пропагандой?

Кан: Их очень мало. Гораздо больше людей, которые эту пропаганду сеют. Во время войны тех, что борются, было больше. Сейчас им трудно. Враги СССР сеют войну.

Председатель: Вы приехали во Францию свободно? И можете после процесса вернуться в Америку?

Кан: Я мог выехать на 10 дней. Каждый гражданин Америки может вернуться на свою родину. (Возгласы в зале.) Я не хочу, чтобы вы думали, что Кравченко представляет Америку. Он выбрал свободу, потому что ему Соединенные Штаты понравились.

Мэтр Изар: Как объяснит г-н Кан тот факт, что Сим Томас не приехал на процесс, если так легко можно ездить туда и обратно?

Кан: Может быть, у него другие причины не являться...

Митинг и самореклама

Кан рассказывает о значении своих книг, о том успехе, который они имели, называет людей, которые писали для них предисловия. «Моя первая книга... моя вторая книга... моя третья книга...»

Председатель: Скажите ему, что Сим Томас – главный обвиняемый.

Переводчик «Лэттр Франсэз» г-н Зноско-Боровский, явно не успевает переводить быструю речь оратора, который, видимо, привык выступать в публичных местах и говорит без умолку. Он раздражается, когда ему недостаточно быстро переводят колкие выпады мэтра Изара.

Лишний раз приходится отметить совершенно исключительную способность г-н Андронникова, казенного переводчика, схватывать мгновенно все оттенки речи.

Председатель: Скажите, что вы думаете о книге Кравченко?

Кан (развязно): Она похожа на книгу Кинслея «Сексуальная жизнь американца», но она хуже. В ней тоже много написано о половом вопросе. В Америке этот вопрос приносит деньги. Таких книг у нас выходит очень много, никто не обращает на них внимания.

Председатель: Что думает свидетель об интервью Кравченко в апреле 1944 года?

Кан: Интервью было в 1945 году. (Смех.) Много было интервью. Я не все читал. Я очень занят.

Председатель: Но как же цензура пропускала статьи предателей и шпионов?

Кан: С 1932 года у нас существует немецкий Интеллидженс Сервис. Он устроил сеть саботажа. В этой организации все присягали Гитлеру, было 20 000 членов. Правительство все это допускало. Некто Лук Мишуа был главой этого американо-немецкого «бунта». Он был украинцем. Он друг Кравченко.

Кравченко с недоумением поднимает голову и смотрит на свидетеля.

Кан: То есть не друг, но он печатал в своей газете «Свобода» книгу Кравченко и ее рекламировал. Во время войны Мишуа ездил к Геббельсу в гости и виделся с Риббентропом.

Кан начинает длинную историю о том, каким именно способом он выводил на чистую воду во время войны японских шпионов. Затем он берет книгу Кравченко и хочет прочесть цитату на странице такой-то.

Мэтр Изар: Спасибо! Нам это тоже читал наш дорогой Баби (профессор-коммунист)!

Кан: Книга Кравченко – результат конспирации против СССР. Эта конспирация началась в 1918 году. Гитлер пришел к власти потому, что ему помогли это сделать немецкие, английские, американские и другие капиталисты. Он обещал им уничтожить СССР.

Затем свидетель переходит к рассказу о своем путешествии в Польшу, где он видел страшные следы нашествия немцев.

Мэтр Изар: Мы с вами совершенно согласны. Это было ужасно.

Председатель: Мы все это знаем и испытали сами.

Перестрелка

Кан закончил свои показания.

Кравченко встает со своего места:

– Я ни с фашистами, ни с монархистами, ни с сепаратистами не имею никакого дела. В Германии в монархической газете («На Переломе». – *Н. Б.*) было напечатано две недели тому назад нечто вроде приветствия по моему адресу. Мэтр Изар прочтет копию телеграммы, которую я туда послал.

Мэтр Изар читает телеграмму Кравченко, который сообщает газете, что ничего общего с ней не имеет.

Кравченко: Почему свидетель говорил о немецких зверствах и ничего не сказал о страданиях русского народа?

Кан: Ужасы советского режима все выдуманы.

Кравченко: Чем объясняет свидетель, что моя книга печаталась фельетонами в 40 американских га-

зетах одновременно? Неужели в Америке 40 фашистских газет?

Кан: Это были газеты Херста... Он – фашист и был за «Ось».

Чей же все-таки Кравченко агент?

После перерыва мэтр Изар объявляет, что задаст свидетелю несколько вопросов.

Изар: Был ли свидетель в России?

Кан: Нет.

Изар: Если вы только вчера узнали о существовании Сима Томаса, то что вы знали третьего дня?

Кан: Я знал, что есть процесс.

Изар: Мне кажется, вы должны были доказать, что Кравченко – агент?

Кан: Я приехал свидетельствовать о деятельности Кравченко в Америке.

Изар: Если только для того, чтобы нам сказать, что он – против Советов, то ехать, пожалуй, не стоило? Или то плохо, что его Херст печатал?

Кан: Я сказал о связи Кравченко с Мишуа и о том, на кого работает его книга. Впрочем, он никогда ее не писал. Ее писал Лайонс.

Изар: Только что я прочел в газете «Франс-Суар», что Сталин приглашает Трумэна в Москву. ТАСС дал об этом телеграмму как раз в прессе Херста. (Смех. Публику призывают к порядку.) Я хотел бы знать, был ли Кравченко агентом секретной американской службы или агентом американских наци?

Кан: Он не мог быть агентом американской службы. Он работал на немцев.

Это заявление свидетеля производит известное впечатление: из этих слов следует, что Кан и «Лэтр Франсэз» обвиняют Кравченко в совершенно различных вещах.

Изар: Вы не сражались во время войны?

Кан: Нет. Я был полезнее как журналист. Я разоблачал фашистов, я...

Председатель: Покороче, пожалуйста. Мы уже поняли.

Изар: Надо ли так понять ваши слова, что цель русских в Америке – заставить власть закрыть коммунистическую партию?

Кан: Не только ее, но и все вообще прогрессивные партии.

Мэтр Изар читает показания Кравченко в комиссии по расследованию антиамериканских действий. Из этих показаний явствует, что Кравченко совершенно не считает нужным запрещение американской компартии.

Далее мэтр Изар приводит статью из «Дэйли Уоркера» (коммунистическая газета) от 1939 года, из которой следует, что американские коммунисты были изоляционистами. «Янки не придут к вам, – писалось там в обращении к воюющей Европе. – Мы не поможем вам никак!»

Кан: Я не отвечаю за эту газету.

Изар: Что вы думаете о последней резолюции Коминформа?

Но Кан, не отвечая на вопрос, снова пускается в рассуждения об американских фашистах.

– Я желаю вам, – говорит ему мэтр Изар, – вернуться домой благополучно и нежно взглянуть по приезду в Нью-Йорк на статую Свободы!

Тогда встает мэтр Нордманн и спрашивает Кравченко, почему он в Америке не начал этого процесса в свое время, когда о нем коммунисты писали, что книга не его.

Кравченко: Во-первых, у меня не было тогда денег. Это стоит очень дорого. Во-вторых, компартия Америки так ничтожна, что не стоит и бороться против нее. Во Франции же компартия очень сильна, и тут-то и надо ее разоблачать.

Нордманн (иронически): Она насчитывает 33 процента населения.

Изар: Но ведь мы тоже представляем две трети!

Что русскому здорово, то немцу – смерть

Второй свидетель защиты – депутат английского парламента Цилиякус. Он был в России в 1918 году, в 1931-м, 1936-м и, наконец, в 1947-м, когда беседовал «три часа с Молотовым и два часа со Сталиным». Он считает, что все, что было сделано советской властью, было необходимо. Все мероприятия удались, все идет к лучшему, а если и были «преувеличения», то без них невозможно.

Цилиякус принадлежит к тем иностранцам, которые считают, что Россия до 1917 года пребывала в средних веках, что при царях во всех войнах ее били, что народ – темный, страна – отсталая, и что хоть и много в ней достигнутий за последние 30 лет, однако далеко ей до Англии. Конечно, европеец бы не выдержал такого режима, но русский человек выдержать может очень многое, и потому, собственно, волноваться особенно не надо. Книга Кравченко – лживая, все в ней преувеличено или искажено.

– Коллективизация была полезна, – говорит флегматически Цилиякус. – Беспорядки всегда бывали. Сталин говорил мне лично, что хочет жить со всеми в мире. Жизнь русских, конечно, трудна, но они идут к светлому будущему и лет через 30 эволюционируют. Там иные, чем у нас, концепции...

Мэтр Изар нападает сразу со всех сторон: выясняется, что о Коминформе свидетель «думает без энтузиазма», что Черчилля считает «виновником войны», что 3 февраля он будет выступать в Париже на коммунистическом митинге «Кравченко против Франции», что во время итальянских выборов он поддерживал социалиста Ненни, который был за объединение с коммунистами.

Изар: Думаете ли вы, что Кравченко может теперь спокойно вернуться в Россию?

Цилиакус (слегка запинаясь): Там, как я уже сказал, несколько иные концепции...

Заседание закрывается.

В понедельник – допрос советских свидетелей.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

В понедельник, 7 февраля, началась третья неделя процесса В.А. Кравченко. Этот седьмой день носил драматический характер: Зинаида Горлова-Кравченко-Свет-Гончарова, первая жена Кравченко, давала свои показания Сенскому суду. До нее показывал инженер Романов, член советской закупочной комиссии в Вашингтоне, прямое начальство Кравченко в 1943–1944 годах.

Заседание началось в 1 час 30 минут. Прежде чем вызвать свидетелей, мэтр Нордманн, адвокат «Лэттр Франсэз», просит прокурора ответить на три вопроса.

Прокурор заговорил...

Первый допрос Нордманна касается визы Кравченко и Кэ д'Орсэ, второй – виз его свидетелей и третий – министерства информации, давшего Кравченко «трибуну» для его политических речей, разрешившего устроить телефонные будки в суде для журналистов и вообще придавшего процессу «характер грандиозности».

Две недели молчавший прокурор заявляет, что обо всем он в подробностях скажет в своей речи. Пока же может сказать только, что визы все были даны законно, а телефонные будки и пр. устроены потому, что так министерство сочло нужным распорядиться.

Нордманн возражает против нынешнего французского правительства.

Председатель: Мы судим здесь не наше правительство, а диффаматоров из «Лэттр Франсэз».

Мэтр Изар предупреждает суд, что свидетели, которые будут выступать сегодня и во вторник, в большинстве своем – коммунисты: он читает те наставления, которые дают Вышинский и другие всякому коммунисту, вступающему в спор с беспартийным: политика партии выше закона, говорит Вышинский. Если партийная линия говорит одно, а закон – другое, надо держаться партийной линии. Поэтому, говорит Изар, все слова свидетелей, которых мы услышим сейчас, продиктованы свыше.

Блюмель (адвокат «Лэттр Франсэз»): Свидетели будут присягать и показывать совершенно свободно.

Свидетель Романов

В голубом костюме, видимо, накануне купленном, громадный, с толстым и несколько кислым лицом (которое делалось постепенно все кислее), инженер Романов начинает свой рассказ о грехах юности Кравченко:

– В семье это был урод. Мы с ним – земляки. Знакомы с 1926 года, – говорит Романов. – Отцы наши работали вместе на заводе. Его младший брат был в одном со мной цехе. Кравченко был в юности тщеславен и любил легкую жизнь. Хотел всюду быть первым. В семье из-за него были скандалы. Жил не по средствам. Был эlegantен (в публике смех), кутил, волочил, хвастал успехами (продолжительный смех в публике).

Затем Романов рассказывает гнусную историю о том, как некий старый рабочий Афанасий изобрел способ улучшения производства и как Кравченко этим изобретением завладел.

Кравченко (равнодушно): Романов знает, что он врёт.

Романов: Я постараюсь говорить правду. Кравченко не глуп. (Мэтр Изар: Спасибо и на этом!) У него пре-

красная память. (Мэтр Изар: Так и запишем! Это очень важно.) Он умеет себя подать. Но его отец мне говорил, что он позорит семью.

Кравченко: Романов, да побойтесь вы Бога! (Смеется.)

Романов: В Техническом институте он славился распутством и вел себя не совсем хорошо. Например, когда он провалился на экзамене у профессора Емельяненко, он потом распустил слух, что Емельяненко по классовым причинам его провалил. Время у него уходило на все, кроме ученья. Как ему дали диплом, я даже не знаю...

Мэтр Изар: Но вы, кажется, сказали, что он не глуп? (Смех.)

Романов: В 1942 году на Урале мне говорил о нем инженер Герардов: сколько лет этому жулику еще удастся надувать людей? Он дал Кравченко свой проект...

Кравченко: Да я тогда с Герардовым не работал!

– ...и Кравченко присвоил этот проект. Зарегистрировал его как свой, – невозмутимо продолжает Романов. – В 1948 году я встретил Кравченко в Наркомате внешней торговли. Он сказал мне, что едет в Америку, что его назначили потому, что он прекрасно говорит по-английски.

Кравченко: Какая чепуха!

Романов: Кравченко сказал тоже, что отец и мать его повешены немцами, так же, как и жена. Он к этому времени бросил металлургический завод...

Кравченко: Потому что меня взяли в армию.

Романов: Потому что он воевал и сказал, что отморозил ноги.

Кравченко: Никогда не было такого разговора.

Романов: Но я знал, что жена его жива и эвакуирована с сыном.

Председатель: А у них был сын?

Романов: Да. В Америке я опять увидел его. Несмотря на то что я знал, что он такое, я все-таки с ним общал-

ся, земляки мы, знаете, ну и так далее... Но у него было поведение самостоятельное, и уже мнение об Америке тоже самостоятельное. (Продолжительный смех в публице.)

Председатель: Читали ли вы книгу Кравченко?

Романов: В СССР – нет. Но здесь мне перевели две главы. Противно слушать было. Да и он ли ее написал?

Проклятая самостоятельность

– Я могу рассказать подробно про закупочную комиссию, – предлагает свидетель.

Председатель: Нет, нет! Покороче, пожалуйста.

Романов: Я был его начальством.

Председатель: Но ведь вы знали, что это за человек, как же вы ему доверяли?

Романов: Земляки, знаете... И потом, что же, за такое у нас в тюрьму не сажают. Он, впрочем, никогда не занимал ответственного поста. И ужасно был независимым.

Кравченко: Старался все ездить по городу без переводчика! (Смех.)

Романов: Когда я ему сказал, что скучаю по Советскому Союзу, по жене и дочери, он ответил, что хотел бы остаться в Америке подольше. Узнав, что ему нравится Америка, я сейчас же сказал об этом моему начальству. До Кравченко это дошло. Он почувствовал, что не может вернуться: у него сделался животный страх перед отправкой на фронт, и вот однажды, в какой-то понедельник, в апреле 1944 года, он не явился на службу. Мы забеспокоились, поехали к нему на дом. И так мы узнали, что он совершил гнусное преступление: он вступил в дебаты с нашим правительством.

Кравченко: А почему нет?

Обстрел Романова

Председатель: Читали ли вы статью Сима Томаса?

Романов (плачущим голосом): Читал! Я понял, что он предатель и не может больше смотреть в глаза!

Кравченко: Да вы не плачьте! Я смотрю вам в глаза!

Романов: Истинно русский человек не может сделать такую пакость.

Мэтр Нордманн задает Романову вопрос: был ли Кравченко в комсомоле?

Но, оказывается, Кравченко был в комсомоле до знакомства с Романовым.

Нордманн: Был ли Кравченко студентом в Харькове?

Романов: В Днепропетровске.

Нордманн: Значит, опять ложь! Он не был в комсомоле, не был в Харькове. А в Никополе он был?

Романов: Нет. Это фарс.

Кравченко: Я был в Харькове, был в Никополе, с Цыпляковым и Борецким. И я все это докажу.

Романов (флегматически): Да, фамилии он называет правильно.

Кравченко: Я хочу спросить, в свою очередь: пусть нам свидетель скажет, когда он вступил в партию?

Романов не отвечает на этот вопрос, Вюрмсер с места кричит что-то, мэтр Изар, в свою очередь, возвышает голос:

– Тут судят не Кравченко, а вас. Вы – диффаматор!

Романов: Я был беспартийный.

Кравченко: Это секрет, когда вы вступили в партию?

Романов (нехотя): В 1939 году.

Из этого ответа следует, что Романов вообще не мог знать очень многого касательно жизни и работы Кравченко до 1939 года.

Нордманн: Пусть Кравченко скажет, когда он поступил и когда окончил Харьковский институт!

Кравченко: Не скажу! Через два дня здесь будут три свидетеля говорить об этом. Один из них – мой харьковский профессор, у которого я учился. (Движение в пуб-

лике.) Романов не был в партии и ничего обо мне не знает.

Романов (вяло): Но мы земляки.

Опять начинается сильный шум. Адвокаты вскакивают со своих мест, и все кричат в одно и то же время.

Кравченко и Романов по-русски ругаются, переводчики за ними не поспевают.

Слышен голос Кравченко: Поцелуйте Сталина от меня, когда увидите!

Романов: Поцелую, да не от вашего имени!

Нордманн (возвышая голос): Ясно, что Кравченко нигде не был и ничего не видел.

Кравченко: Может быть, я и не водился? (Смех.)

Академик Трайнин

Председатель хотел бы знать, была ли закупочная комиссия милитаризована, т.е., иначе говоря – дезертир ли Кравченко? Романов отвечает: «нет», но переводчик, г-н Зноско-Боровский, этого «нет» не переводит, и мэтр вскакивает со своего места.

– Вы аккредитованы при Сенском суде, вы присягали! Почему вы не переводите этого «нет», которое мы все поняли?

Затем спор поднимается о трубах, которые были заказаны Советами в Америке: Романов утверждает, что Кравченко принял бракованный товар, мэтр Изар доказывает, что бракованные трубы были приняты Романовым.

Нордманн: Как вел себя Кравченко в денежных расчетах?

Романов: Подробно не могу рассказать, но нечистоплотно.

Мэтр Изар: В 1942–1943 годах Кравченко состоял при Совнаркомме. Известно ли это вам?

Романов: Такой нуль! Никогда он не был в Совнаркомме! Я помню, он был не согласен с нашим вождем...

Мэтр Изар: Каким образом в апреле 1944 года, после того, как было дано знаменитое интервью, советское посольство четыре дня отвечало журналистам в Вашингтоне, что никакого Кравченко оно не знает?

Но Романов на это ничего ответить не может. По просьбе председателя он рассказывает, через кого он узнал о процессе и от кого получил приглашение в нем участвовать: это был академик Трайнин. Судя по показаниям свидетеля, Трайнин был тем лицом, которому было поручено вербовать свидетелей в СССР для процесса Кравченко.

Суд отпускает свидетеля до среды, когда назначается очная ставка между ним и Пасечником, свидетелем со стороны Кравченко, знавшим Кравченко в Харьковском институте.

Драматический диалог

После перерыва, в накаленной атмосфере переполненного зала, в пять часов пополудни, появляется Зинаида Горлова.

Это миловидная блондинка, 36 лет, обладательница, как выражались в старину, роскошных форм, крепко затянутая в корсет. На ней черное платье. Лицо ее бледно и мрачно. Она рекомендует себя как женщину-врача.

– Мне было 19 лет, когда я встретила с Кравченко. Это была позорная страница моей жизни. В 1932 году мы поженились. Мои родители были против. Мой отец сказал про Кравченко, что это «безграмотный Дон-Жуан».

Далее идет мелодраматическая повесть о том, как сначала по желанию Кравченко она сделала себе аборт, а затем родила ребенка, на которого он отказался давать алименты.

– Он меня бил. Он бил посуду, – говорит Горлова монотонным голосом, как заученный урок, – он ревновал меня. Едва не убил...

Председатель: Он стрелял в вас?

Горлова: Нет, хотел стрелять.

Председатель: То есть целился из револьвера?

Горлова: Он грозил...

Когда Кравченко узнал, что она во второй раз беременна, он опять начал бить посуду, а потом заявил: теперь тебе время от меня уходить, а то ребенок испортит мне карьеру. «Тогда я ушла к родителям», – заканчивает свой рассказ свидетельница.

Председатель: Что же было потом?

Горлова: Кравченко не помогал мне. В 1935 году я вторично вышла замуж. Мой второй муж хотел усыновить ребенка от Кравченко, но этот последний долго не давал своего согласия на это.

Председатель: И никогда не давал денег на сына?

Горлова: Он сказал, что банкрот. Но теперь я свободна и молю Бога, чтобы сын не был похож на отца, а то я буду так же несчастна, как его мать. Кроме презрения и отвращения я к Кравченко ничего не питаю.

Мэтр Нордманн начинает ставить свои вопросы: они сводятся к тому, чтобы доказать, что Кравченко лгал, когда писал свою книгу. Горлова говорит, что ни о коллективизации, ни об Орджоникидзе Кравченко никогда ей ничего не говорил.

Кравченко, бледный, взволнованный, с горящими глазами, встает со своего места. Он напоминает Горловой, что она с ним вместе была в колхозах, что ходила к Орджоникидзе.

Горлова: Это все сплошная ложь!

Мэтр Изар достает из портфеля документ, из которого явствует, что Горлова была в Кремле у Орджоникидзе и Кравченко прав. Бывшая жена Кравченко начинает медленно краснеть и просит стул, чтобы сесть.

Кравченко: Не я лгу, а вы лжете! Вы скрыли от суда, что замужем не два, а три раза. (Впрочем, это не грех!) Ваш отец, Сергей Николаевич Горлов, меня любил. О первой беременности вы признались мне через три

дня после нашей свадьбы и сами захотели операцию, как этого хотела и ваша мать. В колхозах вы были со мной вместе, не выдержали этой жизни, но скрывали это, а то бы вас выгнали из Медицинского института, где вы учились. Затем вы поехали в Бердянск отдохнуть от колхозных впечатлений. А по приезде из Бердянска мы, по обоюдному соглашению, разошлись. И я тогда не знал, что вы вторично беременны.

Горлова: Это все сплошная ложь!

Кравченко: Я прошу суд вызвать в среду моих свидетелей, которые знали Зинаиду Горлову, когда она была моей женой. Они подтвердят все мною сказанное. (Горлова опускается на стул, голос ей изменяет.) Вы помните Мишу Щербаня и Черникова?.. (Кравченко смотрит в глаза Горловой.)

Председатель: Хочет ли он сказать, что предполагает, что сын – не от него?

Кравченко: Нет, я этого не говорю... Я платил за него в клинике. Его принимал профессор Шмундак...

Председатель сердится не на шутку

В эту минуту мэтр Нордманн, все время прерывавший Кравченко, возвышает голос. Он требует, чтобы ему дали возможность задавать свидетельнице вопросы. Это – суд, а не трибунал для речей Кравченко!

Председатель: Мэтр Нордманн, вы были храбрым офицером во время войны, но здесь я не допущу вашего авторитарного тона!

Кравченко продолжает рассказывать дальше. Он иногда встречал Горлову на «проспекте», у него есть фотографии, где он снят с сыном...

Горлова: Это он гулял по проспектам, а не я!

Затем он говорит об ее отце. Он не умер, как утверждает свидетельница, а отбывает наказание в Сибири.

Он – бывший офицер царской армии. А сама Горлова – жертва советской полицейской системы.

– Я требую, – говорит Кравченко, – чтобы она не выезжала до среды из Парижа, когда будет очная ставка ее с моими свидетелями. Я ей гарантирую жизнь до конца ее дней, если она хочет...

Мэтр Нордманн встает с места: Этот человек бросил жену с ребенком!

Председатель: О брошенном ребенке вы скажете в вашей защитительной речи!

Нордманн: Он предал женщину и свою родину!

Председатель (возвышая голос): Мэтр Нордманн, я прошу у вас слова!

Нордманн: Довольно мы слушали Кравченко!

Председатель: Мэтр Нордманн, я лишаю вас слова!

Нордманн: Я протестую!

В сильном шуме не слышно слов.

Горлова пытается «под занавес» сказать, что Кравченко негодяй и подлец.

Кравченко кричит: Опять граммофонная пластинка!

Мэтр Изар сияет, как и мэтр Гейцман: свидетели «Лэттр Франсэз» никого ни в чем не убедили: Нордманн и другие адвокаты противной стороны пытаются докричаться до председателя, который, рассерженный, встает и объявляет заседание закрытым.

Кравченко долгим взглядом смотрит на свою бывшую жену. Он взволнован и этого не скрывает, его волнение отчасти передалось в публику. Все встают со своих мест.

На часах – без четверти семь.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

После бурных инцидентов понедельника и в ожидании очных ставок, назначенных на среду, заседание вторника, 8 февраля, было сравнительно спокойным, ес-

ли не считать едва не начавшейся рукопашной между Кравченко и свидетелем Колыбаловым.

Два советских свидетеля и один ученый француз (привыкший, как он выразился, вращаться в самом лучшем обществе) заполнили день. Заседание началось в 1 час 30 минут дня. Один из адвокатов «Лэтр Франсэз» Матарассо напоминает, что желание ответчиков увидеть, наконец, русскую рукопись Кравченко до сих пор не исполнено.

Мэтр Изар отвечает, что он ее покажет тогда, когда сочтет это нужным.

Вводят свидетеля Колыбалова. Это инженер, знавший Кравченко в СССР и бывший с ним одновременно в Америке. У него хмурое лицо, низкий лоб, тихий голос.

Центротруба

Специалист по трубам Колыбалов начинает свою речь с длинного пояснения. Он говорит о своей работе в Главтрубостали, о нормах производства, о перевыполнениях плана, об организации строительства. Такие слова, как конвейер, ревизия, цех, бригада, освоение техники, – медленно и неуклюже переводятся по-французски.

Председатель: Что вы можете сказать о Кравченко?

Колыбалов: Работал плохо. Растратил 60 000 рублей. Никогда не был директором завода, был директором несуществующего строительства. (Смех.)

Из показаний свидетеля выясняется, что Кравченко был приговорен к двум годам каторжных работ за растрату, что он хоть и воевал, но был скоро освобожден от военной службы, так как врачи нашли у него «дефективное развитие».

Как и свидетели, выступавшие накануне, Колыбалов хочет доказать суду, во-первых, что Кравченко дезертир, во-вторых, что вся его позорная жизнь привела его ло-

гически к «гнусному концу» и, в-третьих, что он был нулем и таким остался.

Мэтр Изар несколько раз вступает в спор с Нордманном. Колыбалов не понимает по-французски и нервничает.

– Держите ваши нервы в руках! – смеясь, говорит ему Кравченко.

Но очень скоро дело оборачивается серьезно.

«Я вас высеку!»

– Это Колыбаловы виноваты в том, что тысячи инженеров были сосланы и загублены! – отвечает суду Кравченко на обвинения советского инженера. – Это круглые бездарности. Они зарабатывают теперь себе политический капитал, свидетельствуя на моем процессе. Я вас высеку. Колыбалов, вы – технический Хлестаков! Вы бездельник, вы – интеллектуальное ничтожество!

Кравченко держит в руках документ, из которого явствует, что начальство обоих, Меркулов, был доволен работой Кравченко.

– Все это происходило по приказу Лазаря Кагановича, а не по приказу Колыбалова, – говорит Кравченко.

Но свидетель настаивает, что это ложь. Оба повышают голос, переводчики не успевают за криком, адвокаты вскакивают.

– Мне наплевать на Сталина! – покрывает Кравченко своим сильным голосом голос Колыбалова. – Я всю жизнь ждал этого дня! Я в свободной Франции.

Председатель: У него некоторый темперамент.

Кравченко: Я докажу вам, что врете вы, а я говорю правду.

Следует оживленный рассказ о комиссии, которая приезжала проверять работу Главтрубостали, о подтасовке в перевыполнении плана, о наркоме Меркулове, о растрате (о которой все рассказано подробно в книге Кравченко), о командировках.

Колыбалов, оглушенный цифрами и фактами, стоит неподвижно и молчит. Да, Кравченко был отдан под суд, сначала ему дали два года, потом заменили на год. Он отработал его на производстве, где работал до суда, и штраф заплатил десятью процентами своего жалования.

Мэтр Изар: Вы встретились с Кравченко в Америке, вы говорите, что он был осужден по суду. Но вчера свидетель Романов нам сказал, что Кравченко никогда не был осужден по суду.

Колыбалов молчит, держа в руках фотокопию письма Меркулова с комплиментами по адресу Кравченко и его работы. Он в недоумении.

Изар: Я задаю свидетелю вопрос: на московских процессах...

Колыбалов: Какие такие процессы?

(Ему поясняют.)

Колыбалов: Я приехал по делу Кравченко и ни о чем другом говорить не буду.

Изар: Ну конечно, в советском кодексе имеется статья 51.1. Литера С. (Статья касается оставшихся в России родных.) Из-за этой статьи советские свидетели ничего и не могут сказать!

«Я тот, который уцелел»

– Я тот, который уцелел, – говорит Кравченко взволнованно, – а сколько из нас погибли? И погибли из-за таких бездарностей, как вот этот! Я бы оторвал вам голову, если бы встретил вас в Париже не на процессе, а на улице. Но подождите: я вернусь в Россию, и тогда вы все ответите!

Кравченко приближается все ближе к свидетелю. Жандарм быстро становится между ними обоими.

Председатель: Я прошу сказать Кравченко, чтобы он был вежливее со свидетелями. Они позже сведут свои счета. (Смех.)

Колыбалова уводят. На его место приходит второй советский свидетель: инженер Василенко, депутат Верховного совета Украины с 1938 года.

Уровень интеллигентности приблизительно тот же, что и Колыбалова, но в нем больше уверенности в себе, и голос его громче.

Этому свидетелю было суждено потопить и себя, и своих единомышленников.

Показания Василенко

Началось, впрочем, все самым обыкновенным образом: была вновь пущена в ход пластинка, которая служила накануне Романову: плагиат, растрата, успех у женщин. В Америке свидетель застал однажды у Кравченко на квартире... даму!

– Назовите ее! Она завтра же будет здесь! – смеется Кравченко.

Василенко: Когда я уезжал из Америки (февраль 1944 года), Кравченко дал мне письмо к своей матери. Он всегда производил впечатление человека, который жаждет славы, хочет быть известен повсюду. Это ему не удалось! (Продолжительный смех в публике.)

Василенко кончил свои показания, и перед тем как дать адвокатам возможность задавать ему вопросы, председатель Дюркгейм объявляет перерыв.

Журналисты и публика выходят из душного зала. Выходит и Зинаида Горлова, находившаяся в зале между Романовым и своей спутницей, женщиной средних лет, небольшого роста, которая заявляет журналистам, что она говорит только по-французски и по-армянски, а по-русски не говорит. Принимая во внимание, что Горлова не говорит ни по-французски, ни, конечно, по-армянски, это кажется несколько невероятным.

На широкой площадке Горлова, ее спутница, Романов, Колыбалов, и редакторы, и адвокаты «Лэттр Франсэз»

оживленно беседуют. Горлова позирует фотографам, улыбаясь. Вид у нее довольный. На ней коричневое зимнее пальто с мехом и высокая шляпа. После Кривого Рога, где она прожила свою жизнь, парижские фотографы доставляют ей удовольствие, которого она и не скрывает.

Через 20 минут заседание суда возобновляется.

Василенко отвечает на вопросы адвокатов: Кравченко никакими заводами не управлял. То, что он под присягой говорил комиссии по расследованию антиамериканских действий, – сплошная ложь, закупочная комиссия была «как бы» милитаризована, и поэтому Кравченко – дезертир.

Василенко: Я был советским ректором...

Кравченко: Я был русским, и это лучше!

Василенко: Вы себя продали!

Кравченко: Кому я себя продал? Вы себя продали! (Внезапно он переходит на «ты».) Мои свидетели завтра придут, они тебя хорошо знают, они все расскажут про тебя!

Василенко: Ты меня знал с хорошей стороны.

Кравченко: Я тебя знал с хорошей стороны, а они все-таки расскажут!

Мэтр Изар просит выслушать документ, полученный им из американского посольства: из него следует, что советское правительство, после того как Кравченко 3 апреля 1944 года уехал из Вашингтона, только 18 апреля сообщило властям о его бегстве и только 6 мая потребовало его выдачи как дезертира. Если бы он был дезертир, оно бы на следующий день сделало соответственное заявление.

Василенко топит себя

После короткой схватки между мэтром Изаром и Вюрмсером, обвинившим адвоката в коллаборации, мэтр Изар приступает к вопросам:

- Был ли свидетель на Украине?
- Да, в 1934 году.
- Что случилось со следующими членами партии, бывшими в правительстве Украины: Коссиор?
- Не слышал такой фамилии.
- Хатаевич?
- Не слышал никогда.
- Любченко?
- Не знаю... (Кравченко тихо: не крути, не крути, отвечай!)
- Якир? Строганов? Марголин?
- Василенко сердится, нервничает.
- Почему я знаю!

Мэтр Изар: Куда девались старшие инженеры: Блинов?

- Где-то работает.
- Бирман? Радин? Калашников? Беликов?
- Вюрмсер: Это что же, телефонный указатель?
- Изар: Да, тюремный и лагерный! Отвечайте, где Вишнер, Стрепетов, другие? Они все погибли во время чистки!

Нордманн: Потому русские и выиграли войну, что у них не было пятой колонны.

Но Василенко, отвечающий все время: не могу знать, не слышал, что вы ко мне пристали! – как-то сразу отпал, съезился, примолк.

В зале движение. Судьи угрюмо слушают список ничего не говорящих им фамилий!

Мэтр Изар еще не кончил. Он спрашивает, слышал ли свидетель что-нибудь о «тройке», которая могла приговаривать заочно?

- Нет... Впрочем, я никогда не вмешиваюсь в дела НКВД.
- А что вы слышали об Особом Совещании, так называемом ОСО, которое было учреждено после того, как убрали Ежова и Ягоду?

Василенко (плаксиво): Я не знаю... Что было бы, если бы я спросил господина адвоката о производстве труб?

Изар: Куда девались 50 из 71 члена большевистской головки после чисток?

Василенко (совершенно потерянный): Я не буду больше отвечать. Я не занимаюсь статистикой.

Мэтр Альперович: Что вы знаете о коллективизации и раскулачивании? О голоде на Украине? О гибели скота?

Василенко: Я мало занимался этим. Я жил всегда в городе и не выезжал в деревню.

Ему читают речь Сталина от 1930 года, в которой этот последний требует насильственной коллективизации.

Кравченко: Это слова самого Сталина!

Василенко: Я думаю, мы прекратим этот разговор... ну что это, право!

(В зале поднимается гул, председатель призывает к порядку.)

Вюрмсер: Что было бы, если бы мы вас спросили: куда девались Дорио, Фроссар, Кламамюс, Бержери?*

Мэтр Изар подхватывает последнее имя:

– Если это камень в мой огород, то я сотрудничал с Бержери ровно столько времени, сколько вы сами!

Человек лучшего общества

Жак Николь, запоздалый французский свидетель от-ветчиков, ученый, друг Жолио-Кюри и покойного профессора Ланжевена. Это господин весьма почтенной наружности с волосами двух разных цветов и длинной губой. Он бывал в России, понимает по-русски.

– Я много раз был в этой стране и должен сказать, что всем там живется превосходно, – начинает свои показания Николь. – Прежним «гран-сеньорам» и новым людям – всем одинаково свободно и хорошо жить. Писате-

* Коммунисты, порвавшие с партией. – Н.Б.

ли и артисты, как молодые, так и старые, очень довольны своей жизнью, все имеют возможность работать, ученые процветают, нас кормили обедами, потом мы гостили у знаменитых академиков. В нашу честь был устроен суд над преступниками. Суд этот был так гуманен, что в антракте обвиняемым подавался чай и все, что им было нужно. Мои друзья: прежний «гран-сеньор» Николай Крылов, знаменитый украинский писатель, академики Гамалея, Трайнин – все отлично себя чувствуют.

В эту минуту мэтр Изар не выдерживает и что-то тихо говорит, видимо, не очень лестное для свидетеля. Тот немедленно обижается:

– Я привык вращаться в лучшем обществе, – заявляет он, – и не позволю себя оскорблять.

Председатель: Что вы можете еще сказать?

Николь: Я мог свободно ходить по улицам и днем и ночью, меня никто не трогал.

Свидетеля отпускают, поблагодарив и не задав ему ни одного вопроса.

Документ Нордманна

Прежде чем закрыть заседание, мэтр Нордманн просит председателя предоставить ему слово.

Нордманн желает обнародовать один документ, который он считает капитальным для всего дела. Это анкета, заполненная Кравченко в 1942 году. Оригинал ее привезен советскими свидетелями из Москвы. Из этой анкеты явствует, во-первых, что Кравченко назвал только одно учебное заведение, в котором учился, не написал, что был в комсомоле, не имеет никаких наград и т.д.

Кравченко внимательно осматривает документ и заявляет, что он не может сейчас сказать, подлинный он или поддельный. Что касается ответов на вопросы, то в России каждый человек на своем веку заполняет сто анкет и не во всех все пишет.

– Я думаю, завтра, после очных ставок, все и без того будет ясно, – говорит он.

Мэтр Изар, со своей стороны, считает, что завтрашнее заседание все решит.

Нордманн: Может быть, Кравченко желает графологическую экспертизу документа?

– Нет, пока в этом необходимости нет.

Заседание закрывается в 7 часов вечера.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Третья неделя процесса В.А. Кравченко закончилась в среду, 9 февраля, в обстановке такого напряжения, какого мы еще не видели.

«Лэттр Франсэз», с которыми мэтр Изар и мэтр Гейцман играли, как кошка с мышью, получили поражение, которого, конечно, не ожидали.

Растерянность редакторов этой газеты и раздражение их адвокатов доведены были до предела, публика шумно выражала свои чувства, председатель и судьи с олимпийским спокойствием взирали на происходящее.

Математик Николай Лаговский

Тот, кого ждали уже несколько дней, появился у свидетельского барьера. Это учитель Кравченко Лаговский, знавший его в Харьковском институте. Он говорит по-французски, и это чрезвычайно облегчает его допрос.

Мэтр Гейцман, на основании документов, рассказывает суду судьбу Лаговского. Сейчас он живет в департаменте Орн. Во Франции – с 1944 года, участвовал во французском резистансе.

О Кравченко этот свидетель говорит как об одном из лучших своих учеников. Кравченко был коммунист. Ла-

говский – беспартийный. Политикой он не интересовался.

Перед нами тип русского педагога, математика, который старался делать все, чтобы его ученики «грызли гранит науки», несмотря на то что 600 часов курса было посвящено изучению ленинизма.

Вскользь касаясь голода на Украине, чистки в Черкасах, Лаговский отвечает на вопросы адвокатов «Лэттр Франсэз» касательно своего пребывания в Германии. Но главная тема его показаний – это харьковский институт, в котором, как накануне утверждал советский свидетель Романов, Кравченко никогда не был.

Первая очная ставка

Романов, по приглашению председателя, выходит к барьеру и становится рядом с Лаговским.

Романов: Кравченко никогда не учился в Харьковском институте. А этот – никогда и профессором там не был! Я представляю здесь советский народ... (Шум в публике.)

Кравченко (пользуясь своей близостью к свидетелю): Мы еще встретимся, мерзавец!

Романов: Господин председатель, я требую, чтобы Кравченко извинился.

Председатель: Инцидент исчерпан. Вы можете сесть на свое место.

Лаговского тоже отпускают.

Мэтр Изар встает.

Речь мэтра Изара

Речь мэтра Изара была ответом на документ, который накануне был предъявлен суду мэтром Нордманном. Это анкета 1942 года, из которой якобы явствует, что

Кравченко больших должностей не занимал, в Харькове не учился и в комсомоле не состоял.

– Вчера, – сказал мэтр Изар, – вы предъявили этот документ, подлинность которого мы не оспаривали. Прочтя его, я готов был подумать, что в России тоже бывают «марсельцы», т.е. люди, которые любят преувеличивать свои достоинства, что Кравченко (это грех небольшой) принадлежит к хвастунам, и нам придется с этим считаться. Но, изучив документ, я увидел, что Кравченко – не «марселец», о нет! Документ этот вами переведен недобросовестно. Вчера же вечером присяжный переводчик Цапкин нам его перевел, позвольте же вам вручить копию этого перевода.

Кроме того, анкета Кравченко была заполнена за три месяца до кассации его дела – следовательно, наказание, здесь указанное, есть наказание первоначальное – два года вместо одного, Кравченко отбытого. Затем – вопрос об учебном заведении ставился в анкете иначе, чем вы сказали, надо было ответить только о том, какая школа была окончена, поэтому Харьковский институт и не фигурировал в ответе.

На основании книг Ивона и Бетелэма я могу сказать, что никакого противоречия нет, когда Кравченко говорит, что занимал «большое место», так как цех в России – не наше ателье. Цех – это громадный заводской коллектив, и чтобы им управлять, надо быть старшим инженером, а вовсе не контрометром, как у нас.

– Ваши свидетели, – продолжал мэтр Изар, – нам врали под присягой вчера целый день. Крепитесь, потому что вас ждет великое разочарование: я держу в руках заявление самого Молотова, в котором он, в связи с третьей пятилеткой, говорит о важном значении комбината, которым заведовать назначается Кравченко. Это было на 18-м съезде компартии, и этот комбинат был включен в третий пятилетний план.

Нарком тяжелой промышленности самолично назначил Кравченко на этот пост. Кроме того, вы назвали ан-

кету «биографией», она же называется «справкой о кадрах». Вы смущены? (В публике смех.) Вчера вам казалось, что мы смущены? Но это было вчера. А сегодня мы торжествуем!

Нордманн немедленно старается сделать диверсию, но это ему не удается.

Мэтр Изар смеется: Смотрите, осторожно! Вам нельзя не быть согласным с Молотовым.

Борис Удалов, друг семьи Горловых

Из тысячи предложений свидетельствовать на процессе Кравченко выбрал нужных ему людей. Перед нами – Удалов, друг его жены по Днепропетровску. Зинаида Горлова, находящаяся в зале, впивается глазами в свидетеля.

Удалов был арестован, подвергнут пыткам, отсидел в тюрьме и затем был освобожден. Он рассказывает суду свои мытарства и страдания людей, которых знал. Некто Бойкович был расстрелян за то, что «якшался с французом Пуанкарэ» (который давно был уже мертв в то время). Эти показания чрезвычайно веселят г-да Вюрмсера и Моргана.

Этот свидетель, в противоположность советским инженерам Василенко и Колыбалову, хорошо знает, как окончили свою жизнь украинские деятели: Хатаевич, Левинсон, Левитин и др. Предупреждая вопросы Нордманна, он рассказывает о том, как он сам был арестован гестапо.

Мэтр Гейцман: Знаете ли вы Зинаиду Горлову?

Удалов: Да. Я знаю ее с 1926 года. В 1938 году я был с ней в довольно близких отношениях, хотел жениться, но предложения не сделал. Она жила тогда в Кривом Роге и была замужем за неким Светом.

Мэтр Гейцман: Что вы знаете о ее отце?

Удалов: Он был арестован и сослан без права переписки. Мать была административно выслана.

Неожиданная сенсация

Мэтр Матарассо (адвокат «Лэттр Франсэз») задает вопрос: На каком языке читал Удалов книгу Кравченко?

Удалов совершенно спокойно достает из бокового кармана пиджака небольшую книжку.

– По-русски, вот в этом сокращенном издании.

Все четыре адвоката «Л. Ф.» вскакивают со своих мест. Как? Книга имеется по-русски? Но ее уже целый год ищут по всему свету и не могут найти! Нельзя ли просить свидетеля пожертвовать ее суду, чтобы приобщить к делу?

Удалов с удовольствием передает книжку адвокату. Кравченко поясняет, что сокращенный перевод с немецкого был сделан без его согласия и что издание это им опротестовано.

Удалов: А еще я читал отрывки в одной газете в Германии, на русском языке.

Опять сенсация! Где читал? Когда? В каком городе? Как называлась газета? Но Удалов точно не помнит.

Нордманн: Кто свидетелю дал эту русскую газету?

В зале продолжительный шум. Удалов пожимает плечами.

Вторая и третья очные ставки

Рядом с Удаловым становится Зинаида Горлова. Она начинает с места в карьер с брани:

– Негодяй, провокатор! Это ложь, что мой отец – враг народа.

Удалов: Я вовсе не считаю, что человек, сосланный НКВД, – враг народа. Наоборот!

Горлова: Мой отец умер. Провокатор! Вам хотелось сделать меня вашей любовницей, но это не удалось. (Голос ее приобретает весьма визгливые ноты.)

Удалов (спокойно): Г-н председатель, гарантируйте меня, пожалуйста, от комплиментов г-жи Горловой.

Председатель – Горловой: Вы можете вернуться на ваше место.

Но Удалова еще не отпускают: на место Горловой, тучный, сердитый, выходит Романов. В публике движение.

Романов, видимо, пораженный французским судом, свободой, с которой публика выражает свои чувства (весьма недружелюбные к его особе), дерзким поведением адвокатов, смелостью самого Кравченко, привыкший к решению всех вопросов «единогласно», становится в позу и начинает речь:

– Мы не хотели больше приходить сюда, – говорит он, – общаться с изменниками нашего народа. Нам было неприятно все это (обводит рукой зал). Здесь несколько человек предателей...

Кравченко: Их сотни тысяч!

– ...говорят все о сексуальных сюжетах. Грязь всякую выносят... А я скажу, что через три недели после приезда Кравченко в Америке сошелся с одной дамой...

Продолжительный шум в публике, смех, гул. Председатель грозит очистить зал.

Мэтр Изар: Зачем он, собственно, здесь?

Романов: Но мы решили оставаться до конца процесса!

Мэтр Изар: Он очень хорошо представляет свою страну.

Романов: Пора знать правду об этих гадах! Здоровенный человек рассказывает нам о пытках. Они все хотят сказать, что в СССР – ад, но председателю ясно, что мы победили Гитлера. Этот господин (на Изара) перевернул все наши факты. Это адвокатская хитрость – переворачивать все вверх дном. (Обращаясь к председателю.) Но мы к вашим услугам и готовы всегда разоблачать...

Конец речи тонет в шуме, поднятом публикой. Романов злобно окидывает взглядом зал и видит насмешливые лица.

Морган: Это кагуляры, а не публика!

Удалов: Он говорит, как говорил Громыко в ООН.
И Романов возвращается на свое место.

Пасечник – жертва ГПУ и гестапо

Бывший вольноопределяющийся Белой армии (при Деникине), инженер Пасечник, когда его спрашивают, где его арестовали и как, неизменно задает вопрос: вы про какой арест говорите? Этот человек в 1930 году прошел все мытарства ГПУ, а в 1943-м – тюрьму и суд гестапо.

Он работал с Кравченко в Днепропетровске, знал его 16 лет, помнит его комсомольцем, кандидатом в партию, партийцем. Арестовало его ГПУ за то, что он не желал писать доносы на своих товарищей. Гестапо обвинило его в саботаже.

Его показания касательно работы Кравченко находятся в противоречии с показаниями советского свидетеля Василенко.

Председатель: Знаете ли вы Василенко?

Пасечник: Которого?

Председатель: Вот этого! (Показывает на Василенко, который встал в зале.)

Пасечник: Знаю.

Председатель: Г-н Василенко, подойдите сюда, к барьеру.

Василенко (угрюмо): Не желаю стоять рядом с этим типом.

Смех в зале. Василенко оставляют в покое.

Мэтр Гейцман: Может ли свидетель сказать, где находится отец Горловой?

Пасечник: Он был арестован и сослан в 1938 году, это все знают.

Он рассказывает суду об эвакуации Днепропетровска. Поездов не хватало, партийцы уехали первыми. На

вокзале днями и ночами сидели толпы – преимущественно еврейские бедные семьи, с детьми, и ждали возможности уехать.

Мэтр Матарассо: Я хочу задать свидетелю вопрос. Вчера мэтр Изар спросил вашего свидетеля, что случилось с некоторыми членами украинской компартии. Знает ли свидетель следующих лиц в Германии, раз он живет в этой стране:

– Шандрук?

– Нет.

– Кубийович?

– Нет.

– Генерал Стефан?

– Нет.

– Генералы Туркул, Абрамов, Глазенап?

Пасечник: Фамилию Туркула я слышал еще в 1919 году. Я стою довольно далеко от политики.

Нордманн встает и начинает, по своему обыкновенно, ловить свидетеля: что делали вы в 1943, 1945, 1941, 1944, 1942 годах. Вопросы задаются вразбивку, он требует точности, где, когда, почему, с кем, куда?.. Пасечник отвечает тщательно, но Нордманну все мало.

– Вы вышли из немецкой тюрьмы?

– Я вышел из немецкой тюрьмы.

– Ну если бы я сидел в немецкой тюрьме, то я бы, наверное, не вышел!

Гул возмущения в публике.

Нордманн: Мы требуем очной ставки свидетеля с Романовым.

Председатель: Мне кажется, г-н Романов сделал свою декларацию, и она годится для всех свидетелей?

(Смех в зале.)

Кравченко (с места): Что вы человека мучаете! Это инквизиция!

Изар и Гейцман встают и требуют, чтобы Пасечника отпустили.

Нордманн и Матарассо протестуют.

Председатель отпускает свидетеля.

Часы показывают половину восьмого. Адвокаты, столпившись вокруг председателя и судей, начинают громкий спор о дальнейших свидетелях и расписании очных ставок.

У мэтра Изара припасены еще полтора десятка лиц, приехавших из Германии. У него припасены и документы сенсационного значения и большой неожиданности. Нордманн нервничает, ему не до шуток...

Заседание закрывается. Возобновление суда в понедельник, 14 февраля.

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ

Десятый день процесса В.А. Кравченко был посвящен опросу свидетелей со стороны ответчиков: их ожидалось большое количество, но без четверти три выяснилось, что свидетельская комната пуста.

Председатель объявил перерыв на целый час, после чего появились еще три человека, и в 5 часов 45 минут заседание было закрыто.

Мэтр Нордманн и другие адвокаты не могли дать этому факту никакого объяснения, обещав, что на следующий день их свидетели непременно будут.

Мэтр Изар в начале заседания отсутствовал.

«Красный» генерал Пети

Французский генерал Пети начинает свои показания: – Все мы были готовы биться, чтобы сбросить с себя советское ярмо, – говорит он.

Смех в зале.

Генерал оговорился! Он хотел сказать «фашистское ярмо». После такого блестящего начала генерал переходит сразу к критике книги Кравченко:

– Советские писания все длинные и тягучие, – говорит он, – а эта книга написана так бойко, что она не может принадлежать перу бывшего советского подданного. В ней чувствуется перо американского журналиста. Память автора совершенно неправдоподобна. Однако есть и ошибки: так, например, зима 1941 года была поздней, а не ранней, как утверждает Кравченко.

– Я был три года в советской России, – продолжает далее генерал, – люди умирали не только за Родину, но и за режим. Режим обещал им счастливую жизнь в будущем. Сталин лично мне говорил: мы заботимся о массах. (Смех.) Солдаты бросались на вражеские танки потому, что у них был идеал.

После Лаваля я был первый француз, принятый генералиссимусом. (Смех.) Сталин сказал мне: мне нечего скрывать от французов! Он позволил мне ходить всюду и смотреть на все, на что я захочу. Все, кого я встречал, были энтузиасты советского режима. Бывали исключения, но они незначительны.

Молотова я тоже встречал. На одном рауте он благожелательно беседовал со мною полчаса, а с остальными только поздоровался. Когда немцы пришли на Украину, они хотели «расколхозить» крестьян, но те не пожелали этого. Они были довольны своей жизнью.

Мэтр Гейцман: Я хочу задать свидетелю один вопрос: что, меньшевики – русские?

Генерал Пети (чешет в затылке, и в этот момент его снимают): Я не понимаю вопроса.

Мэтр Гейцман: Сим Томас написал в «Лэттр Франсэз», что книгу Кравченко сочинили меньшевики. Свидетель говорит, что ее могли написать только американцы. Что же, меньшевики американцы, что ли?

Мэтр Нордманн: Меньшевики живут в Америке 20 лет.

Мэтр Гейцман: Второй вопрос: есть ли в России свобода слова?

Генерал Пети: Я не могу ответить. Там это соответствует режиму. Режим не похож на наш.

Мэтр Гейцман вынимает из портфеля номер «Фран-Тирер» от 11 февраля, в этом номере было напечатано письмо свидетеля Циликакуса, выступавшего на суде от «Л. Ф.», который подтверждает письмом в эту газету, что в России свободы слова не существует.

Движение в зале.

Симпатичный свидетель ответчиков

К барьеру выходит тугой на ухо, престарелый французский инженер, долго живший в России, Жюль Кот.

Мэтр Нордманн рекомендует его как автора книги «Французский инженер в Советском Союзе», вышедшей в 1946 году в издательстве «Кальман-Леви». Кот, по словам адвоката «Л. Ф.», всю жизнь прожил в России.

Кот: Нет, не всю жизнь, но с 1911 года по 1918-й, затем с 1929-го по 1932-й и три месяца в 1936 году. Я получал долларами и очень много. Работал по контракту. Было очень приятно.

Старенький инженер настолько туг на ухо, что его подводят под самое кресло председателя.

Председатель: Что вы знаете о чистках?

Кот: Ничего не знаю. Но был процесс промпартии при мне. 7000 инженеров были арестованы. Вообще же люди были довольны своей жизнью; некоторые, впрочем, выражали свое недовольство. Один директор завода очень был недоволен.

Председатель: Что же с ним сделали? Арестовали его?

Кот: Да, арестовали. (Смех.)

Председатель: Судили?

Кот: Да. И приговорили к смертной казни. (Шум в публике.)

Он говорит быстро, не слышит вопросов, ему хочется рассказать как можно больше о том, какие русские симпатичные и как вообще ему самому хорошо жилось в этой стране.

Мэтр Гейцман: Я хотел бы знать, кто лгал: депутат Гренье или Кравченко? Гренье нам сказал, что в России жалования все более или менее одинаковы. Кравченко же говорит в своей книге, что между рабочим и инженером – огромное расстояние.

Кот: Разница жалований очень большая!

Мэтр Гейцман: Значит, лгал Гренье!

Молотов или не Молотов?

На часах – 2 часа 40 минут.

Выясняется, что никаких свидетелей больше нет, что ответчики не позаботились их вызвать. Мэтр Нордманн встает и просит слова.

Нордманн: Вся пресса говорила на прошлой неделе о том, что Молотов назначил Кравченко директором завода. Между тем в документе, который был нам представлен, Наркомтяжпром назначил Кравченко на эту должность, а Молотов только говорил о значении самого предприятия.

Председатель: Мы так и поняли.

Нордманн: В стенограмме прошлого заседания я вижу неясность.

Вюрмсер: Пресса была введена в заблуждение!

Мэтр Гейцман: Обратитесь к документам. Мы их представили председателю.

Председатель (читает): Наркомтяжпром назначил молодого инженера Кравченко...

Нордманн: Это текст Молотова?

Председатель (читает): Молотов на 18-м съезде... третья пятилетка... крупное предприятие...

Мэтр Гейцман: Мэтр Изар ответит вам на это. Вы вызываете этот инцидент, когда он отсутствует, для того, чтобы протянуть время: ваших свидетелей нет!

Председатель соглашается с Гейцманом и прерывает спор. Он принужден объявить перерыв, так как свидетели защиты не явились.

«Белый» генерал – советский патриот

Перерыв длится час.

Внезапно проходит слух, что явился генерал Говоров. Белый? Красный?.. Заседание возобновляется.

Генерал Говоров, эмигрант, с 1923 года – шофер такси, член центрального комитета Союза советских патриотов, появляется у барьера. Это желтолицый лысый человек 63 лет.

Говоров с места в карьер начинает ругать Кравченко: он предатель, дезертир, преступник перед родиной, грязная личность.

– Мы хотим, чтобы французы знали о наших эмигрантских разномыслиях, – говорит Говоров, – «настоящее высокое учреждение» (так называет Говоров суд) должно пригвоздить этого субъекта. Немцы использовали его интервью. Он в нем предал не только свою страну, но и всех союзников. Могли быть замедлены поставки. Измена – очевидна. Все свидетели это подтверждают. Какое может быть доверие к его инсинуациям?

Говоров не говорит по-французски, но и в русском языке он не слишком силен: бутылки с эссансом, к сожалению, не могут быть по достоинству оценены французами. Он говорит о том, что Россия была приговорена к войне.

Председатель: Он не был в России. Обо всем этом уже было сказано.

Мэтр Блюмель: Да, но важно, что он русский белый!

Мэтр Гейцман: Мы можем привести десять человек белых, которые будут говорить как раз обратное.

Говоров: Кравченко не внушает доверия. И вообще он не писал своей книги.

Гейцман: Вы говорите, что вы генерал? Как и где вы сражались в последнюю войну?

Говоров: Я предложил советскому правительству, когда началась война, отправить меня на родину.

Гейцман: Ну, и что же?

Говоров: Мне сказали, что это невозможно. (Смех.)

Гейцман: Почему вы не возвращаетесь в СССР?

Говоров: Я уже назначен в очередь и скоро уеду.

Кравченко (по-русски) и Гейцман (по-французски) одновременно: Он зарабатывает себе на будущее!

Гейцман: На каком языке вы читали книгу Кравченко?

Говоров: По-французски. (Смех в публике.)

Гейцман: Суд оценит знание французского языка свидетелем.

Говорова отпускают. Он проходит в публику и садится рядом с советским свидетелем Романовым.

Нам удалось узнать следующие подробности о генерале Говорове: во время гражданской войны он был начальником штаба Донского корпуса в Крыму. Затем у него была небольшая неприятность на о. Лемносе, после которой его в должности заменил генерал Есевич. С 1923 года Говоров живет в Париже. Когда он узнал, что в финской войне отличился советский генерал Говоров, то он стал выдавать себя за его брата. Сейчас же после войны, в 1944–1945 годах, он стал членом центрального комитета Союза советских патриотов, откуда был после первой же чистки вычищен за антисемитизм. Его сделали членом ревизионной комиссии. Сейчас он один из немногих членов этого Союза, оставленных во Франции, остальные почти все высланы в СССР. Он служит в советском учреждении на улице Фезандери, № 49.

Неожиданная защита власовцев

Следующий свидетель «Лэттр Франсэз» комбатант Тома рассказывает, как в лагерях в Германии, во время войны, русские себя вели героически и как мечтали поехать обратно к себе домой.

Тома встречался с власовцами.

– Все это были смелые люди, многие перешли во французский резистанс, – говорит он, – а когда кончи-

лась война, с радостью репатриировались. Власовцы, – говорит свидетель, – были силой мобилизованы немцами, и это были все – настоящие патриоты.

Комитет, в котором работал Тома, занимался водворением пленных русских и власовцев, а также их семей на родину. Все они были верны своей стране, ни один не дезертировал, все вернулись назад! Работал г-н Тома вместе с грузинским «патриотом» Гегелия.

Председатель: Мы здесь говорим о процессе Кравченко.

Тома: Мы благодарны русской армии. Она спасла мир. Те люди, которых я видел, все с энтузиазмом ехали к себе домой. Из всех лагерей, и из Борегара, и вообще – все вернулись, никто не остался.

Мэтр Блюмель: Вы были в России. Расскажите нам об этом.

Тома: Я был в 1929 году. Коллективизация очень удалась. Строили большие дома. Все были очень довольны.

Свидетеля отпускают и вызывают следующего: это доктор Фишез, который был в лагере Махаузен и видел там русских пленных.

Он тоже подтверждает героизм, жертвенность, храбрость русских и так же, как и предыдущий свидетель, утверждает, что все до одного пленные и депортированные с радостью вернулись к себе домой.

Опять: Молотов или не Молотов?

Мэтр Изар, появившийся во время заседания, протестует против того, что свидетели «Лэттр Франсэз» не явились.

На часах – 5 часов 45 минут.

Мэтр Нордманн: Я хотел бы выяснить, Молотов или не Молотов назначил Кравченко директором завода?

Председатель: Мы сейчас говорим о неприбытии ваших свидетелей, а не о Молотове.

Мэтр Нордманн: Я хочу знать, кто назначал Кравченко директором в Кемерово? Молотов ничего не говорил про Кравченко. Это газета «Индустрия» писала о назначении его на завод.

Мэтр Изар: Свидетели ваши не пришли. У вас оказалось время, и вы ищете инцидентов. Мною уже была сделана демонстрация, и я могу ее повторить: Молотов говорил на 18-м съезде партии о заводе в Кемерово. Наркомтяжпром назначил Кравченко директором этого завода. Завод был включен в третью пятилетку. Но вы говорили все время о проблематическом строительстве, и свидетели ваши, как я уже сказал в прошлый раз, под присягой ввали нам о несостоявшемся строительстве. Между тем завод был выстроен.

Председатель: Мы все так и поняли в прошлый раз. Мэтр Нордманн ломится в открытые двери.

Мэтр Изар: Вам мешает то, что мы показали, что Кравченко был крупной величиной.

Но мэтр Нордманн старается парировать удары, наносимые адвокатами Кравченко.

В общем шуме председатель требует, чтобы на завтра были приведены обещанные свидетели. Адвокаты «Л. Ф.» сообщают, что от некоторых своих свидетелей они откажутся.

На скамьях прессы движение: будет ли показывать Руденко, приехавший из Москвы в субботу, 11 февраля?

Заседание закрывается в 5 часов 50 минут.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

После полупустого дня понедельника этот одиннадцатый день, вторник, 15 февраля, был насыщен инцидентами: показания генерала Руденко и четыре свидетеля со стороны «Лэттр Франсэз» заполнили заседание суда, продлившееся около шести часов.

Появление Руденко в военном мундире, в сопровождении адъютанта, с которым он не пожелал расстаться даже у свидетельского барьера, произвело некоторое впечатление на публику. Весь в орденах, с мрачным бледным лицом, генерал Руденко был тотчас отрекомендован одним из адвокатов «Л. Ф.»: герой Сталинграда, кавалер более десяти орденов, в том числе два раза – ордена Ленина, генерал-лейтенант, депутат Верховного совета СССР, и пр., и пр., и пр.

Речь Руденко

– Прежде чем давать показания, – так начал свою речь Руденко, – я хотел бы высказать суду свое мнение о деле. Этого человека, неизвестно какого подданного, я считаю изменником. Это – офицер, нарушивший присягу. Он не только военный преступник, он и уголовный преступник. Он должен был бы по-настоящему предстать перед трибуналом СССР. Не было прецедентов в истории суда, чтобы такой человек становился истцом в деле, в каком он должен был бы быть подсудимым. Перед всем демократическим человечеством я хочу помочь французскому суду вынести справедливое решение.

– В конце 1943 года, – продолжает Руденко, рассказав сначала, как он воевал с немцами, – я был вызван с северо-западного фронта в Москву. Там мне дали поручение: ехать главой закупочной комиссии в Соединенные Штаты. На самолете, 21 декабря, я прибыл в Вашингтон. Под моим началом находилось более 1000 человек служащих комиссии. Из них я должен был вскоре отправить в СССР всех военнообязанных. Я был главой всех офицеров и генералов СССР в Америке. Мне подчинены были филиалы в Портланде и Фербенксе, авиаполк на Аляске и морская группа. Комиссия насчитывала несколько отделов: танковый, металлов, авиационный и т.д.

В середине февраля я собрал начальников отделов и велел им пересмотреть личный состав для отправки служащих (военнообязанных) на родину.

Была составлена группа офицеров запаса. Товарищ Романов сделал мне доклад, в котором обратил мое внимание на поведение инженера-приемщика Кравченко, который являлся на службу в пьяном виде.

Кравченко (прерывая): Вы же все врете!

Генерал Руденко: Я принял решение отправить Кравченко на родину: я велел сказать об этом Кравченко. Романов мне доложил, что Кравченко должен закончить приемку труб. Мы не могли сразу отправлять людей большими партиями, так как грузили материалы, в которых нуждалась в это время наша страна, которая, в лице Красной армии, производила серьезные операции в Румынии. Отправка офицеров запаса растянулась на три месяца.

4 апреля я узнал из газет, что военный инженер третьего ранга Кравченко нарушил дисциплину, отказался вернуться, и 5 апреля я моим приказом исключил Кравченко из состава закупочной комиссии как дезертира и предателя. Мы все работали в это время как мобилизованные солдаты за демократическое человечество. Я никогда не забуду геройских французских летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман».

Мэтр Изар: Одного мы здесь видели.

Руденко: Это – залог дружбы между двумя народами. Мы вместе проливали кровь против фашизма. И вот 6–7 апреля германское радио сообщило заявление Кравченко американским газетам. Фашисты говорили, что это начало раскола между союзниками. Немецкие прокламации предлагали русским следовать примеру Кравченко. Так Кравченко помог немцам.

Кравченко (встает): А как вы помогли им в 1939–1940 годах?

Руденко: 5 апреля газета «Балтимор Сэн»...

Кравченко: Какая память!

– ...«Балтимор Сэн» спросила «Нью-Йорк Геральд» (где было интервью), что это за Кравченко? Не стоят ли за его спиной русские, враги своей родины, в том числе некто Чаплин, известный антисоветчик? Затем «Дшунш Джорнал Моргон» назвала Кравченко предателем. Кравченко не одинок. За ним стоят реакционные силы Соединенных Штатов, которым нужен был специалист по антисоветским вопросам. Воссоединить реакционные силы и разъединить демократию необходимо, чтобы устроить новую войну.

Поединок

Руденко: Советский народ стремится к миру.

Кравченко: А пока что вы забрали всю Восточную Европу! (Продолжительный смех в зале.)

Руденко: Мы заняты мирным строительством. Мы работаем над тем, чтобы победить природу, заставить реки, которые текут на север, течь на юг.

Кравченко: Лучше дать человеку свободу! (Смех.)

Руденко: Г-н председатель, я прошу дать мне возможность говорить.

Председатель (строго): Если публика будет невежлива к иностранному генералу, я попрошу очистить зал.

Руденко: Мы электрифицируем, газифицируем нашу страну. Этим заняты миллионы. Все средства идут на мирное строительство.

Затем свидетель переходит к работе Кравченко в строительном тресте.

Выясняется, что Кравченко был в тресте главным инженером. (Движение в зале.)

Руденко: Там он растратил 150 тысяч рублей.

Кравченко: Он врет, мерзавец!

Руденко: Но суд был милостив к нему.

Кравченко: Вы – холуй диктатуры!

Руденко: Мне здесь угрожают, но я не боюсь.

Председатель: Мы в этом не сомневаемся.

Руденко: Я прошу оградить меня от оскорблений.

Председатель: Он говорит их по-русски, и я их не могу понять.

Руденко: Вместо того чтобы раскаяться, Кравченко на новой своей работе опять обманул людей и попал в закупочную комиссию. Ему нужна маска политического борца, чтобы укрыться от советского суда. Он уголовный преступник, дезертир и предатель. Не такие люди поворачивают историю. СССР борется за мир. Демократический народ Франции...

Мэтр Изар: Советские газеты выражаются иначе.

Руденко: ...и народы СССР останутся в дружбе!

Генерал защищается

Показание свидетеля закончено. Теперь адвокат «Л. Ф.» Блюмель задает ему вопросы. Они касаются работы Кравченко при Совнаркоме. Защита пытается уже не в первый раз доказывать, что Кравченко никогда при Совнаркоме не состоял.

Мэтр Блюмель: Кравченко писал, что из Совнаркома он мог вызывать к себе людей в любой час дня и ночи.

Мэтр Изар: Это о парикмахерской было сказано!

Руденко: Я ничего об этом не знаю.

Председатель: Чем же он, по вашему, был в Совнаркоме?

Кравченко: Позвольте мне сказать. Я был в Совнаркоме РСФСР советником и ведал вопросами инженерного вооружения. (Сенсация.) Я подчинен был Уткину, Косыгину и Воробьеву.

Мэтр Изар: Доказательство, что Кравченко был в Совнаркоме РСФСР, исходит от советского посольства в Вашингтоне.

Адвокат Кравченко читает документ, который кладет конец спорам о Совнаркоме: это письмо американского посольства, которое сообщает, что в архивах Стэтс Департамент имеется курикулум вите Кравченко, составленный в свое время советским посольством в Вашингтоне; из него следует: 1) что Кравченко работал пять лет директором цеха, главным инженером и 2) был в Совнаркоме РСФСР инженером, советником.

Адвокаты «Л. Ф.» поднимают сильный шум.

Руденко упорно повторяет: Кравченко никогда не был членом Совнаркома.

Мэтр Изар (стараясь перекричать шум): Никто этого никогда и не говорил!

Когда шум стихает, мэтр Блюмель продолжает задавать свои вопросы Руденко. Их более десяти. Один из них касается победы над немцами: народ или режим победил Германию?

Руденко: Народ при другом режиме, в японскую войну, например, победить не мог. Победа принадлежит и правительству, и партии. Слепые это видят.

Другой вопрос Блюмеля: Были ли дезертиры в других закупочных?

Кравченко: В Канаде был в свое время Гузенко!

Руденко: В семье не без урода (с ударением на у).

Кравченко: Нас уже два миллиона!

Блюмель задает вопрос о чистках.

Руденко: Это не касается процесса.

Кравченко: Но это одна из тем книги!

Руденко: Вовремя благодаря чисткам мы освободились от пятой колонны!

Мэтр Изар находит, что между показаниями Руденко и Романова есть противоречие: был или не был дан приказ Кравченко возвращаться в Россию?

Романова (находящегося в зале) вызывают к барьеру. Он повторяет, что приказа не было.

Руденко только что сказал, что приказ был.

Председатель: Нам надо согласовать показания.

Руденко: Я не желаю согласовывать показания.

Романов: Меня не интересуют вопросы. Меня интересует, что я сам сказал.

Мэтр Изар: Значат, вы обвиняете Стэтс Департмент, что он не выдал в свое время Кравченко как дезертира?

Руденко: Его не выдали реакционные силы.

Мэтр Изар: Я хотел бы знать, кадровый ли вы генерал? Как известно, в России два рода генералов: кадровые и политические.

Руденко отвечает, что он кадровый генерал.

Мэтр Изар: Почему герои «Нормандия-Неман» не могут переписываться со своими русскими товарищами?

Руденко: Это выходит за пределы процесса. Я не могу отвечать.

После еще нескольких вопросов председатель представляет слово Кравченко, но просит его воздержаться от ругательств.

Генерал уходит

Кравченко: Меня ругали здесь предателем. Кто такой Руденко? Где он учился? Какое военное училище окончил? Он – политический генерал, а не кадровый, он представитель Политбюро. Если он пришел в форме – то это маскарад для публики. Он в Сталинграде получал только ордена и погоны. Сражались другие.

Руденко сказал, что меня использовали немцы. Но Сталина и Молотова тоже использовали немцы. А всего важнее, что по советско-германскому договору два года Советы снабжали Германию военным снаряжением. Что важнее: газетная вырезка или тонны железа, стали, чугуна? Вы убивали французов этим снаряжением.

На 18-й партконференции Маленков выступал и говорил о неподготовленности СССР к войне. Это было за четыре месяца до войны. Из этого ясно, в чем выразилась впоследствии помощь Америки по лендлизу – она была огромна!

Руденко молча слушает Кравченко – отвечать он, видимо, не собирается.

Кравченко цитирует официальный советский документ, цифры товаров (миллионы тонн), которые СССР вывозил в Германию в 1939–1940 годах.

Поднимается шум.

Мэтр Нордманн кричит, мэтр Изар требует, чтобы Кравченко дали договорить.

Руденко просит, чтобы ему позволили уйти.

Председатель: Я не могу вас держать силой. Делайте, как вам подсказывает долг.

Руденко: Я уйду.

Мэтр Изар: Смотрите, генерал уходит! Он не хочет слушать правды!

Мэтр Нордманн: Я спрашиваю, почему молчит прокурор? Здесь оскорбили генерала!

Кравченко: Вы не только политический преступник, вы и уголовный преступник!

Генерал Руденко, с фуражкой на голове, в сопровождении адъютанта выходит из зала.

Председатель (в общем шуме): Что вы хотите! Мы ничего не можем сказать. Они говорят по-русски!

Объявляется перерыв.

Скандал с историком

Во время перерыва произошли два инцидента: во-первых, коммунистический депутат Гренье, увидав двух молодых людей, идущих к Кравченко просить подписать книгу, в весьма резкой форме остановил их. Во-вторых, два русских были арестованы (и сейчас же отпущены) за то, что выражали по адресу Горловой, Романова и др. свое негодование, подойдя к ним и, видимо, испугав их.

Мэтр Нордманн после перерыва донес об этом председателю.

Мэтр Изар возразил, что дело происходило не в зале, а на лестнице, так же точно, как инцидент с пощечиной, данной журналисткой «Фран-Тирер» коммунисту Куртаду (две недели тому назад), и что это суда не касается.

Кравченко дают договорить. Он приводит цифры советской тяжелой индустрии перед войной, из которых следует, что Россия не была готова к войне.

Вызывается очередной свидетель «Л. Ф.», Альбер Байе, председатель резистантской прессы, историк.

Байе, пожилой господин, чрезвычайно сублильной наружности, говорит о «цвете французской печати» газете «Лэттр Франсэз». Он смотрит, как говорится, в корень, и доказывает председателю, что, если будет признана диффамация, газета должна будет разориться.

– Вы присудите платить ее миллионы и убьете нашу гордость! – восклицает он. – Да и что такое диффамация? Ведь книга Кравченко продается лучше, чем когда-либо, хотя историческое значение ее – нуль.

Витиевато, хитро, он говорит довольно долго, когда встает со своего места мэтр Гейцман. Он держит в руках пять вырезок. Это статьи Байе разных годов – начиная от 1940. Он просит позволения прочесть их.

Первая касается «Торэза и его банды», как в то время выражался уважаемый историк. Вторая говорит о дезертирстве Торэза. Третья выражает ужас перед тем фактом, что «Сталин бросился в объятия Гитлера». Четвертая говорит о том, что «Сталин с рейхом идет против Франции» и пятая, наконец, выражает страх перед «выстрелом в спину», которого историк ожидает от коммунистов, если они восторжествуют.

Молчание. Смущение.

Байе (собравшись с силами): Историки иногда ошибаются. (Смех в зале.)

Гейцман: Н-да, конечно.

Байе: Я ошибался, ну и ошибался! Я в 1917 году считал Петэна героем. В этом тоже каюсь.

Гейцман: Через три года вы скажете, что Кравченко был прав?

Байе: Если я был дураком, то нас много было таких. Председатель благодарит свидетеля и отпускает его.

Американские меньшевики

У барьера молодой журналист Эрман, секретарь Союза журналистов (С.Ж.Т.). Он считает, что в Америке очень часто двое пишут книгу. Кравченко, конечно, помог американец.

– Был в Америке до Кравченко некто Кривицкий, который тоже предал СССР, – говорит Эрман. – В 1939 году его статьи сделали некоторый шум. Ему писал их американский журналист Исаак Дон Левин. Кривицкий не поделил с ним гонорара и застрелился. Реакционеры говорили, что его убили большевики.

Мэтр Нордманн: Расскажите суду, что вы знаете о Левине и других русских меньшевиках.

Эрман: Я хорошо знаю социалистические круги в Америке. Сначала эти люди жили в Париже. Во время войны часть меньшевиков занималась антисоветской пропагандой, играя на руку Гитлеру. Другая же часть на время примолкла. Среди них наиболее влиятельны Чаплин, Николаевский и Зензинов. Все эти люди опекали Кравченко, когда он изменил своей стране.

Мэтр Нордманн: О Николаевском и Зензинове мы еще будем говорить на процессе. Что вы думаете о них?

Эрман: Николаевский собирает документы о СССР. Его материалы совпадают с материалами Кравченко. Возможно, что он их ему и дал. Что до Зензинова, то он, наверное, имел в своих руках рукопись Кравченко до ее напечатания.

Мэтр Нордманн: А что говорил по поводу Кравченко другой меньшевик, Дан?

Эрман: Он писал о Кравченко очень строго и осуждал его.

Мэтр Изар читает письмо Исаака Дон Левина, где тот категорически отрицает какое бы то ни было свое участие в жизни и работе Кравченко.

Владимир Познер и Брюа

После Эрмана дает показания писатель Владимир Познер. Он, по примеру профессоров Баби и Перюса, доказывает, что Кравченко не мог написать своей книги, что ее вообще не мог написать русский.

Мэтр Изар: Это меньшевики, что ли, писали по-американски?

Познер находит в книге типично английские словосочетания, игру слов, цитаты английской литературы, цитаты французские.

Кравченко вскакивает и декламирует по-русски Вольтера – двустипшие, включенное в книгу на английском языке. Познер продолжает говорить о литературных реминисценциях, о некоторых выражениях, которые не имеют перевода по-русски, удивляется цитате из Байрона и пр.

Мэтр Изар: Значит, не меньшевики писали, как говорил нам Сим Томас!

Познер: Я думаю, что писал американский журналист.

Мэтр Изар: Это меньшевики дали ему, значит, информацию?

После Познера выходит к барьеру профессор истории Брюа.

Становится поздно, председатель торопит свидетеля (члена компартии).

Брюа говорит, что Кравченко в своей книге искажил действительность: голод бывал и при царе; совхозы существовали всегда (в виде артелей и кооперативов), и нечего об этом столько говорить. Чистки бывали у яковинцев, так же, как и анкеты. Это – чистейшая французская традиция. Он читает яковинские исторические документы, которые являются, по мнению свиде-

теля, несомненными предшественниками нынешних протоколов советских процессов.

На этом заседании закрывается.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Председатель Дюркгейм и обе стороны согласны в том, что темп процесса должен быть ускорен: он длится уже четыре недели.

Неизвестно, сколько еще свидетелей выступит со стороны истца, но ответчики объявили, что они отказываются от многих из своих свидетелей. Эти лица должны были явиться из СССР, но они не приедут.

Вот их далеко не полный список: г-жи Тило, Шаро и Чернова, г-да. Астахов, Шампенуа, Вислогубов и Кострюк. Из живущих в Париже не явятся: свящ. Гуэс, Катала и Окутюрье. Напротив, г-да Ив Фарж, Жан Кассу, Пьер Кот, Жолио-Кюри и г-жа Марти-Капгра будут выслушаны на будущей неделе.

Манускрипт книги Кравченко его адвокаты обещают представить суду в конце текущей недели.

Заседание начинается в 1 час 20 минут.

Свидетели ответчиков, которые были твердо обещаны мэтром Нордманном накануне, вновь не явились, и в течение всего дня суд выслушивал показания русских Ди-Пи, выступавших со стороны В.А. Кравченко, который сам отсутствовал по болезни: еще накануне он чувствовал боли в области сердца и был освидетельствован врачом Дворца правосудия. Кроме того, Кравченко страдает язвой желудка.

Опять Пасечник

По просьбе советского инженера Василенко свидетель Пасечник вторично вызывается к барьеру.

Начинается очная ставка.

Василенко: Пасечник – военный преступник, коллаборант. Как и другие граждане Днепропетровска, Хохлов и Батичко, он сотрудничал с немцами.

Председатель: В чем вы можете упрекнуть свидетеля?

Василенко: Он работал в городской управе при немцах.

Пасечник: Василенко – депутат Верховного совета. От него я ничего и не ожидал услышать другого. Я работал на заводе при немцах простым рабочим, после чего у меня был гнойный плеврит.

Мэтр Гейцман спрашивает Василенко, что сделала советская власть, чтобы американцы выдали этого военного преступника?

Василенко этого не знает.

Мэтр Изар: Что же это, он ничего не знает? И Руденко ничего не знал! Зачем тогда они здесь? Чтобы грязнить свидетелей?

Мэтр Нордманн: Они все бежали от Красной армии.

Мэтр Изар: Этих несчастных людей СССР теперь приглашает вернуться. Это – не коллаборанты, а депортированные на работы. На Нюрнбергском процессе сам СССР назвал их таковыми.

Василенко называет имена коллаборантов Днепропетровска. Кое-кого Пасечник знал, а один даже, некто Соколовский, работая с немцами, посадил Пасечника в тюрьму гестапо.

Адвокаты «Лэттр Франсэз» хотели бы знать, много ли в лагерях Ди-Пи коллаборантов?

Пасечник рассказывает о чистках, которые устраивались американцами: все коллаборанты выловлены и осуждены.

Библиотека Корниенко

Следующая свидетельница – г-жа Корниенко, женщина лет пятидесяти, очень скромно одетая. Она пони-

мает, но не говорит по-французски. Она была библиотекарем завода имени Петровского, где работал одно время Кравченко и где директором был Василенко. Прослужив в заводской библиотеке 16 лет, она знала всех, знала и Кравченко в конце 20-х гг. как талантливого молодого инженера, подававшего надежды. О его статьях в газетах «Ударник» и «Заря» много говорилось. Его портреты печатались на страницах местных газет.

На вопрос об арестах заводской головки она отвечает:

– Были арестованы (в течение нескольких лет) Бирман, Калашников, Адаменко, Марушин, Иванченко – всего около пятидесяти человек. И это только самые главные лица.

Мэтр Гейцман: Знала ли свидетельница Василенко?

Г-жа Корниенко рассказывает свое знакомство с директором завода: НКВД вызвало ее однажды и потребовало, чтобы она следила за пятью лицами: за Коробовым, Тупенковым, Зерновым (директоры), Федоровым (председатель комитета партии) и... Василенко. (Движение в зале.)

– Я знала его, но старалась никогда не говорить с ним о политике, – говорит Корниенко, – чтобы не было о чем доносить, так как я знала, что он думает обо всем так же, как я.

Мэтр Нордманн: Мы имеем перед собой доносчицу!

Мэтр Изар: Не атакуйте ее! Вы атакуете тем самым советский режим.

Мэтр Нордманн: Я протестую! Это агрессия против союзной страны. (Смех в зале.)

Корниенко: Я должна была ходить к нему на дом, пить у них чай, следить за ним и доносить. Я это и делала. Я старалась не топить этих людей. Василенко знает, что режим советский – страшный режим. Дядя его жены, Калашников, погиб в ссылке.

Василенко вызывают с места на очную ставку. Он по внешности совершенно спокоен.

– Я ее знаю. Она знала мою жену. Она бывала часто у нас, но потом все реже. Я благодарен ей за то, что она меня не утопила... (Внезапно грозно.) Но все это ложь!

Корниенко (улыбаясь не без горечи): Я не могла бывать чаще, у меня было таких пять человек. Да и работала я до одиннадцати в библиотеке.

Василенко: Все бы это было верно, если бы я был выходец из буржуазной среды, старой школы. Но я – новой школы.

Корниенко: Мне сказали в НКВД: эти люди дороги партии, но они, как все, могут свихнуться. У нас беспартийные сплошь да рядом следят за партийными.

Председатель поражен, как и публика.

Ропот на скамьях адвокатов «Л. Ф.».

Василенко отпускают и вызывают Романова.

Романов (уже привыкший к атмосфере суда и чувствующий себя увереннее, чем несколько дней тому назад): Вы меня знаете?

Корниенко говорит, что Романова не знает. Он утверждает, что знаком с ней давно. Он спрашивает, не слышала ли она чего-нибудь на заводе о плагиате Кравченко, но свидетельница ничего не слышала об этом.

Эта очная ставка не дает ничего, и обоих отпускают.

Женщина-врач Анна Кошинская

Одетая в пестренькое летнее платье, круглолицая, молодая, Анна Кошинская начинает с ответов на вопросы, которые стали уже привычны: предупреждая мэтра Нордманна, мэтр Гейцман задает всем Ди-Пи одни и те же вопросы: где были во время немцев? Когда приехали в Германию? Что делали там? И т.д.

– Когда большевики пришли в Вену... – говорит Кошинская.

– Когда Красная армия пришла в Вену, – переводит переводчик трибунала.

– Свидетельница сказала: большевики! – протестует переводчик «Л. Ф.».

– У вас о каждом слове спор, – раздражается председатель (обращаясь к свидетельнице): – Кто вас посадил в лагерь?

Кошинская: Мы сами пришли. (Смех.)

Председатель: Почему вы не вернулись в Россию?

Кошинская: Сталин сказал по радио, что все мы предатели.

Выясняется из вопросов, что Кошинская училась на медицинском факультете в Днепропетровске и знала Зинаиду Горлову.

Горлову немедленно просят подойти к барьеру.

Зинаида Горлова за время своего парижского пребывания сильно переменялась: лицо ее пожелтело и похудело, глаза запали, волосы, небрежно причесанные, висят. Она становится рядом с Кошинской. Женщина-врач рассказывает, как она училась, как студентов-медиков в 1933 году послали убирать урожай в колхозы, какой был голод, сколько было трупов: она ссылается на Малую советскую энциклопедию. Анатомические театры были переполнены. Там свидетельница вместе с Горловой работали у профессора Постоевского.

Председатель: Что скажет на это Горлова?

Горлова (равнодушно): Я впервые вижу этого врача.

Мэтр Изар: Она протестует довольно слабо!

Горлова: Я не была со студентами в колхозе. Я удивляюсь этим показаниям. Никто не опухал от голода, занятия происходили нормально.

Председатель: Кошинская узнает Горлову?

Кошинская: Да, это она.

Председатель: Назовите профессоров факультета!

Кошинская называет несколько фамилий.

Горлова (равнодушно): Да, были такие. (Смех.)

Они – однолетки, но Горлова опять говорит, что никогда на факультете Кошинскую не видела. Их обеих отпускают.

Николай Якубов

На обычные вопросы о войне и Германии, Якубов отвечает: эвакуировался в Польшу, затем – в Именштадт. Он знал семью Кравченко, его мать и брата. Семья была дружная, любили Виктора, который был крупный партиец и работал во главе завода на Урале.

По просьбе председателя он рассказывает о жизни рабочих в СССР. Жалованье строительных рабочих настолько мало, что приходилось платить выше ставок, чтобы они не уходили. Жили они в бараках...

Романова подводят для очной ставки. Он тоже знал брата Кравченко. Оба свидетеля видят друг друга впервые. Советский инженер начинает экзаменовать Якубова: где жила семья Кравченко? Из кого она состояла? (Ропот в публике.)

Свидетель покорно отвечает на все вопросы.

Романов: Откуда могла быть эта дружба у вас с братом Кравченко? Вы же вместе не работали? Жили далеко друг от друга?

Якубов: В Днепропетровске есть трамвай.

Романов: Ничего не было общего! Специальности были разные. (Смех.) По специальности вы ничего не могли иметь общего!

Романов желает, чтобы Якубов описал ему внешность брата Кравченко.

Якубов: Если я скажу, что он был брюнет, вы скажете, что он был блондин.

Но Романов настаивает, настаивают и адвокаты «Л. Ф.».

Якубов говорит: Шатен, выше среднего роста.

Романов: Совсем наоборот! Блондин высокий...

Председатель считает, что спор этот не ведет ни к чему.

Объявляется перерыв.

Свидетель Нужный

После перерыва Нужный на вопрос, почему он не возвращается, отвечает: я выбрал свободу. Он тоже приехал на процесс из лагеря Ди-Пи.

На вопрос мэтра Гейцмана, как его раскулачивали, он рассказывает свою жизнь, и чувствуется, что где-то за ним – миллионы таких жизней: 1930 год на Украине, разорение, арест, вагон-теплушка, потеря семьи, приехал в тайгу. Из Сибири он бежал, вернулся на родину, семьи не нашел. И опять – то же самое: 1932 год, голод, террор, бегство из родного края.

До 1936 года он блуждал по Украине, батрачил, мостил дороги. Его арестовали, велели подписать признание, что он хотел взорвать электростанцию в городе. Он подписал после пыток. Ему предлагали работать для НКВД, он отказался, бежал, опять бродяжничал. Был арестован во второй раз, хотел покончить с собой после второго ареста...

– В книге Кравченко – все правда, – говорит он горячо. – Советская власть обещала рабочим свободу, а дала НКВД, обещала труд, а дала рабство. Там, в СССР, сотни Бухенвальдов и Дахау!

Нордманн (все время иронически улыбающийся): Он принимает французов за дураков.

Мэтр Матарассо начинает задавать вопросы, чтобы узнать, не было ли свидетелю от немцев каких-нибудь поблажек? Была ли вывезена семья вместе с ним?

Мэтр Изар: Как вы слышали, его семья была уничтожена советским режимом!

Адвокат «Л. Ф.»: Знает ли свидетель случаи, когда в России арестовывали за дело?

Нужный: Не знаю. А вот невинных арестовывали много.

Нордманн: Я хочу спросить, кто ему приготовил всю эту речь?

Мэтр Изар (громко): Его несчастья!

Инженер-электрик Бобынин

Бобынин был уже назван однажды: это друг Удалова, тоже инженера, из Днепропетровска, в доме которого Удалов был арестован, как и сам Бобынин. Это человек немолодой, с сильною проседью, видимо, много претерпевший, говорящий медленно.

Мэтр Гейцман: Можете ли вы под присягой сказать, что все, что Кравченко писал в своей книге о чистках в Днепропетровске, – правда?

Бобынин: Могу. Все – сушая правда.

Мэтр Гейцман: Расскажите суду про ваш арест.

Бобынин рассказывает, как в 1931 году он и его гости были арестованы. В тюрьме следователь сказал ему: «Тут у нас кровавая баня для инженеров». Допрос продолжался четыре дня, после чего Бобынина привели под руки в камеру. Ему ставилась в вину попытка свергнуть советскую власть. Другому арестованному предъявили одно за другим три разных обвинения.

Бобынин переходит к рассказу о пытках.

Председатель: Но в чем же его все-таки обвиняли?

Вюрмсер: Его обвиняли для собственного удовольствия!

Бобынину приписывали участие в вымышленной контрреволюционной организации «Весна». После бесконечных издевательств и мучений он был, наконец, выпущен.

Председатель: Почему он не возвращается на родину?

Бобынин: Представители советской власти в лагерях Ди-Пи приезжали и говорили, что мы должны будем ответить за то, что были депортированы немцами.

Василенко желает очной ставки. Его задела фраза свидетеля о том, что из Днепропетровска члены компартии и крупные люди бежали за месяц до прихода немцев. Он говорит, что сам он оставался до последней минуты в городе. Если бы были убежавшие, их бы вернули и казнили.

Бобынин: Некому было возвращать, все убежали. Немцы – мерзавцы, но вы просто взяли и убежали. Оба отпускаются и расходятся в разные углы зала.

Свидетель Жебит

Свидетель называет себя сыном кулака: у его отца было три десятины пахотной земли и три – под покосом.

Мэтр Нордманн называет его бедняком и удивляется, почему такие, как он, не шли в колхозы.

Сейчас Жебит – шахтер в Бельгии. Он неграмотный и книги Кравченко не читал, но ему о ней рассказывали.

С 1929 года начинаются его мытарства: раскулаченную семью (5 человек) отправили на Северную Двину, мать и сестер отослали в одно место, его отца и дядю – в другое. Дядя не вынес морозов и погиб. Сам Жебит бежал, под фальшивым паспортом жил в Архангельске, а потом вернулся на Украину, куда были возвращены родители. Но он их не застал: мать умерла в тюрьме, сестра пропала, отец ушел куда глаза глядят. Самого его заочно судила «тройка», и вторично ему пришлось проделать путь на север...

Мэтр Нордманн: Все это нам уже рассказывала немецкая пропаганда.

Мэтр Гейцман: Мы не приводим сюда привилегированное сословие, послушайте простого русского человека. Вам очень скучно?

Председатель: Почему вы не вернулись? (Движение в публике.)

Мэтр Нордманн: Пусть он объяснит, что такое кулак!

Жебит: Мой отец был кулак. У него была одна пара лаптей и никакой другой обуви.

Мэтр Нордманн: Почему беднота не сочувствовала коллективизации?

Жебит: Потому, что это был обман, все отбирали, люди должны были идти в рабство.

Мэтр Нордманн: Думаете ли вы вернуться к себе на родину?

Жебит: Да, надеюсь, когда не будет большевиков.

Мэтр Нордманн (иронически): Когда же это будет?

Жебит: Не знаю, я об этом сейчас не думаю, я работаю в шахтах, меня, может быть, завтра завалит, и так окончится моя несчастная жизнь.

Мэтр Нордманн: Значит, вы в Бельгии достали книгу Кравченко, и ее вам читали?

Жебит: В Бельгии все читают, это вам не Советский Союз! Мы и советские газеты видим, и все вообще. И по-фламандски Кравченко издали.

Заседание закрывается, но мэтр Нордманн успевает свысока окинуть Жебита презрительным взглядом и громко сказать:

– Для шахтера он одет неплохо!

Следующее заседание – во вторник, 22 февраля.

ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Со времени последнего заседания по делу В.А. Кравченко 16 февраля произошло три события, которые, несомненно, будут иметь последствия в самом ближайшем будущем: 1) коммунистический депутат д'Астье де ля Вижери предупредил, что будет интерpellировать министров в Национальной ассамблее по вопросу о французской визе Кравченко; 2) адвокаты Кравченко, мэтры Изар и Гейцман, передали суду две рукописи: русскую и американскую книги «Я выбрал свободу» и 3) советское правительство обратилось с нотой в министерство иностранных дел, требуя выдачи, как военных преступников, трех свидетелей Ди-Пи, выступавших со стороны Кравченко: Кревсуна, Пасечника и Антонова. Из них, как стало известно на суде, двое первых находятся уже в Германии.

Депутат компартии Гароди

Первым выходит к свидетельскому барьеру коммунистический депутат Гароди, человек еще молодой, черноволосый, плохо выбритый, в роговых очках. Он сейчас же заявляет, что будет «выражать свое мнение».

В руках у него – книга Кравченко, которую он, видимо, знает наизусть. Он все время цитирует ее, ловит Кравченко на противоречиях, спорит с ним, критикует его. Говорит он, как профессиональный оратор, переходя от одного общего места к другому. Чувствуется, что он весьма доволен собой.

– После каждой чистки, – говорит Гароди, – Кравченко все повышали и повышали в чинах, так что, случись еще одна чистка, и он был бы министром. – Он дает три различных версии обязанностей Кравченко по отношению к военной службе. Он рассказывает о голоде в деревне, но «как только появляется он, так голод превращается в праздник».

Председатель: Вы, кажется, преувеличиваете.

Но Гароди не может остановиться: он мчится по всем заезженным местам, какие мы только слышали за 25 лет жизни во Франции – тут и усмешка по поводу того, что «ели кору», и выражение «ле бояр дю большевизм». Он сам ничего не знает, но он что-то слышал, где-то что-то перехватил, и теперь произносит речь, в которой сквозит невежество и легкомыслие.

– Кравченко утверждает, – говорит Гароди все с той же усмешкой, – что при царе было лучше.

Кравченко: Абсолютно. При царе сидели в тюрьмах тысячи, а сейчас сидят миллионы.

Гароди иронически пожимает плечами.

Кравченко: Вы – агент Коминтерна!

Нордманн: В одной комнате с Жолио-Кюри!

Но речь, уснащенная цитатами и историческими именами, кончается.

В зале раздается недвусмысленное «у-у-у» и несколько свистков.

Председатель (к адвокатам): Я думаю, что вопросов у вас не будет?

Мэтр Изар: После того как нам намекнули, что коммунистами были Жанна д'Арк, Лакордэр, Карл V и Ренан, вопросов у нас нет. (Смех.)

Вслед за депутатом выходит к барьеру резистант Абулкер, которого Нордманн рекомендует как человека, благодаря которому американцы смогли высадиться в Африке. Это молодой врач, лет тридцати. Он рассказывает об ужасах американской оккупации в Африке, о том, что законы Виши не были ими отменены. Что касается книги Кравченко, то он возражает на ее заглавие: Кравченко ничего не «выбирал» – это его выбрали антирузвельтовские силы Америки для антисоветской пропаганды.

Кравченко (с любопытством смотря в лицо свидетелю): Когда мне было столько лет, сколько ему, мне было совестно лгать...

Но Абулкер не обращает на него никакого внимания.

Комментарии Изара к советской ноте

Прежде чем вызвать к свидетельскому барьеру Николая Антонова, о котором заявлено советским правительством в его ноте, мэтр Изар комментирует этот документ, присланный накануне на Кэ д'Орсэ.

– Мы не критикуем дипломатических документов, – говорит он, – но мы требуем от них известной добросовестности. (Он читает текст ноты по «Юманитэ» от 22 февраля.) Советская власть говорит, что она из французских газет узнала, что на территории Франции находятся три советских военных преступника. Это неправда! В газетах никогда ничего не было об Антонове, которого вы сейчас увидите. Следовательно, если было

что-либо о Кревсуне и Пасечнике, то о третьем свидетеле в прессе не было ни одного слова. Об Антонове знали только мы и адвокаты ответчиков. Значит, советская власть от адвокатов ответчиков узнала об Антонове. Ответчики открывают Советскому Союзу подробности процесса. Это весьма интересно знать. Таким образом, иностранное государство вмешивается в наш процесс.

Мы уже до этого слышали о двух официальных документах: первый был опросник, второй – военная фишка, о которой упоминал генерал Руденко и которая свидетельствовала о военных обязанностях Кравченко. Теперь это – третий случай официального вмешательства советской власти в дело Кравченко. Но обвинения, которые содержатся в ноте, совершенно неосновательны. За четыре года у советской власти было время истребовать у американских и английских властей «военных преступников». Она это и сделала, и в списке этих преступников никогда не фигурировали ни Кревсун, ни Пасечник, ни Антонов.

В зонах Германии была создана комиссия контроля. Она несколько раз «чистила» лагеря Ди-Пи. Союзники выдали военных преступников. Если Кревсун, Антонов и Пасечник могли свободно приехать во Францию, значит, они не были записаны на черную доску.

Больше того: 4 января 1946 года американцы сообщили, что последняя чистка контрольной комиссии была сделана в присутствии советских представителей. Советский же инженер Василенко нам сказал, что еще в 1944 году в Днепропетровске Пасечник был признан военным преступником. Если это так, то почему до сего дня о нем никто не вспомнил?

Советская нота находится в противоречии со всей действительностью. Никаких доказательств преступлений этих трех свидетелей мы не имеем. И я предлагаю суду заслушать Антонова.

Председатель: Правительство Франции ответит на эту ноту, как найдет нужным. Это нас не касается.

Нордманн: Ди-Пи подозрительны по своему прошлому. Мы не отказываемся выслушать Антонова, но согласитесь, что мы совершенно не знаем прошлого этих людей. Они всегда бежали от красных, никогда не бежали от немцев... Вы говорите, что в зонах Германии были чистки, а я вам скажу, что чистки эти никого не вычистили. В американской зоне, например, выходит газета «Обзор». В ней мы читаем, что 7 октября 1948 года было собрание в лагере Ди-Пи, прошедшее под знаком Андреевского флага. Флаг этот – флаг власовской армии. Руководит этими событиями генерал Глазенап. Русский национал-социалист. Что было бы, если бы в Канаде слушали господина Деа?..

Председатель: Но господин Деа – военный преступник, его имя в списке. Это не одно и то же.

Нордманн: Да, но они все бежали от русских и не бежали от немцев...

Николай Федорович Антонов

Седой, крепкий, спокойный, Антонов выходит к свидетельскому барьеру. Он был арестован в Днепропетровске после того, как три года проработал с Кравченко. Он хорошо его знал. Кравченко считали хорошим товарищем, честным сердечным человеком, он был прост «не только с равными, – говорит свидетель, – но и с подчиненными». Пять лет Антонов работал на Беломорском канале, затем еще девять лет. Три раза был арестован.

Он связано и дельно рассказывает французскому суду о недостатке рабочей силы на Крайнем Севере, на лесозаготовках, на золотых приисках, в копиях. НКВД время от времени устраивает чистки и вылавливает нужные рабочие руки из деревень, сел и городов. Пресса выкидывает лозунги, устраиваются соответственные митинги, собрания. Так было с «Промпартией» – что это такое,

свидетель до сих пор не знает. Слышал, что был такой процесс.

На вопрос председателя, что именно испытал он сам на допросах и во время тюремного сидения, Антонов подробно рассказывает, как его мучили и пытали в застенке НКВД: его рвало кровью от побоев, в собственных нечистотах он лежал пять дней, пока не впал в полное беспамятство. Рассказывает он и о палаче, некоем Сологубе, который говорил ему: «Тут не курорт, тут тюрьма. Веди себя прилично». Сперва – застенок, потом – лампа в две тысячи свечей, под которую Антонова ставили.

Председатель: Сколько же вас было в лагере?

Антонов: Около 800 000.

Председатель, вероятно, воображавший «лагерь» похожим на среднего размера тюрьму, удивлен.

– Какого же этот лагерь был размера?

Антонов: 280 километров в длину шел канал. Это и был лагерь.

Мэтр Изар: Мы представим суду деньги, которые имели хождение в этом лагере. Это было государство в государстве.

Антонов: Мы каналами соединяли озера. Целые города строили.

Мэтр Гейцман просит рассказать свидетеля о чистке в Никополе.

Антонов дает имена арестованных и «вычищенных» инженеров. Сперва исчез Хатаевич, после него – Марголин. С ними исчезли все их товарищи, все их родные.

Мэтр Гейцман: Что вы знаете о Татьяне Черновой, которую «Лэттр Франсэз» собирались выписать из России на процесс, называя ее третьей женой Кравченко?

Антонов: Она была агентом НКВД, как и ее сестра. Она никогда не была замужем за Кравченко. Я знал ее лично. Она руководила группой секретных сотрудников

в нашем драматическом театре. Режиссером был Макавейский, его жена играла, ее звали Мерцалова. Чернова за ними следила.

Председатель объявляет перерыв.

Антонов выходит, на глазах у него слезы. Жена его, ожидавшая на лестнице, вытирает ему их платком.

Инцидент

После перерыва Антонова опять вызывают к барьеру. Ему читают ноту советского правительства, обвиняющего его в военных преступлениях, и спрашивают, что он может на это возразить. Там он назван агентом гестапо, о нем говорится, что он присутствовал при расстрелах, что присвоил себе добро расстрелянных и торговал им.

Председатель: У нас нет его досье. Он только свидетель. И даже время всех этих происшествий нам в точности неизвестно. Пусть ответит покороче.

Антонов: Это очередная ложь советской власти.

Неожиданно выясняется, что Антонов живет вовсе не в американской зоне, где, как говорил мэтр Нордманн, никаких серьезных чисток не было, а во французской зоне. (Движение в публике.)

Мэтр Гейцман: Вас допрашивали французы? Назовите кого-нибудь из контрольной комиссии.

Антонов: Полковник Рош.

Мэтр Изар делает выводы из этого показания.

Оказывается, французы «чистили» лагерь Ди-Пи в своей зоне да еще в присутствии представителей советской власти! Тем самым окончательно необоснованными он называет обвинения советской ноты, предъявленные всем свидетелям.

Адвокат «Л. Ф.» Матарассо считает, что, если Антонов при немцах мог путешествовать с багажом по железным дорогам, то он явно коллаборант.

Мэтр Гейцман: Меня самого перевозили из лагеря в лагерь в Германии, и у меня был багаж! Что же, я тоже был коллаборант?

Из дальнейших показаний Антонова выясняется, что немцы его препроводили сначала в Шаково, а потом в Бреславль и что в 1914 году он был на фронте... во Франции!

Мэтр Нордманн: А мы знаем другое...

Мэтр Изар: «Лэттр Франсэз» получают сведения прямо из советского посольства!

Но в это время полковник Маркие желает очной ставки со свидетелем.

Полк. Маркие уже выступал. Это глава репатриационной миссии в Москве, отозванный французским правительством после ликвидации Борегара. Он выходит из зала к барьеру и становится рядом с Антоновым.

Мэтр Изар (громко): Он вовсе не полковник! У него нет никакого права!

Маркие желает спросить Антонова, знал ли он в Днепропетровске коллаборантов, военных преступников?

Антонов: Нет. Вам их лучше знать.

Маркие: Что это за комиссия? Что это за полковник Рош?

Антонов: Полковник Рош – наше начальство до сих пор!

Маркие протестует: Все это ложь!

Мэтр Изар: Я заметил, что все, что делают французы, Маркие называет ложью. Он не имеет права! Он должен идти на свое место!

В это время Вюрмсер бросается вперед и кричит что-то, Мэтр Изар и мэтр Гейцман отвечают, все адвокаты встают со своих мест: вокруг Антонова и Маркие, которые продолжают стоять в центре, начинается горячий спор, слышны ругательства.

Кравченко: Г-н председатель, обратитесь к французским властям, и вы все узнаете...

Но Вюрмсер опять кричит что-то, и Кравченко бросается к нему. Жандарм преграждает ему дорогу.

Кравченко (Вюрмсеру): Вы получаете документацию из советской полиции, а я – из французской зоны!

Все кричат. Мэтр Изар требует, чтобы Маркие ушел.

Председатель считает, что очная ставка кончена. В общем шуме Антонова отпускают.

Жена Антонова

Маленькая блондинка, жена Антонова, рассказывает об аресте своего первого мужа. Он был коммунист, выдвиженец. Но это не помогло. Он погиб во время чистки. Она тоже была арестована как жена инженера. Тюрьма была полна жен. Она перечисляет Матвеева, Марголина, Филиппова – всех, кто стоял во главе треста и кто был арестован и сослан.

Затем идет потрясающий рассказ о сидении в тюрьме, о том, как три женщины спали на одной узкой кровати, как водили на допросы, как отправляли детей в детдома.

Мэтр Нордманн: Это все пропаганда наци!

Мэтр Изар: Вы же знаете, откуда она. Вам даны документы.

Кравченко: Слушайте, слушайте!

Антонова перечисляет еще погибших: Вишнева, Крачко, Акулова...

Кравченко: Имейте мужество слушать до конца!

Антонова продолжает трагическую повесть своей жизни. Когда пришли немцы, она была одна и ей не к кому было пойти, не с кем посоветоваться. В это время она познакомилась с Антоновым.

Нордманн: А как вы оказались здесь?

Антонова: Мы написали мэтру Изару, когда узнали, что будет процесс.

Мэтр Изар: У нас 5000 таких писем получено!

Васильков и его семья

Следующий свидетель – Васильков. Сейчас он на костылях, а в начале процесса его привезли на носилках. Это громадный мужчина с яркими синими глазами. В начале января он сломал себе ногу.

Он работал на Трубостали и видел чистку инженеров. Некто Иванченко был так популярен, что, чтобы его арестовать, его пришлось вызвать в Москву – рабочие бы не допустили его ареста в Харькове. Он тоже называет длинный список фамилий: Стрепетов, Щепин, Манаенко... Семьи услали в Сибирь или просто выгнали из домов и квартир.

– Это все были выходцы из рабочего класса, – говорит он, – а не люди царского режима.

Сам Васильков – сын священника, профессора Духовной академии. Отца его несколько раз арестовывали, затем, в 1937 году, когда ему было 74 года, его сослали. Мать умерла с горя. Одна сестра (всех сестер было пять) уехала разыскивать отца, и ее арестовало ГПУ и сослало. Другая сошла с ума от горя. Третью выгоняли отовсюду за непролетарское происхождение, и она умерла в конце концов. Четвертая пропала без вести... Пятая покончила с собой.

Вюрмсер, слушая этот рассказ, весело смеется.

Председатель: Не над чем смеяться! Все это совершенно не смешно.

Мэтр Изар: Вы неприличны. Вас интересует нужда только тогда, когда она на вашей стороне.

Вюрмсер: Она всегда на нашей стороне!

(Публика угрожающе гудит.)

Вюрмсер (к публике): Кагуляры!

Мэтр Изар: Немножко уважения к чужим несчастьям. Вы не всегда были того мнения, что теперь: Морган подписывал коллективные письма вместе с Абель Бонаром и Леоном Додэ.

Отвечая на вопрос мэтра Гейцмана, Васильков рассказывает о вечном страхе, об условиях каторжной жиз-

ни, о слежке НКВД. Политических разговоров вовсе не было, а если бывали, то только с глазу на глаз, с другом, которому можно было довериться.

Мэтр Нордманн: Был ли Кравченко директором завода?

Переводчик переводит вопрос адвоката.

Антонов отвечает: Большого цеха (1800 рабочих).

Кравченко считает, что переводчик не уточнил: идет ли разговор о Сибири или о Харькове? Он делает замечание переводчику. Г-н Меликов обижается и уходит.

Завтра г-н Андронников вновь вступает в свои обязанности, к большому удовольствию обеих сторон.

Заседание закрывается в 7 часов.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Заседание суда начинается в 1 час 30 минут. Председатель Дюркгейм вызывает свидетеля со стороны Кравченко. Это – Лебедь, Ди-Пи, приехавший из Германии.

Приговоренный к смерти

Лебедь – последний свидетель из длинного ряда Ди-Пи, свидетельствовавших по делу Кравченко.

Председателем и адвокатами Кравченко получены десятки писем с предложением выступить на процессе.

Г-н Дюркгейм оглашает письмо литовского министра, у мэтра Изара в руках письмо от крупного польского военного...

Но процесс и без того затянулся, и потому суд решает ограничиться уже назначенными свидетелями, не вызывая новых.

Лебедь начинает свой рассказ: в 1939 году военный суд в Харькове приговорил его к расстрелу.

– Я сын железнодорожного рабочего, – говорит Лебедь, – начал свою карьеру с должности машиниста. Был членом партии и, как таковой, под контролем НКВД устраивал в железнодорожных мастерских и на станциях встречи знатных иностранных гостей. Мастерские украшались цветами, рабочим раздавалась новая спецодежда. Иностранцев встречали торжественно, а после их отъезда новая спецодежда отнималась и все приходило в прежний вид.

Вот почему никто из иностранцев понятия не имеет о том, что происходило и происходит в СССР.

В 1937 году я был арестован. Эта было время чистки на железных дорогах. Донецкий район долго держался, но и до него дошла очередь. Директоры дороги Яковлев, Любимов, были вызваны в Москву. Когда они вернулись, начались аресты. Начальник НКВД Кочергинский арестовал из 45 000 рабочих около 1700. Их судил железнодорожный суд.

Председатель: Что такое железнодорожный суд?

Лебедь объясняет, что при каждой крупной железнодорожной сети имеется учреждение, которое ведет следствия и выносит приговоры.

Мэтр Нордманн: При царе было то же самое!

Адвокаты Кравченко протестуют.

Мэтр Нордманн: Когда вы говорите «НКВД», то это по-французски значит – министерство внутренних дел. Во Франции имеется то же самое.

(Публика шумно протестует.)

Мэтр Гейцман объясняет разницу: министерство внутренних дел во Франции не судит и не выносит приговоров.

– Меня арестовали без всякого права на то, – продолжает Лебедь. – Только в 1939 году я узнал, что арест был незаконным. Меня били, заставляли признать вину, которой я за собой не знал. Мне давали подписать бумагу, говоря: здесь немного, всего три-пять лет! Отработаешь, возвратишься. Но я не подписал. Тогда судебный следователь меня бросил в подвал.

Председатель: Следователь или полиция?

Мэтр Гейцман объясняет, что это в России делает судебный следователь. Лебеда предупредили, что, если он будет упорствовать, жена его также будет арестована. Тогда он бумагу подписал, даже не прочтя ее.

В марте 1939 года состоялся суд. Военный трибунал Харьковского округа вынес приговор: расстрелять.

Председатель: За что же?

Лебедь: Ни за что. Вынесли приговор по статьям 54-11, 54-7 и 54-8 – участие в контрреволюционных организациях, попытке свергнуть советскую власть, вредительство.

Далее свидетель переходит к рассказу о своем тюремном сидении, о болезнях, о паразитах. В один прекрасный день трибунал пересмотрел свое решение и постановил выпустить Лебеда, но тем не менее он все оставался сидеть. Несмотря на полную реабилитацию, он был выпущен только в мае 1941 года, за месяц до войны, совершенно больным:

Мэтр Изар: Вот какой суд в СССР!

Мэтр Нордманн: Но-но, не преувеличивайте!

Мэтр Изар: Это не мы преувеличиваем, это НКВД преувеличивает, по-моему!

Мэтр Гейцман просит свидетеля рассказать о голоде на Украине.

Лебедь: В 1932–1933 годах я состоял членом «эпидемической тройки». (Движение в зале.) Мы работали в Славянске по борьбе с тифом. Ежедневно убирали трупы из вагонов, с улиц, с путей, в это время государство начало продавать хлеб в свободных государственных лавках: по карточкам он стоил 70 копеек кило, а в этих лавках – 2 рубля 80 копеек. Люди умирали иногда в очередях.

Внезапно председатель обращается в сторону ответчиков:

– Почему вы все время смеетесь? Это, наконец, несносно! Все это не смешно. Я устаю смотреть на вас. Перестаньте смеяться.

Мэтр Матарассо начинает задавать вопросы: когда свидетель ехал в Германию? Что делал во время оккупации? Что делал в Германии?

Лебедь: Так голодал, что ходил в поле и выкапывал морковь...

Мэтр Изар: Он коллаборировал морковью!

Мэтр Нордманн: Он не вернулся в СССР!

Мэтр Изар: Если бы он вернулся, то он не был бы здесь.

Лебедь: Я прошел четыре контрольных комиссии, из них последнюю – в присутствии советских делегатов. Я ни на какие инсинуации г-д адвокатов отвечать не буду. Благоволите обратиться в эти комиссии. Не желаю отвечать этому НКВД (показывает рукой на мэтра Нордманна и др.).

Мэтр Нордманн: Мы не НКВД. Он нас оскорбляет.

Мэтр Изар: Ничуть. Вы и есть НКВД. От кого, как не от вас, узнало советское правительство о свидетеле Антонове? Вы – полицейские осведомители.

Начинается сильный шум. Все кричат одновременно.

Кравченко неподвижно следит за спором адвокатов.

Мэтры Гейцман и Изар нападают на своих противников, те пытаются возражать.

Председатель требует тишины.

Допрос Лебеда закончен.

Еще одно мнение

Г-н Ланг, выступавший уже свидетелем со стороны «Лэттр Франсэз», председатель союза комбатантов (пленных и сосланных), коммунист, находящийся в зале, просит слова. Он выходит к барьеру и сообщает суду, что имеется три рода Ди-Пи: первые сидели в лагерях смерти, вторые – вывезенные на трудовые работы и третьи – коллаборанты. По его мнению, все русские

свидетели, показывавшие за Кравченко, принадлежат к третьей группе.

Мэтр Гейцман: Мне написали несколько писем бывшие пленные и сосланные. Выходит, что вы вовсе не председатель... И вообще не имеете никакого права говорить от имени комбатантов.

Г-н Ланг, заявив, что в его организации насчитывается 8 000 000 членов, оскорбленный, возвращается на свое место.

Интермедия

К свидетельскому барьеру выходит некто Иарелли, почтенных лет француз, рекомендующий себя «репрезентан де коммерс». Живой, с красочными жестами, с речью, пересыпанной словами «арго», он сообщает, что всю жизнь был учеником Ленина, Троцкого и Плеханова, знал революционеров еще до первой войны, когда они готовились перевернуть мир.

– Я не какой-нибудь правый, – говорит он, – и я умею говорить по-русски.

Осенью 1944 года ему случилось познакомиться в Экс-ан-Прованс с одной красноармейской частью. У него перебивало около ста русских в доме. Все – молодцы ребята, называли его «папашей», и он их очень любил. Одно его удивляло: никто из них не хотел ехать домой!

– Я им говорю, господин председатель, что же это вы, а? А они мне: не выдавайте, папаша, нельзя ли как-нибудь у вас, во Франции, устроиться. Ах ты черт! Вот так история...

В публике хохот, и его едва слышно, но он не смущается и повышает голос.

– Когда я узнал, что вот его (показывает на Кравченко) критикуют, я сейчас же решил: надо выступить. Книга – первый сорт. Красноармейцы именно такое

и рассказывали. Я – старый революционер, работал для красных испанцев. Но в России жить нельзя. Это каждому дураку ясно.

Председатель его отпускает и объявляет перерыв.

Вдова Гейнца Неймана

После перерыва слово предоставляется женщине, еще молодой, небольшого роста, говорящей по-немецки. Это немецкая коммунистка, вдова погибшего в России Гейнца Неймана, члена германского Политбюро и члена (до войны) Коминтерна.

Ее свидетельство было выслушано залом с напряженным вниманием, и надо сказать правду: это свидетельство стоило десяти лет антикоммунистической пропаганды!

Г-жа Нейман живет сейчас в Стокгольме. Она писательница. В 1921–1926 годах она была членом германского комсомола, с 1926-го по 1937-й состояла членом германской компартии. До 1931 года ее муж состоял членом Коминтерна, затем за уклоны был отстранен. Уклон его заключался в том, что он готов был вести с Гитлером любую борьбу, Сталин же требовал бороться с Гитлером только на идеологическом фронте. «Если Германия будет национал-социалистической, – говорил Сталин, – то Европа ею займется и нас оставит в покое».

Нейман и его жена были сначала посланы в Испанию, затем эмигрировали из Германии в Швейцарию. Отсюда они были высланы и очутились в Москве в 1935 году. Они жили там, как в тюрьме. За ними следили. Муж ее был на подозрении, считался непокорным.

В 1936 году его вызвал в Коминтерн и допросил Дмитров, тогдашний секретарь Коминтерна. Ему предложили написать книгу, в которой он бы признал все свои ошибки, но он отказался.

В 1937 году Нейман был арестован. Только через восемь месяцев жена его узнала, что он находится на Лубянке. Но она его не видела и больше никогда о нем не слыхала. Саму ее арестовали в 1938 году. Она рассказывает о ночных допросах, о сестре Уншлихта, о чтении приговора (пять лет лагеря), о поездке в Казахстан.

– Я увидела лагерь. Он был величиной с две Дании, – говорит она. – Я подала жалобу. За это меня посадили в специальный отдел, где было еще строже.

Мэтр Блюмель (адвокат «Л. Ф.», единственный не коммунист, член социалистической партии, бывший директор кабинета Леона Блюма): Это был вовсе не лагерь. Это была просто ссылка. Как может лагерь быть таким большим?

Но г-жа Нейман объясняет, что хотя не было стен, но была стража, нельзя было общаться, нельзя было выходить дальше, чем за полкилометра. Она подробно рассказывает о четырех разных кухнях лагеря – одним готовилась еда получше, другим похуже; о трудовых нагрузках, о карцерах.

Наконец наступил январь 1940 года. По советско-германскому пакту всех германских подданных Советы обязались вернуть Германии. За нею приехали, вместе с другими женщинами она попала на пересылочный пункт, где ее одели во все новое, хорошо накормили и даже парикмахер причесал ее. После этого 30 человек были посажены в вагон. Поезд тронулся. Они не могли поверить, что едут в Германию, где каждому из них угрожали репрессии.

На границе они увидели первых эсэсов.

Немецкий рабочий, ехавший с ними, приговоренный заочно немецким судом за принадлежность к компартии, и венгерский еврей отказались перейти границу. Их силой потащили через мост. Они были немедленно застрелены немцами. Когда по листу вызывали фамилии, сказали: не может быть, что вы жена Неймана. Вы просто агент Коминтерна. Она немедленно была отвезена в Равенсбрук, где просидела до апреля 1945 года.

Мэтр Нордманн: Когда вас освободили русские! Вы должны были быть им благодарны.

Г-жа Нейман: Сказать правду, когда они подошли близко, я бежала из лагеря.

Мэтр Блюмель: Мне трудно себе представить, но я хотел бы уточнить, что такое советский лагерь? Мне кажется, это такая зона... С чем бы сравнить?

Мэтр Изар: Я думаю, что сравнить это ни с чем невозможно. У нас такого не имеется.

Мэтр Нордманн (упорно): Ее освободила Красная армия! Кроме того, я знаю коммунистов, которые считают ее мужа предателем, – я очень извиняюсь!

Г-жа Нейман: Его считают предателем сторонники Сталина.

Начинается опять довольно сильная перестрелка между адвокатами.

Мэтр Изар кричит: Вам на это нечего сказать! Эти показания для вас убийственны!

Председатель отпускает свидетельницу и водворяет тишину.

Последний свидетель Кравченко

Последний свидетель Кравченко – молодой моряк Федонюк.

Плаваая вокруг берегов Европы и Азии, он постепенно стал задумываться над тем, да так ли уж хороша советская власть? Медленно, упорно сравнивая жизнь у себя на родине и жизнь за границей, он пришел к заключению, что Сталин и его помощники обманывают русский народ. Расстрелы без суда, ссылки, вечная нехватка хлеба – все это, видимо, до последней степени опротивело ему и он остался в Испании, где отсидел в тюрьме, а затем был переслан в Танжер.

Председатель: Он, значит, как бы в оппозиции?

Мэтр Нордманн: Он просто дезертир!

Мэтр Изар: Оппозиция там невозможна. Он остался здесь.

Федонюка отпускают.

На часах – семь. Следующее заседание – в понедельник, 28 февраля. Адвокаты ответчиков готовятся задавать Кравченко вопросы.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Вступая в шестую неделю процесса Кравченко, можно приблизительно предугадать, когда именно он окончится.

Во вторник, 1 марта, будет обсуждаться манускрипт книги «Я выбрал свободу». 2 марта будут, вероятно, выступать особые «свидетели нравственности», т.е. люди, знавшие г-д Моргана и Вюрмсера во время резистанса.

На будущей неделе начнутся речи адвокатов.

Из Лондона в спешном порядке был вызван в пятнадцатый день процесса Эвлет Джонсон, пастор и старшина Кентерберийский. В черных гетрах и в целлулоидном воротничке 74-летний представитель англиканского духовенства, сотрудник коммунистической газеты «Дэйли Уоркер» в 1 час 20 минут вышел к свидетельскому барьеру.

Нагрудный крест патриарха Алексия

Джонсон несколько раз бывал в России и провел там три месяца после последней войны. Им написаны три книги о Советском Союзе.

– Если Кравченко сказал правду, – заявляет Джонсон, – то я лгал. (Смех в зале.) Если же я сказал правду, то лгал он.

Прежде всего Джонсон считает, что Сталин в описании Кравченко совершенно «непохож». Затем он заявля-

ет, что в СССР ему позволяли бывать всюду и он видел решительно все.

– Я видел всех глав русской церкви, – говорит Джонсон. – Они были все довольны свободой, в которой живут. Я присутствовал на выборах армянского католикоса, куда меня доставили на аэроплане. Я видел главного раввина, я видел главу баптистов. Я сидел на торжественном месте. Все мне клялись, что церковь в СССР свободна. Патриарх Алексей подарил мне вот этот нагрудный крест (показывает).

Затем переводчик читает собственноручное письмо патриарха Алексея Джонсону, в котором тот выражает восторги по поводу его последней книги.

– Я как инженер(?), пастор и моралист предугадал исход войны, – говорит Джонсон. – Я был и в колхозах, где видел шестнадцатилетних детей, которые не работают, а учатся.

Мэтр Изар: Сколько в английском парламенте коммунистов?

Джонсон: Два.

Мэтр Изар: «Дэйли Уоркер», в котором вы сотрудничаете, 1 ноября 1948 года (поместив вашу фотографию) напечатал вашу статью, в которой вы утверждали, что настоящих патриотов в Англии только двое! (Смех!)

Джонсон: Я горжусь этим.

Мэтр Изар: Почему вы не поддержали кардинала Миндсенти, вместо того чтобы нам рассказывать о ваших встречах с патриархами всех религий?

Джонсон: Я не вижу связи этого вопроса с процессом.

О Чаплине, Левине и Лайонсе

После этого начинаются вопросы Кравченко.

Адвокаты ответчиков приготовили их около полусотни. Кравченко, заявивший, что он сегодня «в хорошем

настроении», предупреждает, что будет отвечать на них, если они не будут «полицейскими».

Мэтр Матарассо: Каких лиц видел Кравченко между тем моментом, как ушел из советского посольства, и тем, как дал интервью в американские газеты? Виделся ли он с Чаплиным?

Кравченко: Я уже сказал раньше, что отвечу на этот вопрос после того, как получу разрешение от родственников этих людей.

Матарассо: Когда Кравченко познакомился с Чаплиным?

Кравченко: В апреле 1944 года.

Матарассо: Был ли Чаплин при том, как давалось интервью?

Кравченко: Да, как корреспондент «Нью-Йорк таймс». Всего было 5–6 интервьюеров. Это делалось без шума и рекламы.

Матарассо: Чаплин служил переводчиком во время интервью?

Кравченко: Нет. Текст был заранее заготовлен. Я только раздал его.

Матарассо (раздраженно): Но кто же был переводчиком?

Кравченко: А вот этого-то я вам и не скажу! Чаплин с тех пор умер. Мы только теряем время даром, говоря об этих вещах. Давайте говорить лучше о живых, чем о мертвых.

Матарассо: Газета «Пост Меридиан» (близкая к коммунистам) указывала, что Чаплин – друг Керенского, известного врага советской власти.

Кравченко: Это мне все равно. А вот русский текст моего интервью находится в редакции «Нью-Йорк таймс» – оттуда вы можете его затребовать. Знакомство Чаплина с Керенским – их личное дело.

Матарассо: Когда Кравченко познакомился с Исааком Дон Левиным?

Кравченко: Копия показаний Дон Левина находится в деле, мэтр Изар тоже оглашал ее.

Матарассо: Жил ли Кравченко у Дон Левина? У него есть дом за городом.

Кравченко: Что у него есть – это его дело. Его и спросите. Вы доказываете этими вопросами ваше убожество.

Мэтр Изар: Вы просто хотите спросить, очевидно, был ли Кравченко «секретным американским агентом», как писал Сим Томас? Так и спрашивайте! (Смех.)

Матарассо: Сотрудничал ли Кравченко с Дон Левиным?

Кравченко: Я уже все сказал, и г-н Матарассо все знает. Вам не удастся этими вопросами отвлечь меня от существа дела.

Мэтр Гейцман напоминает, что суть всего дела, причина процесса – статья Сима Томаса, напечатанная «Лэттр Франсэз», где Кравченко изображен «дураком и невеждой». (Смех.)

Кравченко: Мне не на что отвечать: это мое дело, с кем я сотрудничал и сколько кому платил.

Матарассо: В июле 1944 года Кравченко напечатал статьи в «Космополитэн Магазин» вместе с Дон Левиным. Когда они работали вместе?

Председатель: Ну не все ли вам равно?

Кравченко: Мы занимаемся моей книгой, а не статья-ми. Какое вам дело?

Матарассо: Сколько в этих статьях писали вы и сколько Дон Левин?

Кравченко: Вы просто теряете время!

Матарассо: В сентябре 1944 года «Новое Русское Слово» в Нью-Йорке писало о Кравченко, что он «живет на вилле видного русского эмигранта и пишет книгу». Это была вилла Дон Левина?

Кравченко: Эта газета оказала нечаянную услугу советской полиции. Я написал в эту газету опровержение. Ни у какого «крупного эмигранта» я не жил. Кстати, газета почерпнула свои сведения из монархического источника. А кроме того, Дон Левин – не русский эмигрант.

Председатель (к Матарассо): Куда вы клоните? Мне кажется, это было бы всем нам интересно знать. Предположим, что он был друг Дон Левина. Что же это доказывает?

Матарассо: Статья в «Америкэн Меркури» в октябре 1944 года была ваша?

Кравченко: Не помню. Да это было и не в октябре!

Матарассо: Ну не в октябре, так в другое время.

Кравченко: Зачем же вы сказали «в октябре»? Вы плохо ведете вашу роль. Разве я не вправе был напечатать статьи, где хотел? Потом я их частично использовал для своей книги.

Меня не интересует, что вы, например, делали до этого процесса и что будете делать потом. Меня интересует сейчас диффамация Сима Томаса.

Матарассо: В 1945 году прошел слух, что Лайонс, известный американский журналист, был автором вашей книги. Послали ли вы в газеты опровержение?

Кравченко: Когда я слышу о себе какие-то слухи, я не пишу опровержений. «Лэттр Франсэз» утверждала обо мне ложь в статье Сима Томаса, тогда я начал процесс. На слухи я не реагирую. Кто вообще реагирует на сплетни?

Матарассо: Но «Дэйли Уоркер» перепечатал это сообщение.

Кравченко: Я «Дэйли Уоркер» читал два раза в своей жизни. Больше не читаю.

Председатель (к Матарассо): Неужели вы думаете, в самом деле, что все это так интересно?

Матарассо: Но знакомы ли вы с Лайонсом?

Кравченко: Да, я познакомился с ним в июле 1944 года.

Матарассо: О Лайонсе, как об авторе вашей книги, было в прессе.

Кравченко: Но вы, т.е. Сим Томас, не говорили в вашей диффамационной статье о Лайонсе. Зачем же столько сейчас о нем говорить?

Мэтр Изар: Что Лайонс – меньшевик, что ли? Сим Томас писал, что книгу Кравченко написали меньшевики. (Смех.)

Кравченко: Нахальство моих противников не имеет границ. Кто здесь обвиняемый?

Вюрмсер (кричит с места): Он – инструмент!

Мэтр Изар: А вы не инструмент, что ли?

Сильный спор адвокатов. Слышен голос Изара:

– Не вы судите здесь, а мы судим.

Перестрелка приобретает весьма острые формы. Что-бы успокоить всех, мэтр Изар начинает читать письмо г-на Марка Хиной, живущего в Америке с 1912 года, натурализовавшегося в 1922 году. У него в доме жил Кравченко, работал над своей книгой. Ему г-н Хиной сдал комнату с пансионом. В письме указывается, что Кравченко был честен, аккуратен, скромен, трудолюбив и т.д.

Матарассо: Мы хотели бы знать, как и когда был Кравченко допрошен американской полицией?

Кравченко: Зачем он меня об этом спрашивает, честно говоря?

Матарассо: Мы хотели бы знать, как и где его охраняли?

Мэтр Изар: Его охраняли, и хорошо делали. Вспомним некоторые случаи... Троцкий, например...

Матарассо повторяет свой вопрос.

Председатель: Он уже вам ответил «нет». (Смех.)

Кравченко: Пусть г-н Матарассо обратится к американской полиции. Да, я был ею опрошен через 3–4 дня после моего ухода из посольства. Вы хотите знать, какой у меня паспорт? Палата представителей обсуждала мою натурализацию, но сенат еще не обсудил ее. У меня есть документ, по которому я живу. Америка – свободное государство. Никто ни разу не спросил меня о паспорте в этой стране. В СССР без документа нельзя переехать из одного города в другой. У меня же «право жительство» еще то, которое мне выдали, когда я был на службе в советском посольстве. (Сенсация в публике.)

Адвокаты «Л. Ф.» продолжают свои вопросы. В них идет речь о средствах Кравченко к существованию, о его

статьях, напечатанных в свое время в различных американских газетах, о его отце...

Председатель: Я позволю себе заметить вам... Мне кажется, что довольно вопросов.

Но адвокаты продолжают дальше. Они, видимо, либо слишком бегло прочли книгу Кравченко, либо ее забыли, потому что на большинство вопросов отвечено уже в книге, о чем председатель им все время напоминает.

Мэтр Изар: Если вы припасли какие-нибудь новые советские документы, то обнародуйте их! Это ускорит дело.

Но адвокаты «Л. Ф.» никаких документов не предъявляют.

«Я вернусь в освобожденную Россию»

После перерыва возобновляются вопросы, которые мэтры Матарассо и Брюгье ставят Кравченко. Мэтр Нордманн отсутствует – не то по болезни, не то изучает рукопись, и его отсутствие чрезвычайно заметно: меньше яда, меньше злобы, но зато и меньше силы.

Матарассо и Брюгье делают упор на ничтожных мелочах, которые сердят председателя и вызывают скуку в зале.

Долгий разговор происходит по поводу друга Кравченко Карнаухова. Адвокаты упрекают Кравченко в том, что он «не все написал» в своей книге или «не так написал». Или находят, что главы книги не совпадают со статьями, напечатанными в газетах, или что «можно было написать иначе».

Кравченко по поводу всего готов рассказать подробно, которые он в свое время упустил, «иначе книга была бы в десять раз длиннее». Так, он рассказывает о случае изнасилования студентами нищенки.

Адвокаты желают затем говорить о показаниях, которые Кравченко давал комиссии по расследованию антиамериканских действий.

Мэтр Изар: Мы будем отвечать только на вопросы о книге.

Матарассо: Он лгал этой комиссии. Его будут преследовать в Америке за ложные показания!

Мэтр Изар: Вы – НКВД, я уже это сказал. Где ваш Сим Томас?

Матарассо: Пусть он ответит о своих показаниях комиссии!

Кравченко: Я буду отвечать только по поводу книги.

Вюрмсер: Завода, о котором он говорил комиссии, не существует!

Мэтр Изар: Это ваш Сим Томас не существует!

Опять – перестрелка адвокатов.

Вюрмсер (кричит): Назовите завод!

Мэтр Изар: Покажите нам Сима Томаса!

Адвокаты Кравченко указывают на ошибки французского перевода книги, разговор переходит на тему о Совнаркоме.

Мэтр Брюгье: Я хочу задать еще один вопрос: свидетелю Колыбалову Кравченко обещал «сорвать голову», когда он вернется в Россию. Как Кравченко думает вернуться в Россию?

Кравченко: Я верю, что вернусь в освобожденную Россию, иначе моя жизнь не имела бы смысла. Я верю в то, что мир вздохнет свободно. В этом смысл моей борьбы. Для вас Россия – машина, для меня в России важен человек.

Брюгье: Я знаю, как он надеется «освободить» Россию: он – человек войны! Но французский народ не пойдет воевать за Кравченко!

Право задавать вопросы Кравченко переходит к его адвокатам.

Мэр Гейцман просит его рассказать суду о всех должностях, которые он когда-либо занимал, и Кравченко рассказывает свою жизнь начиная с 1920 года. Это продолжается более часа, после чего заседание закрывается.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Вторник, 1 марта, был днем рукописей – манускрипт книги «Я выбрал свободу» появился на столе регистра-туры.

Адвокаты Кравченко несколько раз подчеркнули, что не обязаны были предъявлять суду этот документ, но, по доброй воле, его предъявляют.

«Дело» это состоит собственно из русской рукописи (18 глав из 28), из американского перевода с исправлениями как Кравченко, так и его переводчика, из фотокопий, из большого количества корректурных гранок, тоже с многочисленными исправлениями.

Зал суда снова переполнен, как в самые важные дни. Среди публики снова – иностранные послы, французские писатели (среди которых Жан-Поль Сартр, Артур Кэстлер, Симона де Бовуар, Эльза Триоле) и другие известные лица.

Прежде чем дать слово Кравченко и выслушать историю написания им своей книги, мэтр Изар просит суд выслушать очередную корреспонденцию о процессе, напечатанную в «Литературной газете».

Как известно, в «Правде» только что с чрезвычайной грубостью было заявлено о зависимости министра внутренних дел Жюля Мока от американского доллара.

Теперь грубейшей бранью советская газета раздражается по поводу французской прессы и особенно – агентства «Франс Пресс». Три представителя этого агентства, сидящие в первом ряду мест для журналистов, шумно выражают по этому поводу свой восторг.

История написания книги

Виктор Кравченко встает и начинает свой рассказ. Г-н Андронников его переводит. Автор «Я выбрал свободу» чрезвычайно подробно и обстоятельно по-

вествует о времени, месте и способе написания своей книги.

– Манускрипт мною предъявлен суду, – говорит он между прочим, – не для удовлетворения моих противников, которые желали его видеть, но для того, чтобы послужить делу, то есть благу моей родины. Я принес его сюда из уважения к суду и к французскому общественному мнению.

Кравченко поясняет, что манускрипт неполный, что отдельно имеются главы более подробные, что в манускрипт входят страницы, в книге не использованные, которые он надеется использовать в будущем для второй своей книги. (Движение на скамье ответчиков.)

– Я начал работать над всем этим еще в России. Я точно тогда не знал, что мне пригодится и что нет. Я прошу вспомнить, что настроение Америки, когда я все это писал, было не то, что сейчас. Я мог быть выдан СССР. Шла война. У меня не было друзей или почти не было. Я был беден, я не знал языка. С тех пор столь многое изменилось... Но я не приписываю себе заслуг, которые мне не принадлежат: заслуга того, что переменялось отношение к СССР, принадлежит самому СССР и его политике.

Я работал в Нью-Йорке, в Детройте: сначала меня переводил г-н Маламут (переводчик книги Троцкого о Сталине. – Н. Б.). Когда было переведено около 500 страниц рукописи, мы предложили ее издательству Харперса, но оно отказало. После этого Маламут бросил перевод. Я с трудом уплатил ему и обратился к Скрибнеру. Это издательство, после того как просмотрело русский текст моей книги, приняло ее к изданию. Я получил аванс, подписал договор.

У меня появился второй переводчик, а также «редактор», т.е. человек, исправлявший отчасти переводчика. Когда книга была переведена до конца, я обратился к другому человеку, который мне ее снова перевел (уст-

но) на русский язык, чтобы узнать, насколько точно был сделан американский перевод. Этим человеком был Бернар Никольский. Редактора же и переводчика я называть не желаю.

Вюрмсер: Ага! Ага!

Мэтр Изар: Разве вы говорили в вашей диффамационной статье о «редактировании» книги? Вы, кажется, говорили о ее написании другим лицом?

Кравченко: Таким образом, имеется первая, вторая, третья редакции и корректуры. Первоначально я хотел назвать книгу «Измена ли это?». Так начал свою речь однажды депутат сената Патрик, и мне понравилось это. Но потом я решил назвать книгу «Я выбрал свободу». Все это я говорю для суда и общественного мнения Франции, а не для этого зоологического сада. (Широким жест в сторону ответчиков. Смех в зале.)

Изар оглашает письма из Америки и Европы

Первым оглашается свидетельство эксперта, проф. Санье. Он сделал анализ чернил и пришел к заключению, что рукопись написана, по крайней мере, год или полтора тому назад, никак не меньше. Следовательно, она не сфабрикована для процесса.

Вторым идет письмо Ивана Лодыженского, переписавшего рукопись на машинке по-русски. Третьим по очереди – письмо Бернарда Никольского, который пишет, что работа была очень трудная, Кравченко был чрезвычайно требователен и педантичен и вмешивался буквально во все.

Мэтр Изар: Он, кажется, дрался с ним по телефону.

Председатель: Мы это себе хорошо можем представить!

Четвертое показание – издателя Скрибнера, который сообщает, что поправок в корректуру было столько, что

Кравченко пришлось заплатить отдельно за слишком многочисленными исправлениями.

Пятое показание – В.М. Зензинова, который рассказывает о своем знакомстве с Кравченко в Нью-Йорке в 1944 году, о том, как Кравченко начал писать свою книгу, как читал ему некоторые страницы и даже продиктовал ему кое-что.

Председатель: Кто этот г. Зензинов?

Нордманн: Это адъютант Керенского.

Зензинов пишет, что много и по существу говорил с Кравченко о его книге. Шестым идет показание Эльзы и Конрада Штейнигер. Оба они приехали из России в Америку в 1939 году и, узнав, что Кравченко порвал с советской властью, предложили ему приехать к ним жить и писать свою книгу. Он это и сделал. Живя у Штейнигер, в Детройте, Кравченко на виду у своих домохозяев работал сутками над своей книгой. Они оба видели ее в рукописи, читали ее и обсуждали.

Седьмое показание принадлежит г-ну Раскину, у него Кравченко тоже жил, когда писал «Я выбрал свободу».

Восьмое показание – Д.Ю. Далина. Он встречался с Кравченко в 1944–1945 годах, бывал у него, видел рукопись и ее в отрывках читал.

Последнее показание – престарелой Анжелики Балабановой, адресованное в газету «Попюлэр». Балабанова (находящаяся сейчас в Италии) была в Нью-Йорке в то время, когда Кравченко писал свою книгу, она видела его работу и просматривала рукопись.

Все эти свидетельства даны под присягой.

После этих показаний и показания самого Кравченко впечатление создалось такое, что для успеха в Америке вовсе не обязательно писать книгу вдвоем, непременно в сотрудничестве с американским журналом, как утверждала «Лэттр Франсэз». Но адвокаты ответчиков нашли необходимым задать свои вопросы.

Выводы Нордманна

Мэтр Матарассо: Вы обращались до Скрибнера еще в разные издательства?

Кравченко: Возможно, что за меня обращались в одно или два.

Мэтр Изар: Американский агент, которого не хотели издавать!

Мэтр Нордманн: Помогал ли вам кто-нибудь писать вашу книгу? (Ропот в зале.)

Кравченко: Я уже сказал, что писал ее сам.

Мэтр Изар: Я жду от вас диверсии. Вы – маньяк диверсии!

Кравченко: Он опять сейчас начнет играть краплеными картами.

Мэтр Нордманн: Аванс был получен для вас и для переводчика?

Кравченко молчит.

Нордманн: Для двух соавторов?

Кравченко пожимает плечами.

Мэтр Нордманн (достаёт страницу рукописи с пометками): Для кого эти пометки?

Кравченко: Они были сделаны для меня самого.

Нордманн: Но тут написано в повелительном наклонении.

Эксперт «Лэттр Франсэз» перевел неверно: г-н Андронников поясняет, что глагол стоит не в повелительном, а в неопределенном наклонении. (Движение в зале.)

Председатель: Я должен заметить, что г-н Кравченко все время остается хозяином положения!

Кравченко: Я отвечаю на все. Я ничего не оставлю без ответа.

Но мэтр Нордманн считает, что находится «в самой сердцевине процесса».

– Мы докажем, что все, что Кравченко сейчас сказал, есть ложь!

Женский голос из публики: Вы сами лжец!

Председатель требует вывести даму. Жандарм ее выводит.

Мэтр Нордманн: Я делаю три вывода из всего, что было сказано: первый – текст манускрипта, предъявленного нам, не есть текст книги. Второй – рукопись не принадлежит Кравченко, и третий – фотокопии рукописи есть попытка фальсификации.

Мэтр Изар вскакивает. Вюрмсер не дает ему говорить. Все одновременно кричат.

Кравченко: Морган, дайте холодной воды Вюрмсеру!

Мэтр Нордманн: Мы докажем, что в рукопись были позже вписаны антисоветские вставки!

Председатель: Значит, по вашему, Кравченко менее антисоветский человек, чем американцы? (Смех.)

Нордманн: Часть рукописи написана по старой орфографии...

Кравченко внимательно слушает в переводе весь этот спор. Он почти все время улыбается и кажется очень уверенным в себе. Иногда он делает заметки на листе бумаги – он собирается отвечать по пунктам, когда адвокаты ответчиков и их эксперты кончат говорить.

Председатель объявляет перерыв.

Экспертиза Владимира Познера

Перед тем как, после перерыва, выслушать эксперта «Л. Ф.» г-на Познера, председатель дает Кравченко сказать несколько слов по поводу выводов Нордманна.

– Вы лжец и вводите в заблуждение французский суд, – говорит Кравченко. – Вы бросаете тень и на меня, и на моих адвокатов, обвиняя нас в фальсификации. Вот главы, которых не хватало в деле, – они были у эксперта трибунала. Они идентичны с копиями.

Владимир Познер выходит к свидетельскому барьеру. Присягать его не просят, так как он не свидетельствует,

а выступает со стороны «Л. Ф.» как ими приглашенный эксперт.

Мэтр Изар: Присягать ему ни к чему. Это – их человек!

Познер, все время шевеля пальцами перед своим лицом, словно играя на невидимом кларнете, объясняет французскому суду, что разница между манускриптом и книгой доказывает, что эти две вещи были написаны двумя разными людьми, иначе говоря, рукопись Кравченко была дополнена «меньшевиками», вдохновлена американскими журналистами и только после этого появилась в свет.

Мэтр Изар: Значат, вы считаете, что рукопись все-таки Кравченко?

Познер мнется. Но, видимо, он считает, что первоначальная работа была сделана Кравченко.

– Текст рукописи скромнее текста книги, – говорит он. – В книге все было приукрашено, усилено, тени резче, характеры очерчены рельефнее и пристрастие чувствуется на каждом шагу.

Председатель делает из ладони рожок у уха, голос эксперта едва слышен, монотонно и пространно объясняет, что там, где в рукописи стоит «два человека», в книге напечатано «два коммуниста», где в рукописи «я шел», в книге – «я ехал».

Председатель: И это все?

Познер: Нет, у меня еще есть двадцать пять примеров. И сто в другом роде.

Он усмотрел в русской рукописи «гривуазные» места, которых в американском переводе нет. До этого несколько раз говорилось, что «советский гражданин Кравченко» не мог написать гривуазных сцен, что это, несомненно, приписали ему американцы «для коммерческого успеха книги». Теперь выходит наоборот.

Познер рассуждает как человек, сам никогда ничего не написавший, хотя за ним, как говорят, числится несколько книг (не считая разных переводов). Он считает,

что если часть рукописи написана карандашом и часть пером, то это подозрительно; что если есть страницы без исправлений, то они фальсифицированы. Он говорит о стиле «а» и стиле «б». Стиль «б» – несомненно, стиль «меньшевистский».

Председатель: Манускрипт был несколько романсирован. Это несомненно. Но кто же это сделал?

Познер: Стиль «б» – это стиль русских эмигрантов, долго живущих в Америке. Кравченко не мог сказать «стейк», он бы сказал «бифштекс», как говорят русские из России.

Кравченко: В России нет ни бифштексов, ни стейков. (Смех в зале.)

Председатель: Вы все-таки допускаете мысль, что Кравченко участвовал в написании своей книги?

Познер: В известной мере.

По словам эксперта, русские эмигранты придали книге «антисоветский» вид. На все эти темы он говорит около двух часов, в течение которых зал постепенно пустеет. Наконец показания его окончены. Заседание тем самым тоже – так как уже больше семи часов, и второй эксперт, м-ль Годье, принуждена будет выступить завтра.

Неожиданный скандал

Все встают со своих мест. Адвокаты подходят к столу присяжных.

Мэтр Нордманн и мэтр Изар одновременно хватаются за рукопись. Начинается шумный спор: кто сохранит эти папки до завтра?

Председатель (к Нордманну): Г-н Кравченко не обязан был доставлять рукопись суду. Он добровольно это сделал. Она была в ваших руках больше недели. Я считаю, что мэтры Изар и Гейцман могут ее взять до завтра.

Нордманн повышает голос. Вюрмсер, Морган и все их адвокаты хором требуют рукопись. Слышны голоса:

«Он сделает в ней подчистки», «Он внесет поправки», «Он выдернет листы».

Мэтр Изар настаивает, предлагает в крайнем случае оставить ее на сутки в регистратуре.

Председатель обращается к прокурору.

Прокурор считает, что суд не вправе отказать Кравченко получить обратно свою рукопись.

Председатель (решительно): Я передаю ее мэтрам Изару и Гейцману. Вы даете слово, что Кравченко не изменит в ней ничего.

Адвокаты отвечают согласием. В эту минуту Вюрмсер и Морган отпускают какое-то замечание, которое не доходит до публики, но доходит до председателя. Он встает, сильно покраснев, и грозно объявляет во всеулышание:

– Никогда за двадцать с лишним лет работы моей в магистратуре я не был свидетелем такого возмутительного недоверия к чужому слову. Где мы находимся? Что же, вы думаете, что они будут копать* в этих страницах? Побольше уважения, господа, к тому, что здесь делается!

И, с силой отодвинув кресло, он выходит в сопровождении судей.

В кулуарах среди журналистов циркулировала шутка, что «пробный приговор уже был сегодня объявлен».

СЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

В среду, 2 марта, должно было закончиться разбирательство дела Кравченко, и на понедельник, 7-го числа, назначены были прения сторон. Но экспертиза г-на Познера еще не кончена. Его утверждения кажутся адвока-

* *Tripatouiller* (*фр.*), слово арга, которому по-русски перевода нет. – Н.Б.

там Кравченко несколько голословными, и они просили его их уточнить.

Поэтому в понедельник суд вернется еще раз к обсуждению рукописи. Возможно, что к концу заседания, начнутся речи.

Заседание семнадцатое началось продолжением речи г-на Познера, который накануне не закончил своих выводов касательно манускрипта книги «Я выбрал свободу». О стиле «а» и «б» он выскажется, с примерами в руках, лишь в понедельник. Сейчас же он возвращается к рукописи как таковой.

Еще экспертиза Познера

– Она не была напечатана, – говорит Познер, – в таком виде, в каком нам ее дали. Над ней была в свое время совершена работа, о которой Кравченко не говорит и которая сделала из нее книгу. Она полна поправок, которые набросаны чужой рукой, но ведь невозможно было диктовать поправки! Антисоветские места в ней подчеркнуты и затем в книге развиты. Если в рукописи мы читаем «невинные люди», то в книге мы уже встречаем «сотни тысяч невинных людей».

Познер говорит довольно долго при полупустом зале.

Председатель берет в руки переданный ему экземпляр книги Кравченко, где красным карандашом отчеркнуты места, которых в рукописи нет.

Председатель: Их вовсе нет в рукописи?

Познер (после колебания): Их нет в этом месте.

Председатель: Мне все равно, в каком они месте. Я хотел бы знать, фигурируют ли они в рукописи где-нибудь?

Познер (запинаясь): Но там, где говорится совсем о другом...

Председатель: Словом, они имеются, но не в этой главе!

(В публике движение.)

Познер говорит и о Сталинабаде-Ашхабаде, и о старой орфографии, которой написаны некоторые слова: Кравченко не мог писать по старой орфографии.

Председатель настаивает на этом пункте, который кажется ему довольно существенным. Но через минуту выясняется, что дело идет не о букве «ять» и не о твердом знаке, а о «сс» и «ее» в таких словах, как «рассказывать».

Познер: Я плохо выразился вчера...

Забрав с собой рукопись, эксперт выходит из зала, чтобы продолжить ее изучение.

Последние эксперты

Второй эксперт, Тереза Годье, учительница русского языка французской школы, некрасивая немолодая дама. Она считает, что текст рукописи Кравченко «не спонтанный».

Она сделала открытие: фотокопии не всегда соответствуют оригиналу. Красноречия у нее немного, она несколько раз говорит не то, что надо: «Простите, я ошиблась», «Ах, нет, я не ошиблась!» «Да, я ошиблась».

Публика, которая скучает, придирается к случаю и смеется.

Председатель: По-вашему, фотокопии сделаны не с рукописи, а с американского текста?

Но свидетельница боится ответить на такой вопрос утвердительно, это может завлечь ее довольно далеко. И ее отпускают.

Последним экспертом по рукописи выходит г-н Зноско-Боровский, переводчик «Лэттр Франсэз», советский патриот. Он тоже занимался сравнением рукописи и фотокопий.

– Страница? Издание? – спрашивает Кравченко. – Пожалуйста, говорите точно, я хочу, чтобы все это осталось в стенограмме.

Зноско-Боровский указывает на разницу двух текстов...

В это время возвращается с папками Познер, и они оба вместе дают свое заключение.

Кравченко: Вы сегодня радуетесь, чтобы умереть в понедельник!

Сегодня он возражать экспертам не собирается, он ждет, чтобы Познер закончил свои изыскания в области стиля «а» и «б».

Документы *via prague*

Так как «свидетелей нравственности» «Л. Ф.» еще нет, мэтр Нордманн просит слова.

– Нас спросили вчера, – говорит он, – нет ли у нас советских документов? Да, они у нас есть, и настал момент их предъявить. Первый документ, впрочем, не советский, а американский. Это статья Джорджа Себиэса, автора книги «1000 американцев», в «Нью-Йорк пост» от 1946 года. Из нее следует, что Евгений Лайонс, о котором говорилось вчера как о возможном авторе книги Кравченко, был разоблачен в военном американском журнале «Старс энд Страйпс» как наци: в архивах генеральных штабов Германии и Италии были найдены его писания. Во время оккупации статьи Лайонса перепечатывались во французском журнале «Сигнал». Вот кто был автором книги Кравченко!

Кравченко: Плохая у вас защита, Нордманн!

Нордманн: Затем идут советские документы: первый относится к управлению Кравченко заводом в Кемерово. Этот завод никогда не существовал. Он был только в проекте. Кравченко имел под своим началом... семь человек!

Председатель: Но это же были не рабочие? Вероятно, это были директора и старшие инженеры?

Нордманн: Ничего не было! Никакого строительства! Был только проект.

Он вынимает из папки документ, вернее, копию документа, полученную из СССР, и читает текст, из которого следует, что Кравченко получал 11 000 рублей в месяц (все удивлены): один раз в этом документе он назван «директором завода», другой раз – «старшим инженером».

Мэтр Гейцман вскакивает торжествуя, но мэтр Изар его тянет за рукав: они сохраняют этот камень за пазухой до понедельника.

Далее мэтр Нордманн оглашает справку о судимости Кравченко (по делу о растрате).

Председатель: Это все есть в его книге.

Нордманн читает о приговоре, о кассировании дела. Кравченко не отбыл наказания только потому, что был призван на военную службу.

Кравченко: Вы теперь сфабриковали этот документ. Где оригинал? Все было не так.

Брюгье читает справку о воинской повинности, снова поднимается вопрос о Харьковском университете, о дезертирстве, оставлении закупочной комиссии. Документ о комиссии подписан Руденко.

Мэтр Изар: Ну, конечно, генерал все еще в Париже!

Ничего нового, кроме подтверждения, что Кравченко был назначен в свое время на высокий пост, эти «документы» не дают.

Мэтр Изар встает и просит две минуты внимания.

– В последний день дебатов, – говорит он, – нам преподносят новые документы. Вы сноситесь с правительством другой страны и можете от него получить все, что хотите от него получить, все, что вы хотите! И это есть лучшее доказательство, что Кравченко говорит правду, потому что ни на какие другие его утверждения вы опровержений не принесли! Вы могли их достать сколько угодно – все советские учреждения открыты вам. Но у вас нет ничего серьезного, что вы можете противопос-

тавить его книге... Кстати, я должен сказать два слова об одном из ваших свидетелей.

Изар вынимает два письма. В свое время коммунистический депутат д'Астье де ля Вижери сказал, что, если бы книга Кравченко появилась в 1944 году в Алжире, он бы арестовал его и уверен, что все члены алжирского правительства сделали бы то же самое. Одно письмо, полученное Изаром, подписано Ле Трокером, социалистом и бывшим министром. Он пишет, что никогда бы он Кравченко не арестовал. Второе письмо – Андрэ Филиппа. Этот последний не только пишет, что Кравченко мог бы свободно в Алжире издать свою книгу, но также добавляет, что если бы д'Астье его арестовал, то был бы немедленно из министерства выгнан.

– И это не правые, это левые люди пишут!

Вюрмсер: Вы называете социалистов левыми?

Изар: Нет, я забыл, что по вашей терминологии это гидры империализма.

Объявляется перерыв.

Демократия – что дышло!

После перерыва появляются три «свидетеля нравственности»: известный писатель Жан Кассу (женатый на сестре Вюрмсера), бывший министр Ив Фарж, ныне близкий к коммунистам, и небезызвестный Пьер Кот, «друг СССР».

Ни одному из них не ставится ни одного вопроса. Мэтры Изар и Гейцман слушают их совершенно равнодушно, адвокаты ответчиков – с подобострастным восторгом. (Ни г-жа Марти, ни г-н Жолио-Кюри свидетельствовать не явились.)

Кассу, которого Брюгье отрекомендовал не только как писателя, но и как друга Жана Зея, считает, что Кравченко «служил врагу», «хотел разделить союзников».

Фарж произносит слово во славу «моих дорогих друзей», которые не испугались пойти против пропаганды Геббельса. Он тут же выражает свое мнение о том, как ведется процесс, за которым он следит по газетам.

Пьер Кот был в России несколько раз. Он считает, что 100 процентов населения стоит за власть, что культурный расцвет там – небывалый. Он поехал в Грузию, так как сам из Савойи и хотел взглянуть на страну, схожую с его родиной. Население было счастливо, все было действительно очень похоже на Савойю, только дороги были хуже.

– В каждой стране – своя демократия. В Англии выбирают префектов, у нас их назначают, но и Англия, и Франция – демократии. В России свой режим, там не так, как у нас, но тоже демократия. Книга Кравченко однобока и пристрастна. В России все довольны правительством, которое позволило народу победить фашизм.

В 5 часов 15 минут заседание закрывается.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Процесс Кравченко идет к концу. В зале исправительного суда, где до сих пор разбирались дела об украденных велосипедах или о драке двух соперниц и где ныне слушается самое большое дело о диффамации, какое когда-либо пришлось разбирать французскому суду, снова переполнены все скамьи – публика, адвокаты, журналисты до самого последнего дня с затаенным дыханием будут слушать этот процесс, о котором пишут все газеты мира. Начались речи, близится заключение прокурора (которое, как говорят, будет коротким), близится приговор, о котором гадают в кулуарах...

Восемнадцатый день принес окончание судебного разбирательства. Оно было закрыто председателем в понедельник, 7 марта, в 6 часов дня, когда начались прения сторон.

«Свидетель нравственности» г-н Жолио-Кюри

Заседание начинается с показаний Жолио-Кюри, известного ученого, директора Института атомной энергии, нобелевского лауреата и коммуниста.

Небольшого роста, невзрачный, худой, он начинает с того, что воздаст должное «смелости, таланту и честности» редакторов «Лэттр Франсэз». Жолио-Кюри был в России три раза: в 1933, 1936 и 1945 годах и «старался книгу Кравченко читать беспристрастно». Он понял, что она неверна, особенно тогда, когда узнал, как героически вели себя резистанты во время немецкой оккупации. Об ужасах лагерей в СССР написано в ней с единственной целью – принести ущерб престижу СССР.

Особенно возмутили ученого главы о Харькове: он сам был в Харькове и видел там среди студентов и профессоров огромный энтузиазм. Все критиковали действительность безбоязненно, указывали на ее слабые стороны. «Когда Кравченко говорит об “обскурантизме” Советов, то это просто смешно», – сказал Жолио-Кюри.

– Я видел в Харькове замечательную школу: в нее посылали учиться всех первых учеников. Это была школа вундеркиндов. Она помещалась в каком-то дворце. Профессора тоже были самые лучшие. Я говорил с учениками...

Председатель: Вы говорите по-русски?

Жолио-Кюри: Нет, но переводчиком был тоже ученик, ему было 13 лет. Он не мог быть подослан нарочно. Он говорил со мной об атомной энергии. Что случилось с этими детьми? – спрашивает Жолио-Кюри. – Это все должны были стать замечательные люди. Но нам с женой неизвестно, где они теперь.

– Книга Кравченко – грязная книга, – продолжает ученый. – Он критикует мелкие недостатки, как, например, недействующие удобрения. Сам он из рабочих стал инженером, при царе это было невозможно. Ева Кюри

(сестра жены ученого) тоже написала книгу о СССР. Ее книга – беспристрастна. (Следуют длинные цитаты из книги Евы Кюри.) Рацион хлеба был в России во время войны огромным.

Председатель: Но только хлеба!

Жолио-Кюри: Ева Кюри говорила о том, что благодаря процессам была уничтожена пятая колонна. А теперь Кравченко создает «климат войны». Этот климат похож на то, что мы уже видели в 1938–1939 годах (Ропот в публике.)

После чтения еще нескольких длинных цитат из книги родственницы Жолио-Кюри ученый кончает свои показания.

Не совсем понятно было, почему был приглашен он сам, а не его свояченица?

Д'Астье де ля Вижери оправдывается

Депутат д'Астье де ля Вижери, уже дававший суду свои показания, просит, чтобы его выслушали еще раз.

Ле Трокер и Андрэ Филипп письмами заявили, что, будучи во французском алжирском правительстве, они никогда бы не арестовали Кравченко, если бы он не в Америке, а в Алжире «выбрал свободу».

Возражения депутата на эти письма довольно бледные. Он напоминает, что у французов были всякие недоразумения с Рузвельтом и Черчиллем, но никогда не было недоразумений со Сталиным. Он говорит, что при де Голле в Алжире существовала цензура и Кравченко не позволили бы дать свое интервью; что коммунисты в резистансе играли первую роль; что в Алжире арестовывали многих, которые сеяли рознь между союзниками (например, ливанского президента.) Что касается выражения «гениальный вождь» в применении к Сталину (о чем писал в своем письме Ле Трокер), то впервые это имя было дано ему... Леоном Блюмом и са-

мим де Голлем(?). Повторив несколько раз одно и то же, д'Астье умолкает.

Мэтр Изар: Здесь у нас сегодня парламентские дебаты! Говоря короче: два человека из алжирского правительства с вами не согласны, а вы сказали: если хоть один найдется, то я неправ. Комментарии излишни!

Разведка г-на Нордманна

Прежде чем дать Кравченко высказаться о рукописи и ответить экспертам «Лэттр Франсэз», мэтр Блюмель читает письменные показания, полученные ответчиками.

Английский королевский советник, депутат палаты общин Притт шлет им свое сочувствие.

Г-н Вермер пишет, что «мировая реакция всегда обвиняет СССР в грехах, которыми грешит сама».

Г-н Лир (из Бельгии) рассказывает, что ему говорил один американский журналист(?) о школе пропагандистов в Америке, где обучаются агитаторы, которые затем работают против СССР. В этой книге, как пишет Лир, был в свое время и Валтин. О Лайонсе он говорит как о бесспорном авторе книги Кравченко.

Поль Вьено сообщает, что Вюрмсер и Морган – это Габриэль Пэри (коммунист, погибший от руки гестапо), а Кравченко – Дорио и Абец.

Американский адвокат Кинг, специалист по иммиграции в Соединенные Штаты, утверждает, что правительство Америки никому не дает виз на выезд, кто путешествует под чужим именем. Между тем мэтр Нордманн добыл из «Эр Франс» список пассажиров того дня: когда приехал Кравченко, он действительно путешествовал под именем Павла Кедрина.

Председатель: Не хотите ли вы сказать, что Кравченко никогда уже в Америку не сможет вернуться?

Мэтр Нордманн: Нет, но все это была протекция!

Мэтр Изар: Как пломбированный вагон Ленина!

Кравченко: У Нордманна исключительные полицейские способности.

Мэтр Изар: Кравченко, выходит, по-вашему, не только американский агент, но и французский?

Нордманн: В этом французское правительство следует за американским. (Ропот в публике.)

Мэтр Гейцман: Откуда вы достали список пассажиров «Эр Франс»?

Нордманн: Этого я вам не скажу.

Гейцман: Тогда я прошу копию этого документа.

Ответ Кравченко экспертам

– Спасибо Нордманну за беспокойство о моем будущем, – начинает Кравченко свою речь, – и за объяснение американских законов. Все документы, оглашенные ответчиками, – лишнее доказательство тому, что коммунистическая опасность велика в Америке и во Франции. Иначе Нордманн все эти документы достать бы не мог.

Г-н Познер, экспертизируя мою рукопись, не нашел в ней многих страниц, которые потом оказались в книге. Я уже сказал, что я представил суду 700 страниц, а вот еще 400, полученных из Америки вчера. Все это сделано мной по доброй воле, я не был обязан это делать. Все это написано от руки. Материалы о НКВД собраны особо. Их я не могу дать на руки, так как из них составитя частью моя вторая книга. И эта вторая книга будет звонкой пощечиной советскому режиму и его деятельности за границей.

Познер сказал, что книга моя более антисоветская, чем моя рукопись. Это неверно. Жизнь под кремлевскими тиранами и сравнение Сталина с Гитлером – все это есть в рукописи. Если я не убедил вас (в сторону ответчиков), то это потому, что у вас извращенный вкус кремлевских обезьян. (Смех в публике.)

Я писал, что советский режим мало чем отличается от фашистского режима. Если взять приговор нюрнбергских процессов и заменить имена немецкие именами советскими, то все можно оставить на месте – все будет верно. Говорить, что я самого себя представил в книге более важной персоной, чем в рукописи, тоже неверно.

Вы плохо читали, г-н Познер! Вы плохо читали ваше дело! Вы игнорировали все, что я сказал о том, как я писал свою книгу.

Мэтр Матарассо: Кто был ее редактором?

Мэтр Изар: Не мешайте ему говорить!

Кравченко: М-ль Годье видела 8 листов из 700. Она говорила о несовпадении фотокопий с рукописью. М-ль Годье хочет лишиться меня права писать, как я хочу и о чем я хочу. Если г-да Нордманн и Матарассо пишут без помарок, то это – большие таланты. К сожалению, талантов-то за ними мы до сих пор и не метили.

Тут Кравченко переходит к существу дела. Он передает председателю переводы нескольких листов своего манускрипта, где переведены и разобраны не только все без исключения слова, но и зачеркнутые места – то, что делают обычно специалисты с рукописями Пушкина в России, Шекспира в Англии и Гете в Германии.

Председатель долго изучает листы. Эти листы были у м-ль Годье, и Кравченко желает доказать, что все в них – соответствует книге.

Г-н Андронников переводит почти безостановочно: председатель держит теперь в руках книгу, переводчик читает перевод рукописи той страницы, за которой следит председатель.

Таким образом Кравченко поясняет около десяти мест, которых, по Познеру, не было в рукописи. Часть листов была в руках у экспертизы, часть, присланная только вчера, им незнакома. Этим способом Кравченко

выясняет довольно много неясных мест, в частности, место об Орджоникидзе.

– Вы три дня ввали, – говорит он Матарассо, – дайте мне теперь говорить.

Адвокаты ответчиков все время прерывают Кравченко, говоря, что листы, которые переводит г-н Андронников, у них в руках не бывали. По ним Орджоникидзе выходит покровителем и другом Кравченко.

Познер пытается взять какой-то лист, но Кравченко кричит:

– Я потом вам дам! Не трогайте ничего!

Председатель: Во всяком случае, вы можете сделать анализ чернил. Если чернила употреблены больше года тому назад, то спора, конечно, быть не может.

Мэтр Изар: Есть многое, чего мы не дадим читать: это материалы для второй книги.

Кравченко: Г-н Познер, подойдите сюда!

Познер, сидящий на скамье адвокатов ответчиков, не двигается.

Председатель: Мне не очень нравится вся эта группа: эксперты, адвокаты, ответчики – все друг с другом шепчутся. Пусть эксперты идут на свои места. Да они и не эксперты. Это ваши эксперты. (Познер уходит в глубь зала.)

Председатель (который знает книгу Кравченко назубок): Теперь мы перейдем к «пассажу дяди Миши».

Кравченко читает «пассаж дяди Миши». Познер становится рядом с ним.

Председатель: Есть в рукописи об этом?

Познер (мнется): Тут одна фраза...

Переводчик читает по рукописи. Тексты почти совпадают.

Кравченко переходит к вопросу о новой орфографии: он учился до революции русской грамоте, а после, в университете, все науки проходились по-украински. Он мог ошибаться.

– Если вы проэкзаменуете Романова или генерала Руденко, то я окажусь, наверное, грамотнее их!

Вся эта часть заседания требует от судей чрезвычайного внимания – надо ясно себе представить процедуру: Познер показывал по-французски, имел дело с русским текстом; Кравченко перевели по-русски стенограмму этих показаний. Теперь он возражает на них по-русски, г-н Андронников переводит их по-французски. Но суд терпеливо слушает и «пассаж дяди Миши», и «пассаж Саши», и «пассаж Фромана».

После перерыва Кравченко продолжает доказывать, что рукопись и книга – одно и то же. Адвокаты ответчиков время от времени поднимают шум, говоря, что эти листы у них в руках не были.

Мэтр Нордманн: Мы не можем работать в таких условиях!

Мэтр Изар: Я ничего никогда вам не обещал.

Наконец Кравченко заканчивает:

– Эту книгу писал я сам, даю в этом честное слово. Я писал и буду писать, а вам предстоит решить, кто в этом процессе прав... Весь мир смотрит на вас. Взгляды всего свободного человечества обращены к вам. Прошу трибунал вынести решение во имя справедливости и свободы.

Матарассо и Познер хотят еще поговорить о «пассаже Орджоникидзе».

Кравченко: Вы все лжете! Я уже говорил об этом, а вы сидели и молчали.

Познер: Г-н председатель, я, кажется, лучше знаю этот манускрипт, чем г-н Кравченко, который говорит, что написал его. Он не может найти некоторых мест и что-то долго ищет.

М-ль Годье выводят к барьеру, но она оказывается не нужна.

Председатель прекращает обсуждение рукописи.

Слово предоставляется мэтру Гейцману.

Речь мэтра Жильбера Гейцмана

Речь мэтра Гейцмана продолжалась всего час и будет продолжаться завтра. Сегодня она разделена была на две части: первая – фактическая и вторая – юридическая. В фактической части мэтр Гейцман блестяще обрисовал сущность дела:

– Почему не откроются границы, чтобы, наконец, поехать в эту страну и на деле узнать, что правда и что неправда? – воскликнул он в самом начале своей речи. – Как было бы просто решить вопрос!

Статья Сима Томаса, диффамационные статьи Вюрмсера и (почти все анонимные) статьи Моргана были Гейцманом анализированы чрезвычайно детально.

«Дурак. Пьяница. Неспособный. Интриган. Преступный тип. Продажный человек» – вот в чем заключается диффамация Кравченко.

«И подумать только, что профессор Байе сказал об авторах этих статей, что они рассуждают как историки. Неужели он хотел посмеяться над судом?» – иронизирует Гейцман, лукаво и умно блестя живыми глазами на широком подвижном лице.

– Кравченко просто хотели замарать. Это их тактика – грязнить врага, – заключает он и переходит к юридической основе дела.

Он цитирует законы о диффамации, рассказывает суду, как и когда начато было дело и были вызваны свидетели, и напоминает, что истец не должен ни объявлять своих свидетелей, ни сообщать своих документов. Факт диффамации, по его мнению, налицо. Но кроме факта есть еще злая воля, есть дурное намерение – и это, быть может, наиболее важная сторона процесса.

В семь часов вечера заседание закрывается.

Конец речи мэтра Гейцмана и речь мэтра Изара – во вторник.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Накануне, в понедельник, 7 марта, мэтр Жильбер Гейцман начал свою речь. Весь день вторника был посвящен окончанию его речи, которая длилась четыре часа, и началу речи мэтра Жоржа Изара, длившейся два часа.

Эти две речи были двумя образчиками французского красноречия в самой совершенной его форме: Гейцман спокойно, искусно, упорно, хитро, жестоко плел сложную паутину вокруг «Лэттр Франсэз», основанную на точных данных; он перебрал в своей речи весь процесс с его истоками, с его свидетелями, с его документами.

Мэтр Изар в блестящем, умном, очень «человеческом», ярком словесном фейерверке говорил о личности истца, о его книге, которая есть выражение этой личности.

Зал слушал с затаенным дыханием. Ответчики молчали. Кравченко, следя за французской речью адвокатов, был весь напряженное внимание.

Политики, христиане и профессора

Мэтр Гейцман поделил свидетелей ответчиков на несколько групп. О каждой из них он нашел слова убийственные, уничтожающие. Отличительная черта этих свидетелей – их принадлежность к коммунистической партии.

«Почему среди них не было человека, который сказал бы: я против коммунизма и против “Лэттр Франсэз”, но я должен сказать: книга Кравченко – вредная книга! Почему все эти профессора, христиане и политики принадлежали к партии или сочувствовали ей?»

– Мы не можем забыть, – сказал Гейцман, – что партия для тех, кто в ней состоит, находится выше всего: выше правды, выше справедливости, выше идеи, выше присяги. Партия диктует им все. И пусть нам не говорит Сим Томас, что Кравченко «использовали немцы»,

когда самих редакторов «Лэттр Франсэз» используют коммунисты.

Мы хотим точных слов! Когда Кравченко говорит об обскурантизме в СССР, а Жолио-Кюри говорит, что обскурантизма там нет, то этот последний хочет сказать, что там есть образцовые школы, но мы знаем, что есть вещи, которым в школах не научаются. Этот же Жолио-Кюри удивляется, что Кравченко «говорит о грязи», но кто как не Маленков в июне 1941 года говорил о грязи на заводах, на строительствах и призывал рабочих и инженеров к чистоте и порядку? Было время, Жолио-Кюри протестовал против советско-германского пакта (следует цитата), а сейчас он, став коммунистом, его оправдывает.

«Полковник» Маркие выступал в Эльзасе и уверял, что пленных французов больше в России нет, но все знают, что это неправда!

Противоречия убивают свидетельства наших противников: у Тома одно отношение к власовцам, у Ланга – другое.

Генерал Пети считает Кравченко дезертиром, а Пьер Кот говорит, что об этом не может быть и речи. Но что такое генерал Пети? Это – благодарный человек: с ним полчаса разговаривал сам Молотов, и теперь он ему служит. Впрочем, что будет через два месяца? Будут ли «Л. Ф.» так же рьяно говорить о Молотове, как сегодня? (Смех.)

Нам говорили, что благодаря процессам в СССР не было коллаборантов. Но почему же тогда троих наших свидетелей называли военными преступниками? Уж если на то пошло, то они не военные преступники, а только возможные обвиняемые... Но русскому суду эти тонкости непонятны.

Это процесс – диффамационный. Мы не судим здесь правительство дружественной страны. Мы не судим здесь Кравченко как мужа и семьянина. Горлова в свое время лгала ему – пусть тот, кто не способен разлюбить женщину за ложь, бросит в него камень!

Христианский свидетель цитировал здесь невозвращенца Корякова, говоря, что этот человек осуждает Кравченко за его книгу. Мы уже читали статью этого автора о Кравченко – он считает «Я выбрал свободу» книгой правдивой и честной. И о. Шайе тоже сказал нам об этом свое мнение. Что до «белого» Говорова, то неужели «Л. Ф.» не чувствует, что это-то и есть настоящий предатель? До чего можно дойти, чтобы вызвать Говорова свидетелем в таком процессе!

Перед нами прошли профессора. От профессора Брюа летят щепки от одного вида свидетельницы Ольги Марченко! Профессор Баби и депутат Гренье вообще были не свидетели, а скорее разновидность ответчиков, потому что они говорили «мы». Тут перевирались цифры населения СССР. Не будем говорить об этих цифрах, скажем только, что перепись 1937 года была уничтожена и была произведена другая, в 1939 году, потому что первая перепись была признана «несозвучной», и часть людей, которые занимались ею, была «вычищена» безвозвратно.

И вот перед нами появились «эксперты» – Познер, Куртад, Эрман. Все они говорили разное. Мы слушали их и недоумевали: где же обвинения, которые возвел на Кравченко пресловутый Сим Томас? Нам дали Зинаиду Горлову. Увы, не в нравах нашего французского суда слушать разведенную жену, которая свидетельствует против своего бывшего мужа.

Наконец явились московские чиновники. Они присягали говорить «всю правду», но на наши вопросы о чистках, о невозможности переписки с Россией, о многом другом они отвечали, что говорить об этом не считают нужным. Это ли «вся правда», господа Руденко и Романов, Василенко и Колыбалов?

А когда появились Цилиакус, Кан и инженер Жюль Кот, то уж тут мы просто недоумеваем: они все трое льют воду на нашу мельницу. Дайте их нам! Из их показаний мы делаем нужные для истца выводы.

Наши свидетели

Но вот я представляю суду новый документ: это письмо матери Кравченко, написанное ему в Америку в 1943 году. Она пишет об ужасах немецкой оккупации, а теперь мы знаем, как она переживала эти годы.

Наши свидетели не дают своих мнений, но рассказывают точные факты! Этим они отличаются от свидетелей ответчиков. О, они иногда были многоречивы, русские говорят часто слишком подробно, но как же иначе?

Ведь люди, которых мы вызвали сюда, страдали слишком много и слишком долго, чтобы умолчать о деталях, — им хочется все рассказать французскому суду.

Это люди-мученики, и они глубоко пережили все ужасы, о которых нам передали в бесхитростных, искренних показаниях.

Их называют коллаборантами. Но это ложь!

В декабре 1945 года была резолюция ООН, в которой было установлено, что такое «депортация» и кто может называться Ди-Пи. И право было Кэ д'Орсэ, когда на советскую ноту о выдаче Пасечника, Кревсуна и Антонова ответило: это не наше дело, это дело администрации союзных зон в Германии. Туда надо было обращаться несколько лет тому назад...

Им ставилось в вину бегство от Красной армии. Я сам был пленным и знаю, что, когда наступали союзники, лагеря эвакуировали на восток, а когда наступали русские, лагеря эвакуировали на запад. Ловкачи успевали сесть в поезд. За это нельзя их упрекать — каждый делает что может в тяжелые минуты жизни. И когда каждого свидетеля из Германии адвокаты «Лэттр Франсэз» спрашивали одно и то же (где был в Германии? почему там оказался?), то, мне кажется, у последних свидетелей было время придумать что-нибудь, зная, что их будут об этом спрашивать, но они ничего не придумывали и говорили правду не боясь.

Пусть Вюрмсер отправит в Москву новый список военных преступников – всех наших свидетелей! Мы не изменим нашего мнения о них.

Здесь был Муанэ – герой «Нормандии-Неман», и он рассказал нам о СССР в войне. Почему «Л. Ф.» не пригласила сюда других героев этой эскадрильи, если она не верит Муанэ? Потому что других, думающих иначе, не нашлось.

Когда наш свидетель Борнэ показывал, его упрекнули, что он был за Петэна, а не за де Голля. Но можно ли было быть за де Голля, когда в Москве сидел посол Петэна, а советский посол сидел у Петэна в Виши? (Движение в зале.)

Мы видели здесь г-жу Лалоз. Мы видели Ольгу Марченко и жену Неймана. Из этих двух женщин одна была крестьянка, другая – писательница. Их одних было бы достаточно для того, чтобы потрясти сердца. И, однако, передо мной 2600 страниц стенограммы. Процесс длится девятнадцатый день.

Для кого он неясен, я не знаю.

Мне говорят, Кравченко – предатель. Но вы забываете, господа, что этот человек рисковал и рискует жизнью. Он меняет имена и будет еще долго их менять. От него потребовали явиться на процесс, и он явился. После убийства Троцкого позволено окружать себя телохранителями и путешествовать под чужим именем. Опыт нас этому научил.

Цена иска

Затем мэтр Гейцман переходит к возражениям по пунктам: он говорит и о растрате на заводе, и о приказе Меркулова, и о кассации дела Кравченко, и о документе, который доставлен был защите из Москвы. Он касается Ашхабада-Сталинабада, знакомства с Орджоникидзе, Харьковского института, «документа Молотова» и работы в Совнарком. На все это он отвечает с исчерпывающей полнотой.

– Вы упрекали Кравченко, что он себя в книге возвеличил. Нет, это вы его преуменьшили! Вы лгали на него, вы облили его грязью.

Мы просим возместить нам моральный и материальный ущерб. Мы просим 10 миллионов франков. Один символический франк нас не удовлетворит, потому что «Л. Ф.» должны почувствовать, что такое быть наказанным.

Вы заработали на Кравченко, господа, вы можете заплатить эту сумму! – восклицает иронически мэтр Гейцман. – Вы продаете ваши романы, г-н Вюрмсер, на которых книготорговцы теперь клеят надпись: «Книга противника Кравченко», а ваша фамилия печатается мелким шрифтом. (Смех.)

Ваша газета, в которой вы продолжаете клеветать на Кравченко, ищет все новых и новых подписок. Помните, у Домье: «Дайте мне еще пять су, и я скажу, что у вас парша!» Так вот и вы. Вы стали знаменитостями благодаря Кравченко, до этого вас никто не знал. Платите же за это! И не говорите, что Кравченко продавал свою книгу лучше благодаря процессу, – он бы все равно распродал ее.

Клод Морган должен бы понять, что человек меняется, эволюционирует, что Кравченко свободен из инженера стать политическим человеком. Морган сам не всегда был тем, чем стал теперь. В 1935 году он был единомышленником Анри Берро, Леона Додэ, Моррасса, Бразильяка...

Морган: Я не предавал родины.

Мэтр Гейцман: Мы просим возместить наши 10 миллионов. Они найдут эти деньги. (Смех.) Ведь, по их словам, 33 процента французов с ними, ну так пусть платят!

Мэтр Изар начинает свою речь

В половине шестого речь мэтра Гейцмана окончена.

Мэтр Изар встает со своего места.

– Шесть недель со страниц «Л. Ф.», – говорит он, – льется на нас грязь. Но мы орудуем только аргументами

и фактами. Я предлагаю вам на минуту вообразить, что было бы, если бы Кравченко в апреле 1944 года вернулся в Россию, как этого требовал генерал Руденко. Этот процесс происходил бы в Москве. Вероятно, Романов и Колыбалов были бы вызваны свидетелями. И вот на скамье подсудимых сидел бы этот самый человек, которого мы здесь узнали. Кравченко, который бил бы себя в грудь и признавался в несовершенных преступлениях – по способу, который уже сейчас ни для кого не тайна. Ему пришлось бы в лучшем случае выбрать между веревкой и ядом.

Но здесь, в сердце Парижа, он защищает свою честь. Он не политик. Доктрины политические его не интересовали никогда, и он не принадлежит ни к какой партии. Он вспыльчив и чувствителен, он ценит человеческие взаимоотношения. Он индивидуалист, человек яркий и горячий. И таким мы узнали его. Но в России все эти качества не могли бы проявиться. Вы знаете, что с ним делало НКВД: днем он работал на заводе, ночью его допрашивали, пока, наконец, он едва не сломился. И тогда же, в 1937 году, он замыслил стать свободным. После страшных побоев и допросов родился человек. Он – перед вами.

Он никого не искал, никого не имел в Америке, когда сделал свой шаг. Но он чувствовал, что настало время для выполнения его миссии. Он нигде не пригрелся: Раскин, Хиной, Штейнигеры – все это были этапы. Он работал над книгой день и ночь, книга эта должна была открыть миру глаза на ужасы режима его родины.

Свидетель ответчиков, на которого они возлагали такие надежды, Кан, два часа говорил нам авторитетным тоном о связи Кравченко с неким Луком Мишуа, украинским наци.

Нами получено письмо, я передаю суду его копию, в котором Кан извиняется перед Мишуа в том, что ложно показывал на него, и уверяет его, что во втором издании книги Кана все места о Мишуа будут вычеркнуты. (Движение в зале.)

Вот чего стоил ваш американский свидетель!

Наши свидетели были взяты нами из тех пяти тысяч, которые заявили о своем желании приехать на процесс. Мы отобрали людей из Днепропетровска. Шесть месяцев мой переводчик читал мне эти письма, которые шли на всевозможные адреса: на русские газеты, на мой адрес или просто – «Вашингтон, Кравченко». Эти люди прошли перед нами. Они взволновали нас. Они выражали не мнения, они рассказывали факты...

Книга, о которой мы говорим, равна человеку, ее писавшему. Он – левый человек. Он ничего не прячет из своих убеждений. Он жил почти что в келье два года, когда писал ее, он читал ее друзьям, которых видел редко, но которых встречал, чтобы им говорить о своей работе.

Мэтр Изар цитирует снова письма Никольского (переводчика), Далина, дополнение, присланное к письму Зензинова, дополнение Марка Хиной.

– Нам называют Лайонса как «редактора» книги. Какое нам дело, кто это? Пусть будет хоть Лайонс. Но это уже не «экип» меньшевиков, о котором писал Сим Томас. Ведь в Соединенных Штатах не существует «политруков» для литературы, а вот в СССР, как сообщили газеты сегодня, существуют политруки даже для цирков!

Мы разбираем здесь книгу не литератора, мы оправдываемся не в том, что у автора есть талант. Вопрос поставлен о лжи и правде.

И так как г-н Морган не мог представить суду доказательства своей правоты, мы не обязаны были, по закону, представлять доказательства правоты нашей.

Но мы доставили суду манускрипт – не 60 страниц, как было написано у Сима Томаса, но 600–700 страниц.

Три тезы разрушили мы здесь: тезу Сима Томаса (что книгу писали меньшевики), тезу Баби (что книгу писал американец) и тезу Куртада (который сказал, что книга написана и русскими, и американцами).

Нам выставили эксперта г-на Познера. Вчера он менял свои выводы, как надлежит члену компартии, по приказу компартии и в конце концов сказал, что «не мо-

жет следить по-русски»!.. Да, были куски глав, которые шли из других мест, но не из других рук! Все это совершенно нормально, и если книга «романсирована», то что же это значит? Какое кому дело, что она романсирована?

Мэтр Изар прерывает свою речь до следующего дня. Время позднее: на часах восемь.

ДВАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Адвокат Кравченко мэтр Жорж Изар, начавший накануне свою речь, продолжал ее в течение пяти часов (заседание продолжалось шесть часов, час был посвящен перерыву).

Эта речь, как и речь мэтра Гейцмана, будет полностью опубликована в книге о процессе Кравченко, которую готовят оба адвоката. В полном смысле слова это была историческая речь, как по форме, так и по содержанию.

Обилие данных, благородный тон этой речи, насыщенность глубоким смыслом, заостренность мыслей – все в ней было исключительным. Под сводами залы французского суда она звучала страстной защитой книги Кравченко, уничтожающим приговором его врагам.

Конечно, как уже говорилось на этом процессе не раз, горбатого могила исправит, но тем не менее слушателям мгновениями казалось, что рушилась стена между двумя мирами, и Истина, которая невидимо присутствовала в зале, принимала осязаемые формы. Что-то, быть может, дрогнуло – не в сознании г-д Моргана и Вюрмсера и их адвокатов, но в сознании единомышленников «Лэттр Франсэз», кто без предвзятости, с полным беспристрастием слушал речь Изара.

Он не народный трибун в том смысле, в каком это приложимо к некоторым прежним и нынешним французским ораторам. Жесты его скромны, голос никогда не переходит в крик. Но то, что он говорит и как он говорит, потрясает сердца и оставляет в памяти след надолго.

Сим Томас только призрак

Мэтр Изар начал с того, что подверг разгрому автора диффамационной статьи «Лэттр Франсэз» Сима Томаса.

– Сима Томаса просто не существует, это фантом, и когда американский коммунист Кан – специалист по шпионажу и американской разведке – говорит с нами, то он ничего не может сказать о Симе Томасе. Нам объявляют с таинственным видом, что был некто Чаплин, который помогал Кравченко писать его книгу. Но Чаплина все знают: это бывший редактор «Нью-Йорк таймс», и ничего нового о нем мы от Кана не узнаем.

Нет секрета в том, что он присутствовал на интервью, данном Кравченко в апреле 1944 года в Нью-Йорке. Кан нам и здесь ничего не открыл. Он назвал Дон Левина – и это было нам известно. Дон Левин вместе с Кравченко написал три статьи. Что же из этого?

Нас уверяли, что американское НКВД схватило бы Томаса, если бы он показывал на этом процессе. Он не смог бы вернуться. Какая чепуха! Не только вся его статья есть ложь, но и автора-то такого нет. И потому проверить эту статью не представляется возможным, и все дело о диффамации приобретает совершенно другой, чем обычно, вид.

В 1944 году коммунисты говорили в Америке, что Кравченко – агент наци. Теперь, как и в 1944 году, нас уверяют, что он – агент Америки. Времена и настроения изменились, придумана новая версия. Но цель дана: дискредитировать человека и объявить, что книга его – ложь.

Мы притащили на этот суд железный занавес. Он был здесь! И ответчики, сидя перед ним, молчали, замалчивая то, о чем мы говорили миру.

Морган и Вюрмсер молчали о чистках; Василенко молчал об уничтоженной большевистской головке; Руденко молчал обо всем решительно, а между тем не мы, но ваш же адвокат спросил его о левой и правой оппо-

зиции. Руденко отнесся к Блюмелю, как СССР относится к французской компартии.

Советские свидетели узнали, что они приглашены на суд, через несколько месяцев после того, как Морган узнал, что они приедут. Лучше было Моргану прямо переселиться в советское посольство в Париже!

Из этих свидетелей никто ничего не сказал о СССР.

Английский священнослужитель говорил о том, что видел колхоз между двумя банкетами. Но мы здесь присутствовали не для того, чтобы рассуждать о битой посуде г-жи Горловой. Мы здесь находимся для решения важных вопросов: я не хочу ни преуменьшать важность этих вопросов, ни переносить их на политическую почву. Будем же говорить о диффамации.

Может быть, вы захотите принять формулу некоего профессора Ветлоэма? Он в своих работах говорит прямо, что коммунизм – это насилие, это террор, это полиция и привилегии одного сословия. Он коммунист и считает, что иначе нельзя.

Может быть, вы можете поверить книге Кравченко и остаться коммунистами? Но нет, вы объявили, что все, им написанное, – ложь. А я докажу вам, что он пережил и видел все то, о чем писал. И это единственное, что важно.

О кулаках и коллективизации

– Сталин в 1930 году сказал (вы можете об этом прочесть в «Вопросах ленинизма»), что не надо насильственной коллективизации.

Осталось ли это распоряжение только на бумаге или было превратно понято? Но мы знаем теперь, что были ошибки, и были ужасы, и ошибки были ужасами, и одно невозможно было отличить от другого.

Ольга Марченко пережила ужасы.

– Это были ошибки! – сказал Сталин.

Но пришел Кравченко и описал нам эти ужасы, которые на вашем языке называются ошибками. За неуплату налогов в СССР крестьяне ссылаются в Сибирь. В 30-х годах с ними поступали так же, как поступали немцы с евреями.

Мэтр Изар читает письменные показания раскулаченных, возвращается к показаниям Жебита, Кревсуна и других. Он цитирует книгу Литоля Пэтча, которую считает правдивой и честной и в которой английский деятель называет коллективизацию второй революцией.

Месяцами из тысяч деревень шли днем и ночью поезда в Сибирь, – говорит мэтр Изар, – с сотнями тысяч семейств. Это было раскулачивание людей, у которых было три десятины пахотной земли! И об этом писал Кравченко.

Чистки

– Предположим, что коммунисты любят громкую исповедь, и постараемся понять эту систему публичного покаяния партийцев.

Я беру книгу, изданную по-французски в Москве и продающуюся, как все книги в Париже, очень дешево. В ней рассказывается о терроре 1930–1939 годов. Эта книга – история СССР. Террор, которого Гренье не увидел и о котором инженер Жюль Кот говорил с такой легкостью, по официальным цифрам, носил совершенно исключительный характер: в 1934 году состоялся 17-й съезд партии, а в 1939 году – 18-й. На первом присутствовало 22,6 процента старых большевиков, на втором – 2,4 процента. Позвольте процитировать цифры «Правды» о составе коммунистической партии (хотя Сталин в 1934 году и сказал: у нас нет ни фракций, ни оппозиций, ни групп): в 1934 году был 71 старый большевик в партии, а в 1939-м – 15. За это время зарегистрированы были 4 смерти, 3 исключения; что касается 49 других, то они исчезли. О них никто ничего никогда не узнал.

Я перечислю только главные процессы с 1928 года:
в 1930 году была «Промпартия»,
в 1931-м – процесс меньшевиков,
в 1933-м – процесс 18 инженеров,
в 1936-м – процесс Зиновьева, Каменева и друг.,
в 1936-м опять же – процесс в Новосибирске,
в 1937-м – процесс Радека.

За ним – процесс Тухачевского, когда исчезли 384 генерала, 54 процента общего состава. В том же году – процесс тифлисских грузин и еще один – процесс судей Тухачевского. После него – процесс судей судей Тухачевского и, наконец, в 1938 году – процесс Бухарина и Рыкова.

И это я называю только те процессы, на которых люди сознались. Большинство этих людей делало режим и было сделано режимом. И о них писал Кравченко.

НКВД

– По вопросу о НКВД были большие противоречия: Морган сказал, что НКВД никакого нет, Цилиакус объявил, что НКВД не Россией выдуман. Наши свидетели рассказали вам о всеобщей слежке, добровольной и профессиональной.

В 1937 году сам Калинин говорил о добродетелях доношительства (цитата). Знаете ли вы, что такое 58-я статья? Это статья о контрреволюции не только на деле, но и в мыслях.

Мэтр Изар рассказывает суду пространно о том, что такое суд в России и почему советский режим есть полицейский режим. Он говорит о «тройке», об ОСО: он показывает суду подлинные документы – протоколы обысков и арестов; говорит о том, что НКВД само ведет следствие. Он поясняет французам весь механизм полицейской системы СССР.

Председатель Дюркгейм слушает его очень внимательно, как и судьи. Прокурор не спускает с него глаз.

– Вот как в России! – восклицает мэтр Изар. – А г-н Морган говорит, что это государство – как все другие.

Лагеря

С первых же слов о лагерях мэтр Изар упоминает о решении ООН обратить внимание на изучение принудительного труда в СССР. Но он снова повторяет, что не судит режим, а лишь доказывает, что Кравченко в своей книге писал правду. Он приводит цифры населения в России, говорит, что сосланные считаются в переписи, что официально Украина во время голода потеряла 4 000 000 жителей. Он рассказывает о размерах лагерей и показывает суду бумажные деньги, которые ходят внутри лагеря и выпускаются лагерным начальством.

– Это фараоны и рабы! – восклицает он. – И всю эту документацию я передаю суду с показаниями Пасечника, Антонова, Жебита и г-жи Нейман.

В этой стране возможна выдача национал-социалистам (со всеми документами, удостоверяющими их личность) таких людей, как коммунистка Нейман и венгерский еврей Блох. И в этой стране Кравченко не хотел и не мог больше жить!

О дезертирстве

Доказав, что Кравченко в Америке не был военнообязанным и, следовательно, никогда не был дезертиром, мэтр Изар напоминает, как именно Кравченко бежал из закупочной комиссии.

«Лэттр Франсэз» обвиняют его в измене не только за книгу, но и за интервью, данное в 1944 году. Это интервью, писала газета, есть интервью «Гейббельса, Дарлана, Лавалья и Кравченко». Но и «Паризер Цайтунг», и «Фелькиш Беобахтер» цитировали Черчилля и де Голля, стре-

мься разъединить союзников, и факт цитирования этими газетами Кравченко, по мнению Изара, не означает ничего. Он напоминает, что Кравченко отказался сказать «Нью-Йорк Таймс» что-либо о военно-экономическом положении СССР и никогда не говорил о сепаратном мире с Германией, а, наоборот, желал продолжения войны и победы над немцами.

Он говорил и против СССР, но как он говорил и что он ставил в вину своей родине? Во-первых, он говорил о Коминтерне, о возрождении его – и в этом он оказался пророком. Во-вторых, он говорил о Польше, которую СССР заберет после войны и сделает своим сателлитом. В-третьих, о все растущем империализме СССР – и это тоже оказалось правдой. В-четвертых, о том, что СССР будет готовиться к третьей войне, о попытках его укрепиться в Италии и Австрии, и, в-пятых, он говорил об освобождении народов России.

Он говорил об иллюзорности близкого мира и уважал общие цели союзников. Ему говорят: «Вы должны были подождать!» Но ждать он не мог: он ждал и так семь месяцев, когда был в Америке; в апреле 1944 года он понимал, что война выиграна, и он спасал мир. И Франции в то время было полезно услышать его предупреждения о хрупкости этого наступающего мира...

Что такое предательство?

– Мы видели здесь, – продолжает мэтр Изар, – все тот же «экип», тесную группу: ответчики, адвокаты, свидетели. Почему не пришли свидетельствовать за вас ваши беспартийные сотрудники из «Л. Ф.»? Они бросили вас! Вы оказались одни! А было время, интересы компартии и Франции совпадали – это было во время резистанса, и даже цели СССР в то время совпадали с целями французов. Но теперь все изменилось. Ваши цели – не цели Франции. И вы не можете говорить от имени всей страны.

Вспомнив Ленина и его отношение к войне 1914 года, вспомнив Ромэна Роллана в ту же эпоху, мэтр Изар переходит к измене Торэза, которая для него есть пример непревзойденного предательства.

– Пьер Кот сказал, что предательство – это когда человек бросает службу во время войны, остается в чужой стране и делает соответствующую декларацию. Он думал, что говорит это о Кравченко! Но Кравченко бросил штатскую службу, остался в союзной стране и сделал декларацию, в которой заявил, что желает помочь Америке продолжать войну. Торэз же бросил военную службу, бежал в страну, которая была в союзе с нашим врагом и помогала ей, и в своей декларации (декабрь 1939 и март 1940 года) требовал мира с Гитлером во что бы то ни стало. Кто же из них предатель?

Заключение

– Что же это за страна, которая прежних палачей Бухенвальда и Равенсбрука назначает на высокие полицейские посты в Восточную Пруссию? – спрашивает мэтр Изар, цитируя французскую газету, орган комбатантов. – Что это за страна, в которой, когда ее атакуешь, а то и просто критикуешь, ты уже преступник? Что это за люди, ее слуги, которые кидаются словом «предатель» во все стороны (читает): «Шуман, Мок, Мейер – предатели». (Не антисемиты ли вы? Это звучит, право, несколько странно!). «Леон Блюм – предатель!»... Блюмель! Ваш бывший друг назван вашими нынешними друзьями предателем. Что вы скажете на это? (Блюмель молча разводит руками.) Коммунист Куртад грозит социалистам, что народ когда-нибудь «расправится с ними, как с Петковым»... Или еще вот в «Литературной газете», в Москве, о председателе Дюркгейме сказано, что он – ханжа. У меня десятки газет и журналов, и всюду – одно: предатель, предатель, имена, доллары, подкуп... И о По-

ле Низане вы сказали, что он «предатель», потому что этот честный коммунист не захотел принять германо-советского пакта!

Кравченко своей книгой нам показал, что это за методы и откуда они идут. Эти методы теперь мы видим в коммунистической партии Франции. О, как много хотели вы сказать на этом процессе, но вы только противоречили себе и не сказали ничего. Пресса ваша была день ото дня грубее.

Я прошу суд: не давайте им выйти сухими из воды! Накажите их по всей строгости наших законов, которыми мы дорожим, потому что в них залог нашей свободы. Они тоже пользуются этой свободой, но еще немного, и у нас установится диктатура диффамации.

Я прошу, я требую самого строгого наказания. Они пачкали человека, они пачкали его дело.

Он указал нам на страшную действительность, в которой живет его родина.

И если он выбрал свободу, то и свобода выбрала его, чтобы он защитил ее правое дело!

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

В понедельник, 14 марта, в 3 часа дня начались речи адвокатов ответчиков. Их четверо: мэтры Брюгье, Матарассо, Блюмель и Нордманн. Каждый взял себе особую тему.

Молодой член компартии Брюгье, который собирает-ся выставить свою кандидатуру на будущих кантональных выборах, изучил жизнь и деятельность Кравченко в целом; Матарассо посвятил себя изучению рукописи; Блюмель предупредил, что будет говорить об измене как таковой, и Нордманн – для которого приготовлен весь день среды (шесть часов) – будет громить Кравченко за клевету и разоблачать ложь его книги.

Пока что говорил один лишь Брюгье.

Когда он кончил (при полупустом зале) свою унылую, монотонную и совершенно бессодержательную речь, выяснилось, что на скамье адвокатов «Лэттр Франсэз» – всего один Блюмель. Нордманн болен, а Матарассо, бывший в начале заседания, исчез.

На вопрос председателя, нельзя ли вызвать спешно Матарассо, который, по расписанию, должен выступить, Блюмель заявил, что это невозможно.

Поэтому заседание, начавшееся позже обычного, окончилось ранее обычного – в шесть часов.

Надо сказать правду: многие спали или дремали, и жандармы, которых вместо десяти обычных было всего два, ходили и будили публику, так как для благолепия суда спать в зале запрещается. Места для публики были на две трети пусты, и войти мог всякий с улицы – настолько слаб был в этот день контроль. Этому способствовало, конечно, и то обстоятельство, что сам Кравченко отсутствовал: не понимая французского языка, он не счел нужным слушать усыпительную речь Брюгье, из которой бы все равно ничего не понял.

Пот, тем не менее, струился градом с лица молодого адвоката, у которого кроме всех прочих недостатков еще и маленький недостаток речи – он слегка шепелявит.

Слушая его, мэтр Изар подавлял зевоту, а мэтр Гейцман читал под столом какую-то книгу.

– Мы семеро сошлись неслучайно, – сказал Брюгье, не обладающий чувством юмора. – Двое ответчиков, четверо адвокатов и переводчик – это люди, которые, естественно, нашли друг друга. Мы все – товарищи по резистансу, делаем дело резистанса и будем его делать не смотря ни на что.

Затем он перешел к «Коммунистическому манифесту» Карла Маркса. Говорили об одной шестой части света, которая осуществила режим свободы, и о ее лютых врагах, жаждущих крови невинных.

– Маркс с 1848 года был уже пугалом для этих людей, – сказал Брюгье, после чего прямо перешел к заку-

почной комиссии в Вашингтоне, где Кравченко занимал «ничтожнейшее место» какого-то приемщика труб.

– Он не был никогда крупной личностью, – сказал адвокат «Л. Ф.» и пространно доказывал это, опираясь на показания Колыбалова и Василенко. – Он никогда не был министром.

С таким же успехом он мог доказать, что Кравченко никогда не был ни архиереем, ни адмиралом.

Никто не прерывал адвоката, и лишь председатель Дюркгейм один раз выразил мнение, что Кравченко все-таки был старшим инженером треста.

– Новый мессия родился не просто, – продолжал Брюгье, – но в шуме первой русской революции 1905 года. Он сказал нам, что отец его был революционер, что был арестован при царском режиме, но он никогда не уточнил, в каком именно концентрационном лагере он сидел в царской России!

После этого Брюгье сделал свой первый рейд по русской литературе: он сравнил детство Кравченко с «Детством» Горького и нашел, что оба детства чрезвычайно похожи. И тут и там были дяди, и тут и там ребенок бредил героизмом... Подчеркнув, что Кравченко никогда не был в комсомоле, Брюгье перешел к другим спорным местам книги: к постройке завода в Кемерово, к документу Молотова и пр.

Оставив совершенно в стороне свидетелей-французов, он основывал свою речь исключительно на свидетельствах Романова, Колыбалова, Василенко и генерала Руденко.

– Не танки и пушки делались на заводе, которым управлял Кравченко, – сказал, между прочим, Брюгье, – но кальсоны и сапоги, потому что это был не трест тяжелой промышленности, а маленькая группа фабрик ширпотреба.

Морган слушал своего адвоката довольно равнодушно, но Вюрмсер делал умиленное лицо. Половина французской прессы отсутствовала, в том числе и крайняя левая.

Переходя к «растратам» Кравченко, Брюгье называл его и вором, и трусом, и корыстолюбцем, и уголовным преступником, и окопавшимся. Он призывал суд с особым вниманием отнестись и к показаниям «мосье» Колыбалова, и к документу, который он огласил впервые в своей речи: это была бумага, сфабрикованная в Москве в июле 1944 года, т.е. после того, как Кравченко уже на всю Америку был известен как человек, «выбравший свободу», в которой советская власть доказывала, что он растратчик, подлежащий советскому суду.

После этого Брюгье сделал второй рейд по русской литературе: он сказал, что Кравченко – это Хлестаков. Пространно и скучно рассказал суду о Гоголе, о «Ревизоре», о 35 000 курьеров и даже о «Юрии Милославском», но улыбки ни у кого не вызвал.

После явного желания насмешить суд он решил попробовать его растрогать: последовал рассказ о «бедной матери» Кравченко, которую он бросил на произвол судьбы и которая томится в разлуке с ним...

– Смотрите на него, – сказал Брюгье (хотя смотреть было не на кого, так как Кравченко на заседании отсутствовал), – он совершенно один! Он одинок во всем мире, никого нет рядом с ним! Несмотря на антисоветскую клику, которая ему сочувствует, он не имеет никого... Против него – генерал Руденко, и другие свидетели, и весь СССР, который поражает нас силой, молодостью, здоровьем и искренностью! Там не формальная свобода, которую якобы выбрал Кравченко, там реальная свобода!

Затем, сделав небольшую паузу и слегка возвысив голос, Брюгье прочувствованно прочел длинную цитату из Сталина.

Публика, слегка зашумев, выслушала, однако, все до конца.

Председатель в ее сторону сделал успокоительный жест рукой, и Брюгье закончил поток своего красноречия к общему удовольствию.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ

Адвокат «Лэттр Франсэз» мэтр Матарассо специализировался на рукописи книги «Я выбрал свободу», а также на русских эмигрантских группировках в Америке. Вся первая часть его речи была посвящена антисоветской деятельности в Нью-Йорке журналистов и политиков, которые группировались и группируются вокруг журналов «Социалистический вестник» и «За свободу». Во второй части адвокат разбирал рукопись книги Кравченко. Зал был далеко не полон. Сам Кравченко отсутствовал.

Звезды первой величины

Период жизни Кравченко между апрелем 1944 года и временем выхода в Америке его книги в 1946 году особенно интересовал Матарассо. Он так же, как и Брюгье, говоривший накануне, называл Кравченко «новым Мессией» и «пророком».

– Люди в Америке только и ждали Кравченко, – сказал адвокат, – и сейчас же, как только нашли, лансировали его. Эти люди разделяются на две группы: первая – это бывшие эсэры и эсдеки 1917 года, которых для простоты называют теперь меньшевиками. Разница между двумя партиями почти стерлась. Вторая группа – это американские журналисты, отчасти русского происхождения, посвятившие себя антисоветской пропаганде.

В первую группу входят звезды первой величины: Зензинов, Николаевский, Далин, Керенский. Во вторую – Чаплин, Лайонс, Дон Левин и Маламут. Эти последние – опора американской реакции, они враги Франции и союзники Германии.

Во время войны 150-тысячная русская эмиграция Америки вся была настроена антинемецки. Она была настроена патриотически к Советскому Союзу. Только

маленькая группа эмигрантов во главе с вышеназванными звездами первой величины считала, что Сталин – не лучше Гитлера, и не желала победы Красной армии. Те, что забыли на время свой антибольшевизм, организовались под председательством кн. Кудашева в комитет, который помогал, чем мог, советскому народу. Группа же меньшевиков делала дело Геббельса и его пропаганды.

Даже бывшая партия Милюкова примкнула к комитету Кудашева, даже меньшевик Дан стоял на просоветской платформе.

Но звезды первой величины остались на своих позициях: они делали что могли, чтобы сеять рознь между союзниками. Они считали победу Красной армии победой Сталина.

Куда дальше идти: в 1941 году Зензинов писал, что при царе было лучше, чем при большевиках! Николаевский проник в американскую печать Херста. В «Нью-Йорк таймс» в 1941 году было напечатано его интервью, на которое «Нью Лидер» прямо ответил, что это «геббельсовская пропаганда». Зензинов, Николаевский и Далин уговорили американскую реакционную печать использовать Кравченко. Далин даже писал, что «последний выстрел этой войны должен быть сделан уже не в немца, но в большевика».

Мэтр Матарассо, назвав трех русских журналистов-социалистов «мизераблями», переходит к их биографии:

– Зензинов, в свое время редактор «Ля Рюсси Опримэ», бывший лейтенант Керенского, вместе с Дон Левиным написал книгу «Дороги забвения». Во время финской войны он побывал у врагов своей страны, его принимали в генеральском штабе и допустили на фронт. Он издал свою знаменитую книгу «Встреча с Россией». Николаевский был в прошлом году в Германии. Он имел возможность посетить лагеря Ди-Пи, виделся с власовцами и оправдал их. Он реабилитировал Власова и власовцев, не тех, что видел наш свидетель Тома в лагере Матхаузен, но именно тех, которых Кравченко вызвал

свидетелями по своему делу, т.е. военных преступников. Далин тоже был в Германии и реабилитировал германофилов.

«Каниферштан» Дон Левин

– Кто такой Дон Левин? Он – соавтор Зензинова, соавтор статей Кравченко, соавтор генерала Кривицкого (который с ним не поделил денег и покончил с собой), соавтор Валтина, известного автора книги «Без родины и границ». Контракт между Дон Левиным и Кравченко по поводу книги «Я выбрал свободу» должен бы был найтись в архивах издательства Скрибнера, он, вероятно, тождественен с контрактом, заключенным между Дон Левиным и Валтиным... Теперь он написал свой последний шедевр: мемуары Косьенкиной. Добавить к этому нам нечего.

Что касается Лайонса, то он редактор «Америкэн Меркури». Для него всегда Гитлер и Сталин стояли на одной доске. Радио наци передавало статьи Лайонса в Берлине и Риме. «Старс энд Страйпс» рассказало нам, что он был на службе у генеральных штабов Германии и Италии, о чем было говорено даже в Конгрессе.

(Матарассо вынимает из папки газетную вырезку.)

– 4 апреля 1944 года Кравченко дал свое первое интервью. Он использовал для этого все темы, любезные сердцу Зензинова, Далина и Николаевского.

Мэтр Изар: Вы цитируете американскую газету коммунистического направления?

Матарассо: Почему вы улыбаетесь?

Мэтр Изар: Не спрашивайте, почему я улыбаюсь, и я не буду вас прерывать.

Матарассо: Уже в июле Кравченко пишет свою «биографию» под названием: «Как я порвал с Россией Сталина», и эта биография подписана им и Дон Левиным. Из этой биографии вышла потом вся его книга.

Мэтр Изар: Почему вы не пригласили сюда Дон Левина?

Матарассо: Нам известно, что Кравченко гостил у Дон Левина, не то около Нью-Йорка, не то в восточной части Соед. Штатов.

Мэтр Изар: Нью-Йорк и есть в восточной части Соединенных Штатов. (Смех.)

Матарассо: Около дачи Дон Левина находится дача Керенского. Это в Коннектикуте. Таким образом, устанавливается связь всех со всеми.

Зензинов, Далин и Николаевский, кстати, даже выдали аттестации Кравченко, которые нам были прочтены. Он нам сказал, что это были единственные люди, которых он видел, когда писал свою книгу. Эти люди – профессионалы антисоветской пропаганды. Они были все разоблачены во время войны как агенты Геббельса и Гитлера. Еще был Маламут, но это – калибром поменьше.

Все это и есть процесс, а не речи о Торэзе, которыми вы занимались здесь. Каждый раз, как мы задавали вопросы Кравченко, он не отвечал. Справьтесь со стенограммой 28 февраля. Это был «день молчания». На своей пресс-конференции Кравченко обещал поставить суду важные документы. Он ничего не предоставил, а принес свою рукопись, когда прошли все сроки.

Матарассо читает выдержки американской коммунистической прессы, где были сомнения, что книга Кравченко написана им самим, а также те выдержки, где были указания на Лайонса как автора книги. Он сообщает суду, что клуб «Книга месяца» не дал премии Кравченко, так как считал, что он писал «Я выбрал свободу» не один.

Затем Матарассо переходит к комментированию рукописи Кравченко.

Председатель напоминает, что время идет и что скоро перерыв.

Матарассо говорит еще с полчаса, и заседание прерывается.

«Американский метод»

После перерыва Матарассо продолжает разбор рукописи. Опять Ашхабад-Сталинабад, опять Орджоникидзе. Он цитирует Познера, находит ошибку в дате смерти Ягоды, находит выкинутый эпизод: отец и мать Кравченко пострадали от белой армии.

Вывод его следующий: рукопись не сфабрикована для процесса, но такая, какая она есть, она доказывает способ работы Кравченко, путь, по которому он шел – от первого варианта до печатного текста, – и с несомненностью можно утверждать, что ему создавать ее помогали.

Матарассо утверждает, что у профессора Санье, эксперта трибунала, были какие-то листы, которые не принадлежат рукописи.

Председатель: Откуда же эти листы?

Матарассо: Это варианты: есть на ту же тему другие листы в рукописи.

Мэтр Изар: Я хочу заметить, что ими получены еще новые листы, которые возвратил Санье. Он считает, что они были напечатаны более полутора лет тому назад.

Матарассо: Есть страницы совершенно чистые, и есть с поправками, есть несколько версий одного и того же случая. Это – фабрикация американской системы.

Газета «Лэттр Франсэз» – французская, это газета для французов. Нам чужды такие методы. В Америке есть специалисты, которые пишут книги за других, они рекламируются в газетах. Объявления кончаются иногда так: мы пишем – вы подписываете!

Если вы вынесете вердикт в пользу Кравченко – мы знаем его! – он будет продолжать делать то же самое. Его сделали символом свободы. Он просто скучал на приемке труб, в то время как партизаны и Красная армия сражались за свое отечество.

Начало речи Блюмеля

Блюмель – самый старый из всех шести адвокатов. Это – оратор старой школы. Он шепчет, он кричит, он машет снятыми очками, вздевает руки к небу и выходит то и дело на середину подиума. Речь его полна цитат: он цитирует Пиранделло, Монтескье, Черчилля, Робеспьера, Сталина и еще два десятка знаменитых людей. Он задает сам себе вопросы и сам же на них отвечает. В первые дни он никак не мог произнести имени Кравченко, теперь он его запомнил. Но о России – ни прежней, ни нынешней – он не знает ничего.

Набор общих мест, выпретенных фраз, ложной учености, ничего не значащего глубокомыслия... Пусть оба до сих пор выступавшие молодые адвокаты – люди не талантливые, но они – бескорыстно или корыстно – изучили вопрос и стараются не ударить в грязь лицом перед своей аудиторией и печатью. Блюмель же безответственен, легкомыслен и многоречив.

Признавшись в полном уважении и симпатии к Моргану, Блюмель, удивившись рекламе, которая была устроена процессу, сразу переходит к оценке советского режима.

– Режим этот – жестокий, – говорит он, – и каково было перевоспитание! Сталин – это в одном лице Ришелье, Кромвель и Кавур. Нам 30 лет рассказывают ужасы про этот режим, а мы всё не верим! Там – ни голода, ни безработицы, ни личных интересов. А что до чисток, то чистки любил делать и Ришелье, о чем можно прочесть в его завещании*.

Далее он около часа цитирует показания, как он говорит, некоммунистов-французов о благосостоянии современной России. Затем переходит к показаниям немецких генералов о подготовленности России к войне.

* Большинство французских историков считает завещание это апокрифом. – Н.Б.

– Победил режим, а не народ, – говорит он. – Была армия, созданная режимом, было вооружение, которое дал режим. С этой страной все хотели быть в мире. Барту хотел. Гамлэн хотел. Удивительно ли, что хотели германо-советского пакта и немцы?

Ряды в зале редеют. Становится поздно. Председатель предлагает Блюмелю окончить свою речь на следующий день.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Заседание в среду, 16 марта, началось в 1 час 45 минут. Мэтр Блюмель, третий адвокат «Л. Ф.», продолжает свою речь, начатую накануне.

Он опять возвращается к советско-германскому пакту, старается его оправдать с точки зрения СССР (что нетрудно) и с точки зрения Франции (что значительно труднее). Он цитирует речь Сталина от 3 июля 1941 года, в которой тот сказал: «Мы спасли нашу страну от войны на целых полтора года!»

– Кравченко лгал, – восклицает Блюмель, – и Вюрмсер написал об этом. Всякую ложь необходимо разоблачать. Вюрмсер писал, что Кравченко – враг нашей страны. И я докажу это, как доказал уже, что он лжец.

Мэтр Изар протестует.

– Он – лжец, – повторяет Блюмель. – Я вас не боюсь! И он дезертир, потому что господин генерал Руденко нам сказал, что он мог быть призван на фронт в любую минуту. Кроме того, по советским законам каждый, кто бросит свою работу, – дезертир.

Мэтр Изар протестует.

Блюмель: Не будем делать здесь политического собрания, мы можем встретиться с вами в другом месте для этого. Я повторяю: Кравченко дезертир.

Затем адвокат «Л. Ф.» переходит к случаю с Торэзом. Он считает необоснованным обвинение его в предатель-

стве. Министр Боннэ летом 1939 года обещал германскому послу «обезвредить» французскую коммунистическую партию. Это и было сделано в сентябре 1939 года. Торгам необходимо было скрыться. Если бы он этого не сделал, он был бы расстрелян правительством Виши. Между тем после ухода немцев он сделался министром, сидел рядом с де Голлем, Венсаном Ориолем и называл их «мон шерз ами!»

Блюмель ставит в упрек Кравченко, что он семь месяцев сидел в Америке, а не сразу «выбрал свободу».

Председатель: Он должен был хоть немного научиться языку! (Смех.)

Блюмель: Можно себе легко вообразить, как обрадовались меньшевики, когда он появился на их горизонте! Я сам был меньшевиком...

Мэтр Изар: Но с тех пор вы перекрасились...

Блюмель рассказывает суду о большевиках и меньшевиках, о расколе РСДРП в 1903 году, о Дане, Мартове и Троцком.

– Я их всех отлично знал! – восклицает он. – Николаевский – это просто одержимый! Они все полусумасшедшие, до того их довел их антибольшевизм. Во всем мире только Франко и меньшевики не признали советскую власть. Николаевский в 1945 году сказал мне, что генерал де Голь – большевик. Но их группа не вся думает одинаково: Дан, ныне умерший, был с ними не согласен.

Советское посольство в Вашингтоне пригласило к себе «нотаблей» эмиграции, когда Германия была разбита. Все пошли и пили за СССР, как было и в Париже, когда в советское посольство отправились эмигранты во главе с самим бывшим русским послом и пили за здоровье Красной армии и Сталина. Им всем дозволено было вернуться на родину. Но меньшевиков вашингтонское посольство не пригласило. Дан был очень этим огорчен.

Блюмель цитирует статью Дана о Кравченко, где Дан называет его «новым ренегатом», а затем переходит к ци-

татам из американской (некоммунистической) прессы, также нелестным для Кравченко.

От одной цитаты к другой, от Вольтера к сыну Рузвельта, он, наконец, доходит до парижской газеты «Монд», где знаток России и, в конце 20-х годов, редактор В.М. Зензинова по газете «Ля Русси Опримэ» Андрэ Пьер 25 июля 1947 года, разбирая книгу Кравченко, осудил его как «предателя своей родины».

Рассказав суду о показаниях Кравченко в комиссии по расследованию антиамериканских действий и обвинив его в разоблачении государственных тайн СССР, Блюмель удивляется, что преследуется «Лэттр Франсэз», а не «Монд» за статью Андрэ Пьера.

– Это было задание! Это был план, – повторяет Блюмель. – Вот смысл этого процесса!

Затем он переходит к совещанию в Тегеране, на котором Черчилль говорил о высадке в Средиземном море, Сталин же настаивал на высадке во Франции. Таким образом, говорит Блюмель, он хотел как можно быстрее освободить французов.

Блюмель читает речь де Голля о России, голос его дрожит, и он почти кричит:

– Эти две страны предназначены друг другу!

Еще две-три цитаты, и наконец Блюмель доходит до Мицкевича:

– Мицкевич сказал: «Дай нам, Боже, священную войну для освобождения Польши!» И Кравченко говорит о войне. Он хочет ее. Он молит о ней. Он хочет свободы для своей родины, но свобода не приходит на концах винтовок и с атомными бомбами. Мир еще возможен!

Так, несколько смутно, дойдя голосом до зловещего шепота, окончил Блюмель свою речь.

В понедельник – речь мэтра Нордманна.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Понедельник, 21 марта, был целиком посвящен речи адвоката «Лэттр Франсэз» мэтра Нордманна.

Из всех адвокатов ответчиков он был наименее ярок, сочетая в себе одном недостатки трех своих коллег, говоривших до него.

Между тем по внешности и природным данным он, конечно, превосходит и тусклого Брюгье, и малоталантливого Матарассо, и легкомысленного Блюмеля. Но на его красивом лице раз навсегда застыла улыбка, без которой он вообще во все дни процесса ни разу не появился в зале.

Видимо, эта улыбка должна была дать сардонический тон всей его речи. Эту речь он построил на иронии: с ней говорил он и о пытках, и о казнях, и о голоде, и о лагерях, и о чистках... Неудивительно, что такой подход совершенно не удался ему и произвел тягостное впечатление.

Первая часть речи Нордманна

Он повторил вначале все то, что было говорено до него: рукопись Кравченко не есть книга Кравченко, американцы подделали, переделали, отделали ее.

Опираясь на показания полковника Маркие, Нордманн говорит о том, что Россия была подготовлена к войне и что утверждения Кравченко о скверных противогазовых масках и плохой амуниции – только анти-русская пропаганда.

И красный генерал Пети, и коммунистический депутат Гароди утверждали как раз обратное. Когда Кравченко говорит, что тот факт, что немцы не взяли Москвы, есть чудо, Нордманн считает, что Москва не была взята потому, что СССР располагал крупным военным потенциалом, о чем писали впоследствии немецкие генералы.

Когда Кравченко говорит о бунте в Москве в ноябре 1941 года, он жлет, так как никакого бунта не было.

Затем Нордманн переходит к статьям Б. Николаевского о власовцах, напечатанным в «Новом Журнале», номера 18 и 19, к статье Андрэ Пьера в «Монде» о единстве народа и режима, к показаниям д-ра Фишеза об энтузиазме, с каким русские пленные возвращались к себе домой...

Процессы 1930–1938 годов Нордманн объясняет, как борьбу Сталина с саботажниками и изменниками.

Радек о Тухачевском твердил как о патриоте, но теперь мы знаем, что Бенеш выдал Тухачевского Сталину как изменника, значит, и Тухачевский, и сам Радек были преступниками и процессы над ними были справедливы. Американский посол в Москве Дэвис сам считал, что заговор Пятакова существовал, он был на суде и впоследствии написал об этом. Так же и Литтон Пэтч, который еще в 1931 году в Берлине заметил, что Пятаков заказывает втридорога машины, которые СССР вовсе не нужны. Это было вредительство, и людей необходимо было за него казнить.

По словам Нордманна, советский режим – гуманнейший режим. Все работают, довольны. Даже Ди-Пи, которые показывали за Кравченко, работали и жили в СССР, несмотря на то что часть из них была «непролетарского» происхождения. Что до Рамзина, осужденного по процессу Промпартии, то ему недавно выдали Сталинскую премию и он прощен и работает на пользу родины.

– Здесь нам цитировали профессора Гравенна, знатка советской статистики. Откуда он берет свои данные? Он берет их из книг Кестлера и Кравченко, а Кравченко подпирается Гравенном. Вот их система – они поддерживают друг друга.

Мэтр Изар (прерывая): Гравенн орудует официальными советскими данными.

Нордманн: Не прерывайте меня! Здесь не палата, в которой вы когда-то сидели, а теперь не сидите больше, и вам это обидно.

Мэтр Изар: Я еще очень добр с вами...

Нордманн: Вестлер видел испанские ужасы и описал их, говоря, что они имели место в России. И он, и Кравченко рассказывают бесчисленные случаи, когда осужденны были невинные. Это ложь! Бухарин, будучи за границей, виделся с Николаевским – за это он и пострадал.

Нам много здесь рассказывали о чистках. Что это такое? Это проверка лучших людей, большевиков, партийцев, которые все полусвятые, потому что за маленькое жалованье работают не за страх, а за совесть. Если один из них окажется слабым, или ошибется, или не будет постоянно жертвовать собой, то его исключают из этого «избранного» круга людей. Это делалось и у нас, во время Французской революции, и это было правильно. Сеансы чистки – публичные, совершенно законные. Мне смешно, когда говорят, что во время чисток исчезали люди: в 1928 году было 800 000 партийцев, а в 1931-м – три миллиона! Какие же тут чистки? Жертвенных людей все прибавляется.

Нордманн посмеивается и продолжает:

– Партийцы одно время получали 500 рублей в месяц за работу, за которую беспартийный получал 1200 рублей. Теперь этого нет, теперь им прибавили. Среди них нет карьеристов. Они все – пацифисты, но если будет война, они пойдут в первую голову добровольцами. Это лучшие люди СССР, которые строят социализм.

Затем адвокат объясняет, что такое лагеря.

– В СССР очень мало тюрем, – говорит он, – потому устроены исправительные, а вовсе не концентрационные лагеря. Там перевоспитываются люди. Они работают, они строят каналы. СССР оказывает преступнику кредит. Все давно знают, что это существует, ничего нового мы здесь о лагерях не узнали: на Беломорский канал возили в свое время иностранцев. Все были восхищены методами работы. Когда Кравченко говорит, что в России 20 миллионов каторжан, то он берет эту цифру у Далина. А тот откуда их взял? Все это только ложь и антисоветская пропаганда!

В этой стране нет эксплуатации, все живут свободным трудом... Там осуществлен социализм. И потому враги СССР злобствуют.

Возвращаясь к полиции и НКВД, мэтр Нордманн признает, что в СССР существует, конечно, полиция, как и всюду.

– Прокламация Гитлера, изготовленная для России, – вот корни Кравченко, даже не Далин, даже не Николаевский! Потому что там существует полиция – мы здесь свободны! Иначе немцы закабалили бы нас и всю Европу на многие столетия. Этой советской полиции мы должны быть благодарны. Она спасла мир!

Мэтр Изар: А не Англия в 1940 году?

Нордманн: Откуда берутся эти маньяки, которые якобы сажают в тюрьму одних невинных? Да, голод был на Украине – так что же из этого? Мы даже собирали здесь на голодающих и посылали им. Это было в 1931 году. А что происходило в деревне в 1945-м? Об этом Кравченко молчит.

Там осуществлена земельная реформа, самая передовая в мире: коллективизация дала русскому народу огромные аграрные возможности. И население так этим счастливо, что когда немцы захотели его освободить от колхозов, то крестьяне отказались и остались в колхозах.

В восьмом часу вечера речь Нордманна была прервана председателем.

На вторник назначено последнее заседание по делу Кравченко, когда Нордманн закончит свою речь и будет говорить прокурор.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Последний день процесса возвратил нас к напряженной атмосфере самых бурных заседаний. Зал был переполнен. Заседание, начавшееся в 1 час 45 минут, кончи-

лось в 10 часов 20 минут вечера (с двумя небольшими перерывами).

Мэтр Нордманн продолжал свою речь, начатую накануне. Он говорил около 4 часов, затем ему отвечал мэтр Изар. После кратких выступлений трех адвокатов ответчиков была речь прокурора, после которой Кравченко, Морган и Вюрмсер сказали свое последнее слово.

Кравченко вновь появился в зале на своем месте. В перерыве его окружила публика, и ему пришлось написать около 100 экземпляров своей книги.

Вторая часть речи Нордманна. Антисоветский заговор

Все с той же улыбкой, которая не покидает его лица, мэтр Нордманн, говоривший весь день накануне, встает со своего места.

– 30 лет вам твердят о «злодее с ножом в зубах», – говорит он, – задолго до Кравченко существовали профессионалы антисоветизма. Был француз Клебэр Легэ, был полурусский-полунемец Альбрехт. Был однофамилец Кравченко, автор книги «Я был узником Сталина», который работал у немцев и который, собственно, ничем не отличается от этого Кравченко, хотя имя его и начинается с буквы Р. Его книга тоже продана была в количестве полумиллиона экземпляров. Был Валтин, агент гестапо, посланный в Соед. Штаты для пропаганды. Он несет ответственность за аресты немецких коммунистов; сотрудник прессы Херста, он ныне – подданный Соединенных Штатов.

– Одним из первых книгу «Я выбрал свободу» оценил диктатор Испании Франко. Зензинов объявлял об испанском издании книги Кравченко еще в № 14 «Нового Журнала». В Америке реакция подняла его на щит. В Америке нет свободы. Сын певца-негра Поля Робсона вынужден был поехать в СССР, чтобы поступить в уни-

верситет – в Америке он не мог этого сделать. (Смех.) Томас Манн писал об угрозе фашизма в этой стране.

– Предшественник Кравченко был и Бармин, этот агент ОСС. А за издателем Скрибнером стоит Рокфеллер. Миллионы долларов идут на антисоветскую пропаганду по плану некоего Бридж-Дэса. Незаконно Кравченко – Кедрину были устроены визы! Он – ренегат, а все ренегаты, как известно, агенты ОСС (секретная американская служба). Бывают и анонимные агенты, как, например, автор неподписанной статьи «Сэтердэй Ивнинг Пост» от 17 января 1942 года под названием «Сталин думает, что я умер».

– Бармин бежал из СССР в 1937 году. Он был пятой колонной, но 5 октября 1944 года ОСС объявил, что выгнал Бармина. Валтин до сир пор не выгнан.

Лайонс – сотрудник ОСС, как и все прочие. Он и есть автор книги Кравченко. Нам пишет об этом наш друг Ренэ Лир.

– Кравченко пишет в своей книге, что Америка предала СССР, что Германия нападет на него. Откуда он это знал, если он не агент? Его называет «политическим информатором» журнал «Европа – Америка», издающийся на американские деньги. Когда «Советский Патриот» писал о нем то же приблизительно, что и «Л. Ф.», Кравченко не притянул его к суду... (Смех в публике.) Он сказал здесь, что «Л. Ф.» была, из всех клеветущих, самая опасная. Мы гордимся этим!

Затем Нордманн переходит к характеристике Ди-Пи.

С одной стороны, он считает, что русские, оставшиеся в Германии, – военные преступники; с другой – говорит, что русских среди Ди-Пи вообще нет. Он говорит о Власове и Глазенапе, о «Часовом», который беспрепятственно выходил при немцах в Бельгии при том же редакторе.

– Мы не удивились, когда о трех свидетелях Ди-Пи, Пасечнике, Антонове и Кревсуне, была советская нота! – восклицает Нордманн и вынимает из папки доку-

мент. Это бумага, присланная из СССР, где три свидетеля Кравченко обвиняются в убийствах партизан и евреев, в краже имущества расстрелянных, в выдаче гестапо коммунистов. Антонов значится а этом списке под № 9. Пасечник – под № 5. Кревсун же был начальником Сумской жандармерии при оккупации.

Мэтр Изар (вскакивает): Вы при свидетелях этого не говорили! (Он быстрым шагом подходит к столу председателя.) Эти документы нам неизвестны! Отчего вы молчали до сих пор?

Нордманн (все улыбаясь): Вы поздно дали нам их имена и адреса. Мы только что получили эти документы.

Мэтр Изар: Все давно было у вас! Вы знаете, что эти люди прошли все комиссии, на которых присутствовали представители советской власти.

Нордманн: Советского контроля не было. Американцы никого не выдают. Они до сих пор не выдали нам убийц Оратура!

Объявляется первый перерыв.

Г-жа Нейман сама приехала в Равенсбрук

После перерыва мэтр Нордманн переходит к показаниям г-жи Бубер-Нейман, жены крупного немецкого коммуниста. «Воспоминания» этой женщины, которая отбывала наказание в Караганде и которую СССР выдал гестапо, вышли только что по-немецки и сейчас печатаются по-французски в «Фигаро Литерэр».

– Нами получено письмо от философа Мартина Бубера из Иерусалима, – говорит Нордманн. – Эта профессиональная пропагандистка никогда не была его дочерью.

Мэтр Гейцман: Мы этого и не говорили. Она была его невесткой.

Нордманн: Она была женой его сына лет 20 тому назад. После Неймана у нее был третий муж.

– Кто такой Нейман? Это ренегат и изменник! Он хотел бороться с Гитлером, но один, без социалистов, которые были так сильны в 20-х годах в Германии и без которых ничего сделать было нельзя. Его лозунг был: «Бей социал-фашистов!» Этим самым он помогал национал-социализму. Был ли он сознательным агентом наци или только заблуждался? (Ропот в публике.) Политика троцкистов есть политика пятой колонны. Троцкий и Гитлер работали вместе для одной цели. (Гул в глубине зала.) И французских троцкистов мы теперь знаем хорошо. Они во время войны работали на немецкую пропаганду.

– В СССР, – продолжает Нордманн, – поведение Неймана было заклеено. Он стал шпионом в пользу Германии, как все троцкисты, как вся левая оппозиция. (Движение в зале.) Прочтите книгу Стевенса «Нет русской загадки!». Там написано, что Гитлер послал в СССР своих агентов и шпионов! Нейман и был одним из них. Жена его сказала, что он был невинен. Она солгала!

– Немецкий писатель А. Норден пишет нам из Берлина, что г-жа Нейман никогда не была выдана Россией гестапо. Он пишет, что жена другого писателя, Ганса Кнуда, бывшего редактора газеты «Роге Фане» (живущая сейчас в Америке), ему в свое время рассказывала, что г-жа Нейман свободно и добровольно приехала в 1940 году из России в Германию. Она обратилась в Москве в германское посольство, прося о репатриации, и ее водворили на родину. Она думала, что ее встретят там с почестями, как жену гитлеровского агента. Но она почему-то оказалась в Равенсбруке. – Нордманн делает передышку, усмехается и возвращается к делу Кравченко.

– В книге все ложь, да он и не писал ее! О диффамации может говорить человек, у которого есть честь. У Кравченко ее нет. Наветы на СССР идут параллельно с наветами на французский резистанс. Если бы Кравченко был в России, то сейчас он был бы в тюрьме!

Мэтр Изар: Вернее, на кладбище!

Прочитировав Бардеша, французского защитника национал-социализма, сидящего ныне в тюрьме, и сказав, что Кравченко – это тот же Бардеш, мэтр Нордманн просит у суда полного оправдания своих подзащитных.

Возражения мэтра Изара

– Я протестую против поведения адвокатов противной стороны, – заявляет мэтр Изар. – Я протестую против лжи и клеветы, против фальшивых документов, против всей этой кухни подтасовок и передержек. Если мы до этого дошли во Франции, то можно себе легко представить, до чего доходит суд в СССР!

Мэтр Нордманн ковал цепь – звено за звеном, так что от одного к другому все были ею соединены. Знаете, кто орудовал такими средствами? Шарль Моррас в «Аксион Франсэз» делал это в свое время: от иностранного капитала – к издательству, от издательства – к писателю, от писателя – к газете, от газеты – к партии, от партии – к ее лидерам. И таким образом устанавливалась связь между каким-нибудь американским трестом и Блюмом...

Вот до чего довели вас ваши способы действия. Нетрудно показать, что председатель Кэй – наци, если пользоваться такими методами.

В 1939–1940 годах ваша партия называла нашу войну империалистической и требовала мира. Вы – новые Деа.

Вюрмсер истерически кричит, протестуя, поднимается страшный шум.

Председатель требует тишины.

Вюрмсер продолжает кричать.

Председатель: Прошу вас! Иначе я вас принужден буду вывести.

Мэтр Изар: Если кто-нибудь не стоит на коленях перед СССР, то он – Бардеш! Я знаю, что вы не надеетесь быть оправданными, но эти методы – недопустимы!

Сим Томас на суд не явился... Но обратимся к утаенному вами документу.

Я сообщаю суду, что мы достали опросник Кравченко, анкету, заполненную им не в 1941 году, а в 1943 году, накануне отъезда его за границу. (Мэтр Изар высоко поднимает над головой бумагу.)

Из него следует, что опросник, который достала «Лэттр Франсэз», либо фальшивый, либо просто очень неполный и устаревший. Из нашего опросника следует, что Кравченко вовсе не был амнистирован, но что дело было прекращено. Это разница!

Это значит, что он не был прощен за преступление, но что суд признал, что преступления не было. Из него следует также, что Кравченко занимал крупные посты, что растрата была в 4000 рублей и что в Совнаркоме – да, да, в Совнаркоме, слушайте, слушайте! – он состоял начальником группы военных инженеров. Он управлял целым коллективом завода...

Вся карьера Кравченко в этой анкете! Но мэтр Нордманн, говорят, был болен, и я боюсь, что он по болезни спутал все то, что ему велено было сказать.

Я возражаю вам по пунктам, на все ваши измышления, неточности и передержки. Кравченко писал о беспорядках в Москве в октябре 1941 года. Вы утверждали, что беспорядков не было. Вот статья Корякова, вам знакомого уже (мэтр Изар показывает суду книгу 20-ю только что вышедшего в Нью-Йорке «Нового Журнала»). Она называется «16 октября». В ней рассказывается о бунте и погроме, имевших место в этот день в Москве, когда власть бросила город и он едва не был сдан немцам.

Вы говорили, что насильственной коллективизации не было, так как в речи Сталина «Головокружение от успехов» (март 1930 года) указывалось, что этого делать не надо. А я вам скажу, что до этой речи была другая, 21 января 1930 года, и речь Молотова в апреле 1929 года, где говорилось обратное, и после тоже были речи и статьи о необходимости раскулачивания, как, например, в ап-

реле 1930 года, где Сталин требовал «уничтожать кулаков как класс» и где было даже сказано «не будем отступать от нашей программы».

Вы говорили о чистках. Оправдывая их, вы признаете, что три четверти генералов и членов Политбюро были изменниками?

Вы говорили о лагерях. На одном Беломорском канале было более миллиона подневольных. Вы утверждали, что СССР перед войной имел артиллерию... Это – обычная ваша передержка: никто не говорил, что артиллерии не было, мы говорили, что не было противотанковых орудий, и на это вы не сказали ничего. А о деревянных аэропланах вам сказать было нечего, так как наш свидетель Муанэ на них летал, и значит, они существовали!

О НКВД вы не сказали ничего, объявив, что и во Франции имеется такое министерство. Но где же все-таки Нейман? Если бы его судили, это было бы известно. Он просто исчез.

Возвратимся к советской ноте о выдаче наших свидетелей. Я утверждаю, что ваши документы об их «коллаборации» фальшивы. С 1943 года было время объявить эти три имени в списке военных преступников, этого не было сделано.

Больше того, в России, как мы знаем, судят и заочно. Почему же Пасечника, Кревсуна и Антонова не судили заочно?! Тогда мы бы поверили, что это военные преступники. Сейчас же этому поверить мы не можем.

И последнее: несколько слов о г-же Бубер-Нейман. О, как вам мешает эта женщина! Как вам мешает этот Брест-Литовский мост, через который волокни коммунистов и еврея Блоха! Этот мост и эти имена не забудутся, они войдут в историю, и та грязь, которой вы их обдали, тоже войдет в историю, о ней тоже нельзя будет забыть!

Несколько слов посвящает мэтр Изар возражениям Блюмеля, который, на основании ст. 29 закона о диффамации, говорил о «добрых намерениях» редакторов «Л. Ф.». По мнению Изара, ругательства не могут быть напеча-

таны «с добрыми намерениями». Затем он говорит кратко об эксперте Познере, «которого всерьез принимать нельзя», и переходит к измене Тореза.

– Этот был амнистирован, т.е. за ним было признано преступление, – говорит мэтр Изар. – Но вся партия обязана считать его героем.

Вюрмсер: Я предпочитаю уважать его живого, а не мертвого!

Мэтр Изар: Но он все-таки трус, потому что в один прекрасный день он исчез, ушел с фронта, будучи мобилизован.

Вюрмсер: Вы сами трус! (Публика протестует.)

Мэтр Изар: Был еще один лидер компартии, который был мобилизован. Это Фажон. 9 января 1940 года четыре депутата-коммуниста в палате отказались встать, когда председатель Эррио предложил почтить вставанием павших на поле брани. Среди невставших был Фажон. 20 января он был мобилизован и говорил в палате об «империалистической войне», которая ведется «якобы за свободу». Его арестовали.

Вюрмсер и Морган: Нет, нет, это ложь!

Мэтр Изар: Вы солидарны с дезертирами.

Вюрмсер: Четыре года де Голль был дезертиром! (Шум в публике. Возгласы.)

Мэтр Изар: Мы говорим здесь не о политике, мы говорим о диффамации. Андрэ Пьер, которого вы цитировали вчера, прислал вам поправку. Он повторяет, что вполне понимает человека, как Кравченко, который захотел свободы. По отношению к СССР и Сталину это продолжает оставаться изменой. Мы в этом с ним совершенно согласны!

Я прошу суд заметить, что мы стоим перед страшной угрозой: на наших глазах происходит объединение в каменную твердыню сил ненависти, злобы и клеветы, – заканчивает мэтр Изар свою речь.

В местах для публики и на скамьях адвокатов раздаются шумные аплодисменты. Председатель их не обрывает.

Речь прокурора

После кратких ответов адвокатов Нордманна, Матарассо и Блюмеля, ничего нового не сказавших, объявляется перерыв.

Большинство публики покидает зал, на часах половина восьмого.

Председатель Дюркгейм продолжает заседание, чтобы закончить сегодня же прения.

Прокурор Куассак встает со своего места. Он говорит менее часа... Речь его была отвлеченна и несколько пышна. Его личного мнения о деле мы не узнали.

– Духовные эволюции происходят в атмосфере свободы, – сказал прокурор. – Только в свободе можно выбирать между добром и злом. Люди, жаждущие свободы, бегут от режимов, где угнетена мысль и сковано слово.

Мировая совесть судила преступников на Нюрнбергском процессе. Впервые в истории не все было прощено в войне, не все было оправдано. Существует не только право на жизнь каждого мыслящего человека, существует право на свободу его совести и на свободу его духа.

Значение данного процесса огромно, оно интернационально. Здесь было доказано, что есть еще в мире место, где люди могут свободно защищать свое мнение. Во Франции существует кроме физической еще и моральная свобода – все это поняли, кто следил за страстным диалогом, здесь происходящим, в течение двадцати пяти дней.

Что нам дал этот диалог? Он был исканием правды! Человек, если намерения его чисты, должен найти в этом процессе ответ на свои искания. Нам сказали здесь несколько раз, что демократии бывают разные, друг на друга не похожие. Мы хотели бы быть демократией независимой и объективной. Ибо предвзятость мешает истине.

Пропаганда всякая есть насильственное действие. Только в беспристрастии и свободе может найтись правда. Мировое общественное мнение настроено слушает нас. И наш суд должен дать ответ на вопросы ог-

ромной важности, которые ставит современность. Мы идем сквозь черную ночь, но мы идем факелами.

Я не толкаю вас к какому-либо определенному умению. Я не влияю на вас. Вы должны пребывать в свободе. Вы должны найти решение, которое не только будет Истиной, но которое останется в мире как реальность.

Последнее слово Кравченко

Господин председатель, господа судьи!

Процесс, который проходит в свободной Франции, при неослабевающем интересе и внимании общественного мнения мира, подходит к концу.

За весь период процесса вы, господа судьи, и общественное мнение не могли не понять всей серьезности ущерба, который нанесли мне диффаматоры.

Я всегда был готов, как готов и в будущем, разговаривать открыто и честно на любую тему, но ни один уважающий себя ум не может согласиться с тем, чтобы политическая дискуссия сопровождалась грязью и бесчестными атаками, как это делали мои противники здесь и их кремлевские хозяева в Москве против меня.

Этой тактикой они только продемонстрировали свою слабость и в то же время силу моей правды.

Желая искренне кооперировать с вами во имя истины, я представил суду свидетелей, различных по положению и культуре, но одинаковых по своим несчастьям, – жертв режима. Я представил вам документы, манускрипт, гранки, рукопись английского перевода, факты и цифры.

Я старался убедить вас, что не только я сам написал книгу, но что и все написанное в ней, от начала до конца, есть сущая правда.

Мои свидетели – русские, украинцы, белорусы – говорили здесь перед вами горькую правду. Они действительные представители народов России – рабочие, крес-

тьяне, врачи, инженеры, а не советская элита, самоуверенная, наглая, которую вы видели здесь.

Удивляться, собственно, нечему – каковы хозяева, таковы и их слуги! Достаточно вспомнить морального урода Романова или псевдогенерала Руденко.

Эти субъекты, вместе с их французскими агентами, избегали и боялись говорить о сюжете книги. Они не могли защищать свой режим, режим АДОЛЬФА СТАЛИНА.

Почему? Потому, что им нечего защищать, потому, что я писал и говорил правду и приводил факты, которые они не в состоянии опровергнуть в условиях демократического, свободного суда.

Ни они, ни их кремлевские хозяева здесь, в суде, а равно и их пресса и радио в Москве, как и в других странах, ничего не могли опровергнуть из того, что я написал, и из того, что я говорил здесь.

Они стали на старый испытанный путь клеветы и провокации, клятвопреступлений и лжесвидетельств и не побрезговали представлением в суд фальшивых, сфабрикованных в кремлевском НКВД документов. Таков их моральный отвратительный портрет и поведение. Я думаю, что вы, г-да судьи, оцените их по заслугам.

Я не сомневаюсь, что общественное мнение мира уже вынесло моральный приговор тем, которые сидят здесь на скамье подсудимых, равно как и их кремлевским вдохновителям и хозяевам.

Дело теперь за вами, г-да судьи!

К вашему решению обращены сердца народов России, миллионов заключенных советского режима, народов стран, захваченных Кремлем, и взоры народов всего мира.

К вашему решению также обращены тени миллионов моих земляков, погибших в войне с фашизмом за наше с вами лучшее будущее.

Я всегда верил, что делаю справедливое дело.

Это был мой долг – сказать миру правду такой, какой она была. Это было необходимо не только по отноше-

нию к моей родине и народам России, но и по отношению к народам мира, чтобы они своевременно поняли серьезность опасности, которая им угрожает.

Чтобы исполнить этот долг, который очень серьезен для меня, я всем пожертвовал и готов и впредь жертвовать и рисковать в борьбе с коммунистической тиранией, ибо этого требуют интересы народов России и прогрессивных сил мира.

Но мой акт, риск, жертвы, как и жертвы народов России, не будут морально оправданы, если ваше решение, г-да судьи, не будет ясным, четким, строгим и бескомпромиссным по отношению к подсудимым.

Настало время для западного мира смело посмотреть правде и фактам в лицо и трезво понять всю серьезность положения.

Мир не может быть свободен, пока люди на шестой его части – народы моей родины – живут под диктатурой, под насилием величайшей полицейской власти, которую когда-либо знала история.

Поэтому неправда, что каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает! Эта формула верна только для тех стран, где существуют демократические, а не тоталитарные порядки.

Эта формула, чересчур часто употребляемая, натравливает западные страны не против советского режима, а против народов России и этим самым с помощью кремлевской пропаганды делает из них противников Запада, а не друзей и союзников в борьбе против всех форм диктатуры.

Указанная формула специально придумана лицемерами только для того, чтобы умыть руки от так неверно называемого «русского вопроса».

Нет русского вопроса – есть советский вопрос! Нет русской политики – есть советская политика! Нет русского правительства – есть советское правительство!

Понимание советской реальности Западом является положительным фактором, но часто комментарии о Со-

ветском Союзе, делаемые некоторыми западными политиками и прессой, принимают явно антирусскую форму, грубую и оскорбительную для народов России, и этим самым позволяют Кремлю возбуждать народы моей страны против внешнего мира.

Таким образом, руссоеды вооружают, а не ослабляют советскую диктатуру!

Наступило время для западного мира понять ту пропасть, которая существует между советским режимом и народами России. Это две непримиримые, враждебные вещи по их природе и целям.

Есть еще одна высокомерная теория у некоторых политиков Запада, утверждающих, что коммунизм, дескать, годится и приемлем для народов России, но неприемлем для народов западных стран.

Однако эти псевдотеоретики забывают, что коммунизм как теория родился на Западе, что он развился теперь и окреп в ряде стран Европы, не говоря уже о колониях, что он уже вошел в жизнь их стран и воинственно разрушает устои их жизни.

Коммунизму удалось создать большое чувство страха у народов ряда стран Европы и даже посеять панику и тем самым парализовать сопротивление ему.

Если народы Европы не поборют в себе этого чувства страха и неуверенности и не организуются для отпора советскому наступлению, они серьезно рискуют потерять свою независимость и свободу. И, наконец, есть последняя, искусственно созданная теория «железного занавеса», авторами которой являются люди прошлого. Поэтому они неспособны видеть действительные причины прошлого, настоящего и будущего в развитии коммунизма и тем более реально разрешить те социальные противоречия общества, которые его питают духовно и практически превращают его в серьезную силу и угрозу интересам народов западного мира.

Теория «железного занавеса» существует в фантастическом воображении ее создателей, это продукт их лице-

мерия. Эти господа считают для себя более удобным и выгодным только пугать свои народы коммунизмом и даже социализмом, а не серьезно просвещать их, и за этой дымовой завесой делать очень мало или ничего не делать, чтобы серьезно улучшить жизнь своих народов.

Эта теория помогает многим политикам быть в искусственном неведении обо всем том, что творится в Советском Союзе, и лавировать своей политикой по отношению к советскому режиму в зависимости от их надобностей.

Незачем доказывать убожество таких идей. Игра – жалкая, без шансов на серьезный успех.

Никакого «железного занавеса» нет!

Миллионы людей различного положения, покинувших Советский Союз, страну лжесоциализма и лжедемократии, принесли западному миру ужасный опыт и знания о кремлевском царстве современных Чингисханов.

Те, которые хотят видеть и слышать правду, как бы горька она ни была, могут познать ее в полном разнообразии: как о несчастьях народов России, так и о деятельности институтов советской диктатуры, о ее политике, равно как и о ее целях.

Я могу повторить то, что я сказал в своей книге: борьба с советской диктатурой – это не только дело народов России, но кровное дело всех прогрессивных и честных людей повсюду. Без свободной демократической России мира в мире не будет.

Почему я говорю об этих теориях здесь? Это не просто желание критиковать их создателей. Я говорю об этом потому, что эти теории дезинформируют общественное мнение, дезорганизуют прогрессивные, антикоммунистические силы, дискредитируют народы России и не ослабляют, а, наоборот, укрепляют советскую диктатуру.

Я не боюсь борьбы! Я ищу борьбы. Я хотел дискуссии на суде, честной и политически принципиальной по существу книги.

– Я искал этой дискуссии не только по поводу того, что я видел, пережил, знаю и написал, но и по поводу моего поступка. Но все, что здесь произошло со стороны моих противников и советского правительства, только усилило мое убеждение, что я был прав, и я готов, пока живу, бороться, г-да судьи, за эту правду.

И именно потому, что я прав, вы, г-н председатель, и вы, г-да судьи, должны решительно восстановить мою честь, честь моей деятельности и оградить меня от грязи и клеветы. Это не только необходимо для моего настоящего, но и для будущего.

Это право всех людей – защищать свою честь, и особенно мое, потому что за эту свободу я заплатил больше, чем кто-либо.

Пусть же ваше решение, г-да судьи, вдохновит на борьбу борцов за свободу и справедливость и бескомпромиссно и жестоко покарает душителей свободы, независимости и прогресса.

Последние речи ответчиков

Морган и Вюрмсер произносят один за другим краткие речи, в которых повторяют в общих чертах то, что было ими сказано в первый день процесса. После чего председатель закрывает прения и объявляет, что приговор будет вынесен в понедельник, 4 апреля.

ПРИГОВОР

В понедельник, 4 апреля, заседание 17-й камеры Сенского исправительного суда было перенесено из 10-й камеры в 17-ю, которая в два раза меньше той, где происходило в течение двух месяцев слушание дела В.А. Кравченко. День был летний, ветреный, почти жаркий. За две недели перерыва в Париже наступила весна.

В 1 час дня не только все скамьи были заняты, но буквально некуда было яблоку упасть – люди сидели, стояли в проходах и у окон, двери не закрывались от напиральной в зал толпы.

Журналисты, фотографы, адвокаты, жандармы, публика – все теснились кто где мог, когда в 1 час 15 минут сам Кравченко в сопровождении своих адвокатов появился на своем месте. Он был несколько бледен.

Вслед за ним из другой двери появились г-да Морган и Вюрмсер, их адвокаты, несколько свидетелей-друзей «Лэттр Франсэз».

Прозвучал звонок, публика встала, и в напряженной тишине вошел быстрым шагом председатель Дюркгейм, двое судей и грэффье (секретарь трибунала).

Сейчас же этот последний объявил, что будет прочитан приговор по иску Кравченко.

Первый иск

Первый из трех исков предъявлен В.А. Кравченко американскому журналисту Симу Томасу и Клоду Моргану как ответственному редактору «Лэттр Франсэз». Председатель Дюркгейм читает первое заключение:

«Принимая во внимание, что г-н Кравченко привлек к суду Сима Томаса и Клода Моргана за публичные оскорбления и диффамацию, напечатанные в газете “Лэттр Франсэз” в статье Томаса 13 ноября 1947 года под названием “Как был сфабрикован Кравченко”,

принимая во внимание, что эта статья содержит в себе следующие оскорбительные для Кравченко строки (следует цитата),

принимая во внимание, что Кравченко нашел в этих строках клевету, могущую нанести ему ущерб, и привлек вышеназванных лиц к ответственности, вчинив им иск в 3 миллиона франков и требуя напечатания приговора на страницах газеты,

принимая во внимание, что 8 ноября 1948 года суд уже обсуждал вину Сима Томаса и, таким образом, ныне предстоит решить вопрос о Клоде Моргане,

принимая во внимание ст. 35 закона 29 июля 1881 года и дополнение к ней от 6 мая 1946 года, по которым от диффаматоров требуются доказательства их утверждений в лице показаний свидетелей и предъявления документов,

принимая во внимание, что диффамация касалась трех определенных пунктов, а именно:

1) Кравченко не автор своей книги, так как написал в свое время всего 60 страниц, которые никуда не годились,

2) Кравченко в свое время был осужден за мошенничество,

3) Кравченко – пьяница и в свое время был выгнан за безнравственность с завода в Никополе, и его долги уплатили другие,

принимая во внимание, что Кравченко доказал, что он начал писать свою книгу в апреле 1944 года и писал ее до июля 1946 года; что в марте этого года он представил 600 страниц своей рукописи в одно издательство (в переводе Маламута), но издательство отказалось ее взять, после чего он подписал контракт с издательством Скрибнера,

принимая во внимание, что Кравченко утверждает, что он не раз правил текст книги с помощью переводчика Б. Никольского и правил гранки так, что ему пришлось дополнительно за это заплатить,

принимая во внимание, что Кравченко представил на суд несколько страниц рукописи на русском языке, а также листы перевода на английский, что он доставил суду письменные показания своих американских друзей Далина, Зензинова, Лодыженского, Штейнигер, Раскина, Хиной, Левина и издателя Скрибнера о том, как была написана книга, и была произведена экспертиза рукописи профессором Санье, нашедшим, после анализа чернил, что рукопись была написана задолго до начала процесса,

принимая во внимание, что обвиняемый Морган не представил суду ни документов, ни свидетельских показаний, которые бы поколебали утверждения Кравченко, а также что статья Томаса была напечатана задолго до того, как была произведена тщательная экспертиза этого дела, и, следовательно, у газеты не было данных сомневаться в авторстве Кравченко,

принимая во внимание, что ответчик и некоторые свидетели его говорили о том, что различные места книги принадлежат различным авторам и что орфография, употребляемая в книге, то новая, то старая и что поэтому книга была написана по крайней мере двумя людьми,

принимая во внимание, что эти же свидетели говорили, что не нашли в рукописи некоторых мест, которые оказались в книге, и что она более враждебна советскому режиму, чем рукопись,

принимая во внимание, что вся эта критика не имеет под собой серьезных оснований и что представлено было Кравченко 18 глав из 28, так что некоторые места, найденные в книге, могли быть в части рукописи, которая не была представлена суду,

принимая во внимание, что показания свидетелей были недостаточны, чтобы вывести из них, что Кравченко не писал свою книгу, и что Морган ничего не сделал во время судебного разбирательства, чтобы убедить суд в своей правоте, но опирался на Сима Томаса, чье существование вообще не внушает доверия,

принимая во внимание, что поведение Кравченко на суде доказало, что он не только не “умственно отсталый” человек, как было сказано в газете, но человек вполне способный написать книгу “Я выбрал свободу”,

что же касается мошенничества, то из книги Кравченко явствует, что он был приговорен за растрату в Кемерово, но дело либо было кассировано, либо Кравченко был амнистирован, чего Сим Томас в статье не говорил. Таким образом, Морган умышленно искажил факты, а что же касается исключения с завода и пьянства, то ни о Кравченко, ни о его алкоголизме ни один свидетель ничего не сказал. О якобы бывших неприятностях у него по службе в Никополе тоже ничего не было сказано, и таким образом выяснилась полная несостоятельность обвиняемого в этом пункте и желание Моргана очернить Кравченко по этому вопросу.

Однако необходимо принять во внимание, что ответчик был резистантом и по природе свой – ярый полемист и боевой журналист.

По сему, и основывая свое решение на том, что Кравченко не было нанесено чувствительного денежного урона, суд присуждает Моргана к уплате Кравченко 50 000 франков в возмещение ущерба, нанесенного статьей Сима Томаса, к уплате штрафа в размере 5000 франков и к опубликованию этого постановления в газете “Лэттр Франсэз”».

Второй иск

Второй иск предъявлен Кравченко к журналисту Андре Вюрмсеру и к Клоду Моргану как ответственному редактору «Лэттр Франсэз».

«Принимая во внимание, что г-н Кравченко предъявил иск 15 апреля 1948 года к автору статьи “Кравченко – вундеркинд” Вюрмсеру и редактору газеты Моргану, считая задетой свою честь клеветническими и оскорбительными для Кравченко выпадами,

принимая во внимание, что в этой статье находились следующие оскорбительные для Кравченко строки (цитата),

принимая во внимание, что Кравченко требовал 4 000 000 в возмещение моральных и материальных убытков и опубликования приговора в вышеназванной газете,

принимая во внимание, что ответчики на основании ст. 35 закона 29 июля 1881 года пожелали привести доказательства своим утверждениям,

по которым, как писал Вюрмсер, Кравченко обманул свое начальство, которое ему оказывало доверие, и этим хвастал в своей книге,

принимая во внимание, что ответчики назвали Кравченко “мерзкой личностью” и тем самым потеряли меру, допустимую в суждениях, и перешли в область грубых ругательств не для выяснения правды о нем, но с тайной мыслью нанести ему ущерб в глазах его возможных читателей, затронув его честь,

принимая во внимание, что Вюрмсер и Морган обозвали Кравченко “предателем” на основании его ухода из Вашингтонской закупочной комиссии в 1944 году и его интервью, данного в то же время “Нью-Йорк таймс”,

принимая во внимание, что до разрыва с советской властью Кравченко ни в чем недостойном по отношению к ней не был замечен,

однако принимая во внимание, что его выпады против режима его страны были несвоевременны и неуместны, так как шла война, и в то же время принимая во внимание его слова, что он хотел послужить союзникам,

но в то же время исходя из того, что г-да Морган и Вюрмсер не имели права называть Кравченко “предателем”, что они могли критиковать его поведение, но не употребляя для этого резких и грубых выражений, а также считая, что пребывание Кравченко в комсомоле и в Харьковском институте доказано свидетелем Лаговским, а работа его при Совнаркоме – документами,

и напоминая, что не Кравченко должен был доказывать свою правоту, а наоборот – г-да ответчики,

суд переходит к утверждениям “Лэттр Франсэз” о том, что рассказы Кравченко в его книге о событиях в СССР были вымыслом.

И в этом пункте, принимая во внимание, что Кравченко рассказал в своей книге о нищете и страданиях своего народа, резко обрушиваясь на режим своей страны, и что эти рассказы были подтверждены свидетелями, которые находились в тех же местах и в те же годы, о которых говорил Кравченко,

но в то же время принимая во внимание, что другие свидетели, разных национальностей, говорили обратное,

и заключая из этого, что только тщательное изучение на месте, с возможностью проникнуть в архивы, могло бы разрешить этот важный спор,

суд считает себя недостаточно компетентным, чтобы дать свое заключение о режиме, о котором говорил Кравченко. Суду остается только отметить резкие противоречия, которые обнаружались между свидетелями обеих сторон;

принимая во внимание, что Кравченко мог допустить некоторые неточности в своей книге и что его выводы могут быть оспорены, что “Я выбрал свободу” иногда приобретает характер памфлета и что автор ее умалчива-

ет о некоторых положительных достижениях в его стране, доказывая этим свое пристрастие,

но что, с другой стороны, не было доказано на суде, что Кравченко лгал, как не была доказана г-дами Морганом и Вюрмсером правота их утверждений, – суд принимает во внимание поведение этих двух лиц во время резистанса и то обстоятельство, что они оба ярые полемисты, и считает, что им должно вынести умеренный приговор.

На том основании, что материальный ущерб, нанесенный Кравченко диффамацией, был ничтожен, и сообразуясь со всем делом целиком, суд постановляет приговорить Кравченко 50 000 франков и обязать г-д Вюрмсера и Моргана к уплате штрафа в размере 5000 франков и к опубликованию этого постановления в газете».

Третий иск

Третий иск был предъявлен Кравченко к Клоду Моргану как к автору диффамационных статей.

Суд объявляет по нему следующее решение:

«Принимая во внимание, что г-н Кравченко счел себя оскорбленным,

принимая во внимание, что г-н Морган никаких доказательств по оскорбительным для г-на Кравченко утверждениям не представил и вообще не руководился ст. 35 закона 29 июля 1881 года и его дополнением, не предъявил для своего оправдания документов и не пригласил на суд свидетелей, чтобы подтвердить свои слова, суд может только констатировать, что выражения “предатель” и “паяц” были употреблены без всякого основания, с единственной целью задеть личность и замарать честь г-на Кравченко.

Эта цель ясна, и тем самым установлена диффамация.

Поэтому г-н Морган приговаривается к уплате Кравченко 50 000 франков, к 5000 франков штрафа и к опубликованию этого приговора в газете “Лэттр Франсэз”».

Публика, выслушав чтение приговора, ответила на него гулом одобрения. Видимо, ответчики и их адвокаты до последнего момента надеялись выиграть дело. Мэтры Брюгье и Матарассо с опечаленными лицами не скрывали впечатления, которое на них произвела катастрофа. Нордманн тотчас же скрылся через боковую дверь...

Что касается мэтров Изара и Гейцмана, то они стали переходить из одних объятий в другие, пока не добрались до двери, через которую первым из зала вышел Кравченко, публика и фотографы ринулись за ним. Через бесчисленные кулуары Дворца правосудия Кравченко почти бегом, в сопровождении секретаря и толпы журналистов, добежал до выхода, ведущего на пляс Дофин. Там стоял автомобиль. Пожимая бесчисленные руки, благодаря налево и направо за сочувствие, Кравченко сел в него и скрылся из виду.

На пляс Дофин, как и по другую сторону суда – на бульваре дю Палэ, – несколько времени еще толпились любопытные.

* * *

Апелляционный суд отказал литературному еженедельнику «Лэттр Франсэз» в пересмотре дела. Кравченко выиграл свой иск во второй раз. Скоро после этого он покинул Францию, написал книгу о своем процессе (успеха она не имела) и поселился в одной из стран Южной Америки. В 1966 году он, видимо, потерял большую сумму денег и, будучи в Нью-Йорке, покончил с собой в гостинице «Плаза».

Н.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗ ЗАКАТА	5
ДЕЛО КРАВЧЕНКО	137

Нина Берберова

**БЕЗ ЗАКАТА
ДЕЛО КРАВЧЕНКО**

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*

Редактор *Д.З. Хасанова*

Младший редактор *Т.С. Королева*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Корректоры *Н.П. Власенко, О.Л. Вьюнник*

Компьютерная верстка *Н.Н. Пуненковой*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронный адрес:

www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати».
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**НИНА
БЕРБЕРОВА**



**МЫС
БУРЬ**

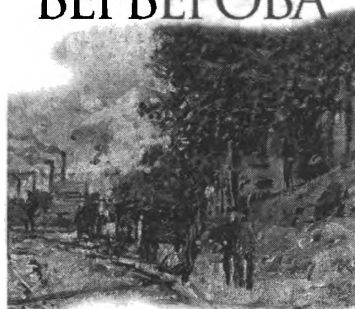
АСТ

Героини романа «Мыс бурь» – три сестры, девочками вывезенные из России во Францию. Старшая, Даша, добра ко всем и живет в гармонии с миром; средняя – Соня – умна и язвительна, она уверена: гармонии нет и быть не может, а красота давно никому не нужна; младшая, Зай, просто проживает веселую молодость...

Вдали от родины, без семейных традиций, без веры, они пытаются устроить свою жизнь в Париже накануне Второй мировой войны.

В книгу также вошло эссе «Набоков и его “Лолита”», опубликованное «по горячим следам», почти сразу после издания скандального романа.

НИНА БЕРБЕРОВА



БИЯНКУРСКИЕ ПРАЗДНИКИ

АСТ

В начале 1920-х годов молодой поэт Нина Берберова вместе с мужем Владиславом Ходасевичем уехала из России в эмиграцию, где должна найти новую родину, как и сотни ее соотечественников...

«Биянкурские праздники»

Биянкур – пригород Парижа. Здесь на автомобильном заводе работают десять тысяч русских, бывших белогвардейцев из армии Деникина и Врангеля. Это цикл рассказов, сколь пронзительных, столь же и документально интересных, «о людях без языка, выкинутых в Европу после военного поражения, без надежды вернуться назад».

«Последние и первые»

Фактически первый роман, посвященный жизни простых русских во Франции.

«Зоя Андреевна» и «Барыни»

Рассказы конца 1920-х годов; публикуются в России впервые!

Поэт Нина Берберова уехала в эмиграцию в 1922 году вместе с мужем поэтом Владиславом Ходасевичем. Ее литературный дебют в качестве прозаика состоялся уже за границей, а героями своих романов и рассказов она выбрала русских эмигрантов.



Героиня романа «Без заката» Вера теряет друга детства, без которого «нет будущего», в ее старом доме в Петербурге поселяются новые люди — прежняя жизнь меняется бесповоротно... Впервые роман был опубликован под названием «Книга о счастье»: Вера ищет счастья, уезжая с первым мужем в Париж; ищет после похорон мужа; ищет, устраиваясь в Ницце. И никак не может понять, когда говорят, «счастье, как воздух, его не чувствуешь»...

В хронике «Дело Кравченко» Нина Берберова выступает в необычной роли. Она «ведет репортаж» из зала суда. Виктор Кравченко — первый советский «невозвращенец», а его дело — одно из самых громких конца сороковых годов XX века. В. Кравченко был членом советской закупочной комиссии в США и решил не возвращаться на родину. В США он опубликовал книгу «Я выбрал свободу», где рассказал правду о сталинском терроре и концлагерях. Его обвинили в клевете на советскую действительность, но он выиграл иск...

ISBN 978-5-17-071887-0



www.ast.ru
www.elkniga.ru